

Портрет художника в юности

Джемс Джойс

Джемс Джойс

ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА
В ЮНОСТИ

**ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА
В ЮНОСТИ**

Джемс Джойс

**ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА
В ЮНОСТИ**

A PORTRAIT OF THE ARTIST AS A YOUNG MAN

**Перевел с английского
ВИКТОР ФРАНК**

**EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE
N A P O L I
(Неаполь)**

ДЖЕМС ДЖОЙС

Джемс Джойс (1882—1941), один из величайших писателей XX в., родился в Дублине в обедневшей деклассированной католической семье. Получил образование в двух иезуитских школах и в католическом дублинском университете. Эмигрировал из Ирландии в 1904 г.; жил в бедности в Триесте, Цюрихе и Париже; зарабатывал себе на жизнь преподаванием английского языка; постепенно терял зрение; к концу жизни почти полностью ослеп.

Писательская манера Джойса претерпела сложную эволюцию. В обоих последних романах Джойс пытается воспроизвести непрерывный поток человеческого сознания и подсознания. Характерны для его творчества сложнейшая символика и пародийное использование мотивов ирландской и античной мифологии и библейских сказаний.

Джойс добился частичного признания только в самые последние годы своей жизни. После его смерти, однако, на Западе выросла целая литература, посвященная его творчеству. Влияние Джойса на современную европейскую и американскую литературу огромно.

Главные произведения: "Chamber Music" («Камерная музыка», сборник стихов), 1907; "Dubliners" («Дублинцы», рассказы), 1914 — русские переводы 1927 и 1937, второй перевод переиздан в настоящей серии в 1966 г.; "A Portrait of the Artist as a Young Man" («Портрет художника в юности»), 1916; "Ulysses" («Улисс», роман), 1922; "Finnegan's Wake" («Поминки по Финнегану», роман), 1939.

Виктор Франк, переводчик романа Джойса «Портрет художника в юности», родился в С.-Петербурге в 1909 г. Сын известного русского философа С. Л. Франка (1877—1950). Выехал из России в 1922 г. Окончил Берлинский университет по русской истории и славянской филологии в 1934 г. С 1939 г. живет в Лондоне. Публицист и радиожурналист. Автор многочисленных статей по русской истории и литературе.

Джемс Т. Феррел, автор предисловия к предлагаемому переводу «Портрета художника в юности», — видный американский беллетрист. Феррел родился в Чикаго в 1904 г. и начал писать еще в ранней молодости. Романы его выдержаны в традиции натурализма, но в них применяется также (в несколько видоизмененной форме) джойсовская техника потока сознания. Феррел — исключительно плодовитый романист. Самая известная его вещь — трилогия «Стаде Лониган».

ГЛАВНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЖЕМСА ДЖОЙСА

Chamber Music (Камерная музыка), стихи, 1907.

Dubliners (Дублинцы), рассказы, 1914.

Exiles (Изгнанники), пьеса, 1915.

A Portrait of the Artist as a Young Man (Портрет художника в юности), роман, 1916.

Ulysses (Улисс), роман, 1922.

Finnegans Wake (Поминки по Финнегану), роман, 1939.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Джойс позднего периода, автор «Улисса» и «Поминок по Финнегану», непереволим, хотя сделано немало попыток воспроизвести эти романы на других языках. Но молодой Джойс, автор «Дублинцев» и «Портрета художника в юности», переводу поддается. «Дублинцы» были переведены на русский язык дважды, в 1927 и в 1937 гг. «Портрет» предлагается русскому читателю впервые.

Перевод «Портрета» дело нелегкое. Уже в этом романе Джойса фонетический подтекст слов порой приобретает почти самодовлеющее, отрешенное от смысла значение.

Не мне судить, преуспел ли я в этом деле. Приношу свою искреннюю благодарность всем тем, дружескими советами которых я пользовался — А. В. Бахраху, Е. О. Каннак и, в особенности, профессору Ю. П. Иваску, которому, в частности, принадлежат все стихотворные переводы.

Само собой разумеется, за все недостатки несу ответственность я один.

Лондон, май 1968 г.

Виктор Франк

Предисловие

I

«Меня породили этот народ, эта страна, эта жизнь» (стр. 288), говорит Стивен Дедалус, этот художественно преображенный облик самого Джемса Джойса в «Портрете художника в юности». «Портрет» — повествование о том, откуда Стивен взялся, как он отверг всё, что его породило, как он понял, что его призвание состоит в одиноком художественном творчестве. Поэтому стоит присмотреться к среде, из которой вышел Стивен, и к общественно-историческому фону романа.

Культуры и литературы Ирландии нельзя понять вне их связи с ирландским национализмом. Сам Джойс был националистом наизнанку. Он отвергал национализм, но был пропитан им до мозга костей.

Когда Джемс Джойс был мальчиком, Ирландия

пережила глубочайшее политическое потрясение — гибель Парнеля.¹

Это было еще одним поражением Ирландии в ее вековой борьбе за национальное самоопределение. Период после смерти Парнеля был периодом глубочайшей депрессии. Немало людей воспринимало гибель Парнеля как акт предательства, направленный лично против них. «Портрет» отражает эти эмоции. Сцена, в самом начале романа (стр. 29—48), описывающая, как семья Стивена раздирается надвое в ходе безжалостного спора за рождественским столом — художественная дистилляция последствий падения Парнеля. Семейный спор носит сугубо личный характер, причем сила разгорающихся страстей стоит в обратном соотношении к политическому бессилию спорщиков.

Как только юноша Стивен заговаривает о политике, он выражает свои чувства в тональности

¹ Чарльз Стюарт Парнель (1846—1891), вождь ирландских националистов. Родился в англо-ирландской протестантской семье. (Мать его была дочерью американского морского офицера). Парнель окончил кембриджский университет, стал членом британского парламента в 1875 г., а с 1877 г. возглавил движение «Хом рул», боровшееся за предоставление Ирландии автономии во внутренних делах и за учреждение ирландского парламента в Дублине. Влестящий оратор, Парнель оставался яркой политической фигурой до 1890 г., когда разоблачение его связи с замужней женщиной, Китти О'Шей, вызвало огромный скандал и положило конец его карьере. В лекции, прочитанной по-итальянски в Триесте в 1907 г., Джойс говорил, что Парнель был, «быть может, самым большим человеком, который когда-либо вел за собой ирландцев», «хотя в его жилах не текло ни капли кельтской крови».

личной обиды. Он отождествляет себя с героями, боровшимися за дело Ирландии и павшими жертвами в этой борьбе; он знает, что они были преданы их собственными приверженцами, людьми, которых они пытались освободить. Реакция Стивена характерна для Ирландии его времени. Ирландский народ предал будущность Стивена Дедалуса — вот подлинная причина его горечи. Даже памятники и мемориальные доски в честь подлинных героев Ирландии, Эммета ² и Тона ³ — для него всего лишь убогие детали того убогого Дублина, в котором он томится.

Национальные чаяния Ирландии выражали подлинные, глубинные нужды страны. Они были придушены в XIX в. рядом разгромов — со времени Эммета и Тона и до времени Парнелля. Когда такие стихийные нужды остаются неудовлетворенными, они находят себе исход на молекулярном уровне и порождают в отдельных людях сознание уныния, отчаяния и отвращения к политике. А когда такое общественное состояние выражается в искусстве, то это происходит обычно в непосредственно-эмоциональных, а не в политически-осмысленных формах. Именно так — с предельно лич-

² Роберт Эммет (1778—1803), ирландский националист. В 1798 г. возглавил неудачное восстание против англичан, был схвачен, судим и казнен.

³ Теобальд Вульф Тон (1763—1798), ирландский националист и революционер. Пытался высадиться в Ирландии с французской помощью и свергнуть английское владычество. Попытка эта кончилась неудачей, и Тон покончил жизнь самоубийством.

ной болезненной непосредственностью — отзывается на политические катастрофы своей страны Стивен Дедалус.

После Парнеля Ирландия начала искать новые пути. В сфере политики ирландский национализм нашел их в движении Шин Фэйн,⁴ а в культурной сфере — в так называемом ирландском литературном возрождении,⁵ в движении за гэльский язык и за гэльские виды спорта.

⁴ Шин Фэйн (по-гэльски: «Мы сами») республиканская партия, основанная в 1902 г., преемница других группировок, принимавших насилие в качестве оружия против английского владычества. Дублинское восстание в апреле 1916 г. (т. н. «Пасхальное восстание»), организованное Шин Фэйн и Ирландским республиканским братством, дало партии ее мучеников. В 1922 г. раскол в рядах партии привел ее к фактическому распаду. В итальянской статье, опубликованной в Триесте в 1907 г., Джойс писал: «Изучая историю ирландской революции в XIX в., мы видим двойную борьбу — борьбу ирландского народа против англичан и борьбу, может быть, не менее острую, между умеренными патриотами и так называемой партией насилия. Эта партия, носившая разные имена в разные эпохи, всегда отказывалась от сотрудничества как с английскими политическими партиями, так и с ирландскими националистами — членами английского парламента. Она утверждала (и история ее оправдала), что Англия всегда делала уступки только неохотно и под угрозой штыков».

⁵ Движение, возникшее в конце XIX в.; ставило себе задачей пробуждение интереса к культурному и народному единству Ирландии путем возрождения литературы кельтского прошлого и отображения современной жизни и нравов. Видными вождями этого движения были «А. Э.» (живопись и поэзия) и У. Б. Йитс (поэзия и драматургия). (См. о них ниже). Джойс считал, что кельтскому возрождению угрожала опасность стать «слишком ирландским». Вероятно это движение многого бы не дало, если бы Йитс не утвердил своего тезиса, что литература должна быть национальной, но не патриотической.

В своем дневнике Джойс как-то назвал Ирландию «припиской к Европе». Он имел в виду культурную отсталость своей страны. В XIX веке Ирландия страдала от постоянных экономических кризисов и пережила страшные бедствия. Голод, массовая эмиграция, политические поражения — такова была ее доля. Ирландская культура была худосочной и к тому же еще подпорченной постоянной фальшью, например, традиционным обликом опереточного ирландца. Культурная жизнь Ирландии сложилась в основном под влиянием освободительного движения Великой Французской Революции. Ее лучшими представителями были такие люди, как Томас Дэвис,⁶ Джемс Клэрэнс Манган⁷ и Уильям Карлтон.⁸ Прошлое Ирландии окрашивало ее культуру скорбными красками, подчас красками скорбно-романтическими, например, в романе Мангана «Смуглая Розалина».

⁶ Томас Дэвис (1814—1845), поэт, основатель сепаратистской газеты «Нэйшн», литературный кумир ирландских националистов.

⁷ Джемс Клэрэнс Манган (1803—1849), поэт, автор трагической автобиографической баллады «Безымянный». Джойс прочел лекцию о Мангане в дублинском университете в 1902 г. Отдавая должное силе поэтического воображения Мангана, он вместе с тем сожалел об его бесплодной скорби и об его фаталистическом приятии трагедии Ирландии, как чего-то раз навсегда данного. В другой лекции, прочитанной по-итальянски в Турине в 1907 г., Джойс говорил, что Манган не столько поэт большой силы, сколько символичная фигура, воплощающая горести, чаяния и дефекты ирландского народа.

⁸ Уильям Карлтон (1794—1869), беллетрист, автор рассказов, описывающих страдания и юмор ирландских крестьян.

В первой половине XIX века разъединенная Германия создала немецкую философию, которая, в лице Гегеля, добилась духовного единства культуры, как некой сублимации потребности реального единства, которое мыслилось тогда на политическом уровне чем-то недостижимым. Бурный рост ирландской культуры в после-парнелевский период объясним, как культурная компенсация такого же типа.

На первом этапе ирландского литературного возрождения чувствуется налет некоторой иностранщины, отчужденности. Националисты часто называли это движение англизированной культурой. Повидимому, они имели в виду то, что движение не выражало адекватно тогдашних потребностей Ирландии. Создатели движения были людьми очень талантливыми, а одному из них, Ййтсу,⁹ было суждено стать вероятно величайшим поэтом английского языка его времени. Но они подходили к ирландскому материалу как бы извне. Остро ощущая бесперспективность эпохи, нуждаясь в более свежих источниках вдохновения, нежели английская литература «конца века», когда викторианская цивилизация была уже на исходе, они более или менее открыли Ирландию.

⁹ Уильям Батлер Йитс (1865—1939), поэт и драматург, один из величайших гениев современной литературы. Лауреат нобелевской премии 1923 г. Начал свою литературную карьеру с переводов с гэльского и издания сборников ирландского фольклора. В 1901 г. стал общепризнанным вождем ирландского литературного возрождения.

Но что именно они открыли? Данный этап так называемого возрождения дал поэтическую драму. Свою тематику писатели находили в сагах вольного, до-саксонского прошлого Ирландии. А свой новый поэтический язык они занимали у самой бедной и отсталой части ирландского крестьянства. Стэндиш О'Грэди,¹⁰ которого часто именуют отцом движения, пытался возродить древние саги по гомеровскому образцу. Все эти писатели старались создать образы великих фигур в прошлом, чтобы возместить (хотя бы и бессознательно) отсутствие подлинных вождей в настоящем. Обращаясь к образам Фергуса и других легендарных героев, они, невзирая на падение Парнеля, все же черпали оттуда какое-то вдохновение, какое-то чувство горделивой самоуверенности. Уничижженная на политическом уровне, Ирландия пыталась противопоставить Англии идею самобытной культуры. Посредством культуры она стремилась доказать, что она — подлинная нация. Характерно, что в пьесе Йитса «Кэтлин, дочь Хулиэна», пьесе с политическим подтекстом, Кэтлин, то есть Ирландия (образ довольно бледный по сравнению с Джоном Булом) призывает своих сыновей не к жизни, не к борьбе, не к победам, не к творчеству ради нее, а только к смерти за нее — будто Ирландии и без того не хватало своих мучеников.

¹⁰ Стэндиш Джеймс О'Грэди (1846—1928), литератор, пионер кельтского возрождения. Автор двухтомного труда: «История Ирландии. Героический период», а также исторических романсов и т. д.

На данном этапе движения главный его упор был на прошедшем. Было ли в движении место для Джойса? Чему оно могло научить его, молодого гения, так болезненно отзывавшегося на окружающую его жизнь? В «Портрете» внешний мир гнетет и мучит Стивена. Гордый дух его не выносит тяжкого груза реальности. Полностью этот груз в романе непосредственно не воспроизведен. Кое-какие его элементы отражены только ретроспективно — в форме воспоминаний и диалогов. Не дает роман, например, ясной и полной картины отношений Стивена с матерью. Из диалога с Крэнли (стр. 343) мы узнаём, что у него с ней была «нехорошая» ссора, когда он сказал, что перестал верить. Стивен также теряет свое сыновнее почтение к отцу; в нем начинает складываться чувство сиротства, имеющее ключевое значение в «Улиссе». Но в «Портрете» Джойс прямо этих отношений не развивает. Многого он вообще не касается, например, отношений между родителями Стивена.

«Портрет» содержит в предельно сжатой форме только впечатления семейной жизни, школы, улиц и города, так тяжело гнущие сознание Стивена. Он болезненно реагирует на всё его окружающее; он ощущает дуновение каждого веющего над Ирландией ветра. Бродя по городу, он порой трепещет от ужаса перед адскими муками, порой упивается греховными видениями, описанными

вычурным слогом, напоминающим прозу Пэтера.¹¹ Но чаще всего он ищет, присматривается, прислушивается. На этих прогулках многое специфически дублинское его притягивает, многое отталкивает. Дублинские улицы толкуют ему жизнь, людей, его самого. История Ирландии проникает в его сознание через его чувства и сливается с пульсирующей жизнью современности. Вот почему Стивен так томится: он изнывает под невыносимым грузом впечатлений, под грузом жизни его страны, города, народа, семьи.

Стивен воспринимает историю через призму современности, созерцая то, во что превратились сама Ирландия и ее народ в итоге неоднократных поражений. Но Стивена не тянет к трагическому прошлому страны. Его наполняет горечью убожество Ирландии, которую он знает, Ирландии, искаленной ее трагическим прошлым. Во время работы над «Портретом художника в юности» Джойс как-то назвал Дублин «центром паралича». Именно Джойс ввел современный город в новую ирландскую литературу. И город, Дублин, для него — средоточие всей Ирландии в его творчестве и в

¹¹ Уолтер Пэтер (1839—1894), английский критик и беллетрист; стал известным благодаря своему стремлению к идеальной красоте и к совершенству формы в искусстве и литературе, а также своему своеобразному слогу. Его поклонники считали этот слог элегантным, гармоничным и тонким, а его критики — надуманным, манерным и неудобочитаемым. Самая его известная вещь, роман «Марий эпикуреец» — философская повесть о молодом римском патриции эпохи Марка Аврелия. Она передает скорее «ощущения и помыслы» героя, нежели внешние события.

его жизни. Так это и для Стивена, гения, родившегося в деклассированной семье. Стивен живет и растет в Дублине, этом «центре паралича». Как он может мечтать о будущем в таком центре? Не проще ли отделаться от этого духовного паралича? Грузная реальность, гнетущая Стивена, — реальность, обусловленная неоднократными поражениями Ирландии, сосредоточена, конкретизирована в самом характере дублинцев. В разговоре со своим приятелем Стивен говорит о своем отце, что он — «студент-медик, гребец, тенор, актер-любитель, крикливый политикан, мелкий помещик, мелкий акционер, пьяница, рубаха-парень, рассказчик анекдотов, чей-то секретарь, что-то такое на винокуренном заводе, сборщик налогов, банкрот, а в настоящее время восхвалитель своего собственного прошлого» (стр. 347).

Стивен говорит о самом себе, что его создали «этот народ, эта страна, эта жизнь» (стр. 288); но то же самое применимо и к его отцу. На этом примере, на характере отца, можно понять, что означает для Стивена история Ирландии. В то же время он ощущает самого себя чужеземцем в Дублине, так как вынужден пользоваться чужим для него языком. Как раз перед началом разговора об эстетике с иезуитом-смотрителем Стивен чувствует, что «Ирландия Тона и Парнеля, казалось, куда-то улетучилась» (стр. 258). Он, Стивен, живущий в Ирландии после их гибели, думает во время разговора со смотрителем: «Его язык [то есть, язык смотрителя], столь близкий и столь чужой, оста-

нется для меня всегда языком благоприобретенным. Я не сотворил и не принял слов этого языка. И никогда они не станут вполне моими. Моя душа томится в тени этого языка» (стр. 266—267). Слова Стивена имеют огромное значение для толкования романа. Когда юноша Джойс бродил по Дублину, он не мог не ощущать назойливого присутствия англичан в стольном граде Ирландии. Сколько мелких происшествий, слов, жестов, вспышек раздражения, подозрительных взглядов ловил он вокруг себя! Всё это делало дублинскую жизнь еще более мучительным бременем. Отказ ирландцев следовать за людьми типа Тона и Парнеля привел к тому, что он, Стивен, вынужден теперь «томиться», говоря не на своем родном языке: еще один пример того, как история Ирландии воздействует на Стивена как нечто конкретное, непосредственно данное, как сторона жизни, прямо его затрагивающая, угрожающая и ему параличом души. Вот почему Джойс не ищет вдохновения в движении литературного возрождения, которое обращалось за тематикой к легендарному прошлому Ирландии. Реальный облик современной Ирландии был для этого слишком гнетущим. В этом смысл замечания, которое Стивен делает в целях самооправдания: «Я за прошлое не ответчик» (стр. 351). Но, повторяю, он ощущает последствия этого прошлого во всем, что видит вокруг себя.

Поэтому-то Джойс и не ищет вдохновения там, где искали его другие писатели эпохи. *Ему* Ирландия

дии открывать было нечего. Он и без того насыщен ею.

А помимо того, Джойс родился католиком и получил католическое образование. Он учился в иезуитском университете, созданию которого способствовал кардинал Ньюман. Джойс высоко ценил Ньюмана и испытал его влияние на себе. За броней ясной, четкой прозы Джойс распознавал человека, достигшего своих убеждений ценой духовных мук. Правда, Стивен проходит обратный путь, сбрасывая с себя как раз те убеждения, к которым пробился Ньюман, но делает это ценой такого же духовного борения.¹²

Хорошо знакомый с церковными писаниями, юноша Стивен находит в них не только живое ощущение истории, но и идею упорядоченного внутреннего мира человека и уложенного в систему мира потустороннего. Вечность овладевает его воображением. Еще подростком, он чувствует дуновение испепеляющего пламени, когда, сидя в часов-

¹² Джон Генри Ньюман (1801—1890), английский богослов. Первоначально протестантский священник, Ньюман стал католиком в 1845 г., был рукоположен в священники в Риме в 1847 г., стал кардиналом в 1879 г. Замечательный писатель (автор не только богословских трудов, но и романов и стихотворений), Ньюман написал свой величайший труд "Apologetica pro vita sua" («В защиту моей жизни») в 1864 г. Это — история его духовного развития и ответ на обвинения в индифферентизме по отношению к истине, часто возводимые против католиков. Вряд ли Ньюман, который, уже в бытность католиком, прочел в Дублине лекцию «О масштабах и природе университетского образования», мог бы вообразить, что самым блестящим студентом его университета будет автор таких антицерковных произведений, как «Улисс» и «Поминки по Финнегану».

не, слышит, как иезуит-проповедник с безжалостной логикой описывает телесные и духовные муки проклятых душ в аду (стр. 147—185). (Это один из самых потрясающих пассажей во всем творчестве Джойса). После таких проповедей Стивен заболевает почти физически и испытывает самые острые душевные мучения. Величайшие страдания причиняет ему не томящий его дублинский быт, а именно образ преисподней, не менее ужасный, чем образы Данте. В трепете он прячется от представления о потустороннем мире, по сравнению с которым мир ирландских саг — нечто вялое и туманное. Его духовная борьба касается притяжения этого сведенного к системе потустороннего мира или отказа от него.

В конце концов он его отвергает. Но борьба эта еще больше ожесточает Стивена. Он осознает последние глубины духовного бытия. В «Улиссе» Стивен скажет, что вся история — страшный сон. Стивен на опыте знает, что такое страшный сон наяву. В нем формируется душевный склад, который раз навсегда воспретит ему черпать вдохновение, проявлять интерес или даже любопытство к тем духам, которых Йитс искал в старых замках, к тем привидениям, с которыми пытался общаться «А. Э.».¹³ Вся его жизнь, всё его воспитание, всё его понимание духовной жизни — всё это

¹³ «А. Э.» (1869—1935), литературный псевдоним ирландского писателя Джорджа Уильяма Расселя, известного мистическими поэмами.

неизбежно ведет его к поискам литературного материала, совершенно отличного от того, который использовали его непосредственные предшественники. Поскольку Джойс сам — писатель, то, казалось бы, писательская среда это та сторона дублинской жизни, с которой он мог бы сойтись. Но нет. Джойс порывал и с литературной средой, как вообще со всем дублинским. Молодой, созревающий на наших глазах художник — это человек, который найдет подлинную творческую свободу, только вперив свой взгляд в будущее: он взывает красоты, «которой еще нет на свете» (стр. 364), а не красоты, рожденной в давние века в кельтской Ирландии.

Стивен — беспризорный гений. Ему нужно расправить свои крылья, стать свободным. Ему нужна арена под стать его дарованию. Он знает, что обретет ее, только бунтуя и отвергая. За Дублином с его убожеством, старыми особняками, самодовольной знатью, английскими заправилами, лежат другие города. За Ирландией, нищей и культурно обездоленной, лежит мировая культура. С раннего отрочества он знает, что он — не такой как другие, что у него иной удел. В политике он не может и не хочет участвовать; за писателями, шумящими в Дублине, он следовать не собирается. Куда ж ему податься со своим даром? Он знает, что должен найти выход, должен вырваться на свободу. Те же самые чувства когда-то находили свое общее выражение в национальных чаяниях Ирландии. Проблема, перед которой стоит он, потреб-

ность, которую с прозорливостью гения ощущает он, ощущались задолго до него и другими. Они бежали из своей страны. Задолго до него, у Ирландии были миллионы своих перелетных птиц. Стивен это знает. Знает он, что из оставшихся дома многие умерли с голода, а большинство — от духовной дистрофии. Помнит он также, как погибли Тон и Эммет.

Так рождается Стивенова душа. Он видит, как на его душу «набрасываются сети, чтобы помешать ей взлететь» (стр. 289). Неприкаянный ирландец на родине, неприкаянный гений на белом свете, он воспарит как Икар — вперед и ввысь. В горделивом бунтарстве он провозгласит: «Служить я не хочу» (стр. 316). Вместо священнического призвания, которое он отвергнет, он обретет свое подлинное призвание — призвание «жреца бессмертного воображения» (стр. 367). Жар-птица Ирландии расправляет крылья, чтобы унести в даль.

II

До сих пор я говорил о Джойсе на фоне ирландской жизни и истории. Но надо помнить, что он входит и в традицию европейского романа. «Портрет» дает нам в лице Стивена образ художника. Он показывает рост художника с раннего детства до той поры молодости, когда он осознаёт, что его удел — отдача себя искусству. Во многих разделах романа прямое отношение к центральной теме

имеет сам по себе уж один стиль. Стивен, связанный по рукам и по ногам у себя на родине, видит в искусстве путь для бегства на свободу.

Толкует он искусство в духе *fin de siècle*. Воздействие Пэтера на Джойса очевидно. Пэтеровское толкование искусства сродни Стивену толкованию. Роман Пэтера «Марий эпикуреец» напоминает «Портрет». Как Стивен, Марий готовится к жизни, отданной эстетическому идеалу. Но, когда мы сегодня перечитываем «Портрет», его вычурные пассажи кажутся нам функционально оправданными его содержанием. Стиль «Дублинцев», предшествующих «Портрету» — натуралистичнее, свежее и проще: но Джойс приноравливает свой стиль к своей теме.

Герберт Горман, биограф Джойса, приводит выдержки из ранних критических высказываний писателя. Эти выдержки, особенно из лекции Джойса о Мангане, подтверждают, что молодой Джойс формулировал свои воззрения на литературу на языке, близком к языку Пэтера. Использует Джойс и в «Портрете» образы, понятия и слова, которые традиционно считаются «поэтическими». Когда Стивен следит за полетом птиц, ему чудится что они «вращаются вокруг воздушного храма» (стр. 321). Когда он сочиняет вилланеллу, он думает о словах, как о «расплавленных звуках речи» (стр. 319). Поэтический словарь используется им нарочито и последовательно. Стивен, как сам Джойс, — поэт слова, для которого звучание слов столь же важно, как их смысл.

Язык его определен духом времени. Больше того, этот язык характеризует литературные вкусы Стивена ярче, чем прямые его замечания о том, что он любит, чего он не любит в литературе. Стивен в известном смысле — изнеженный эстет своего века. Это сказывается даже в томном языке, на котором он изъясняется, говоря о своих чувствах. Но томность его претерпевает мутацию под воздействием его гения, его характера, под воздействием несомого им страдания, под воздействием реакций на его мытарства. Ибо, хотя Стивен мыслит и чувствует в модных в его время формах, он бунтует с таким гневом, с такой решимостью, с такой силой презрения, которые показывают, что он более властный, более сильный характер, чем, скажем, герой Пэтера Марий.

Хотя в области эстетики Стивен — бунтарь, он относится с глубочайшим пиететом к традициям. Порывать с традициями европейской культуры он не собирается. Наоборот, он стремится усвоить, использовать их для того, чтобы стать подлинным художником. Стивену претит худосочность ирландской культуры. Ему нужна сильная культура, мощная традиция. При взлете он хочет оттолкнуться не только от физической почвы Ирландии, но и от культурной почвы западной Европы в целом.

Его разговоры, его размышления доказывают, что он много читал, что он научился усваивать прочитанное и формулировать собственные суждения. Он развивает свои идеи об эстетике на ос-

нове Аристотеля и Аквината. Он утверждает, что искусство очищает сознание человека, избавляет его от похоти, от отвращения, от ненависти, от всех «кинетических» эмоций (стр. 292). Очищаясь, человек возвышается и испытывает «идеальное сострадание и идеальный ужас», некий эмоциональный «статис» (стр. 293). Сам «Портрет» построен в согласии с эстетической теорией Стивена: он состоит из последовательных отказов Стивена — от священнического призвания, от семьи, от религии, от народа, от родины. Стивен распознает свой удел в итоге серии духовных очищений, которые ведут его к искусству в духе священнической самоотдачи. Художник, в его понимании, равноценен священнику.

Реализм Джойса — реализм духа. Жизнь Стивена рассказывается в романе предельно сжато, в виде эпизодов, отобранных по этому принципу. Система координат повествования — сознание героя. События рассказываются только после того, как они усваиваются сознанием Стивена, после того как он накладывает на них свою оценочную печать. Фабула развивается в форме зеркальных отражений в сознании героя. В повествование вплетены также формальная теория эстетики (стр. 290—307) и описание творческого акта (стр. 310—320): Стивен придает своим любовным переживаниям форму вилланеллы на манер ранней поэзии самого Джойса.

Итак, герой — молодой человек, готовящийся стать художником; он объясняет творческий про-

цесс и формально излагает свое понимание искусства. Иными словами, единственное важное в нем — это внутренняя жизнь художника. Можно спорить о том, устарели ли или нет отдельные пассажи, но в целом стиль, перспектива, организация романа идеально гармонируют с его содержанием.

«Портрет» обычно называют одним из крупнейших романов нового времени об отрочестве и юности. Но это замечание нуждается в уточнении. Дело в том, что Стивен уже в детстве — характер необычный. Он отрезан от других. Он изолирован, одинок, качественно отличен. Его детство — детство необычное, не период, в котором всё, и хорошее и дурное, естественно становится общим достоянием сверстников. В играх он редко участвует. Он — отрешенный от внешнего мира книголюб. К началу студенческого периода у Стивена складывается монашеский, отшельнический нрав, и Стивен отдает себе в этом отчет. Он не только стоит выше своего окружения, своих товарищей, своей семьи; он это знает. Его религиозная вера глубже веры других. Его гордыня, его изолированность, его отличие от других окрашивают даже его религиозные эмоции. Духовные упражнения он выполняет легко, но чувствовать подлинную близость к другим он неспособен.

С другой стороны, он и грешит наедине. Он посещает публичные дома, но не в компании, а наедине. С приятелями он свои похождения не обсуждает, как это обычно делают молодые люди. Нет, он обрамляет их томными, высокопарными,

условно поэтическими мыслями. Он живет как бы на более высоком уровне, чем его сверстники. Подлинно дружеских отношений у него с ними нет. Он ведет однобокие разговоры с ними, в ходе которых он ими помыкает, но вместе с тем выдает свои самые сокровенные мысли.

Даже страдания, которые испытывает Стивен, подтверждают его обособленность. В основном эти страдания описываются зеркально, в форме мыслей и образов. Самые страшные мучения доставляют ему именно образы — образы проклятых душ в преисподней. Да и когда он переживает муки отвергнутой юношеской любви, стыд и унижение описываются таким же «зеркальным» образом. В этом смысле «Портрет» характерен для творчества Джойса в целом. Он редко описывает страдания в их прямом воздействии на героев. В мире Джойса подлинного нервного напряжения мало. Его герои страдают от тщеты своих стремлений, от чувства вины, стыда, оскорбленной гордости. Даже в страдании Стивен обособлен от других.

Стивен отличается не только от своих сверстников. Он отличается и от молодых героев литературы XIX века, например, от толстовских молодых людей. Сколь бы высокомерным ни был молодой человек у Толстого, он все же проходит через переживания, нормальные для его поколения, его круга. Он принадлежит к обществу и делает то, что делают другие, разделяет опыт и участвует в жизни своего класса, своей социальной груп-

пы. Его восприимчивость иногда ставит его поверх его товарищей, но не изолирует его так, как она изолирует Стивена.

И все же, сколь бы своеобразным ни был Стивен, он укоренен в традиции европейского романа XIX века. Общепринято положение, что в европейском романе образ юноши драматически оттеняет проблемы личности, противостоящей обществу, оттеняет моральные, психологические и личные последствия исторического явления, которое мы называем индивидуализмом. В начале века такие люди, как, например, Жюльен Сорель в «Красном и черном» Стендаля или бальзаковские герои Люсьен и Растиньяк, ищут славы. Их цель — успех, и уровень, на котором они добиваются успеха — это объективный уровень общества.

В русском романе (Пьер в «Войне и мире», Левин в «Анне Карениной», Базаров в «Отцах и детях», Раскольников и Иван Карамазов у Достоевского) центр тяжести сдвигается: русские юноши заняты поисками смысла жизни; они пытаются согласовать свои мысли со своим образом жизни. Позднее центр тяжести еще раз сдвигается: молодой человек начинает искать свободы в царстве чувств. Это цель, например, Фредерика Моро в «Сентиментальном образовании» Флобера или (уже в чисто декадентском преломлении) Дез-Эссента в романе Гюисманса «Наоборот». Марий и Стивен принадлежат к тому же роду: они тоже ищут свободы в царстве чувств и искусства.

Общественная эволюция в XIX веке последовательно сужает сферу свободы. Возникает идея искусства, как последнего убежища свободы, идея искусства ради искусства. Для художника, задавленного грузом современной цивилизации, искусство становится самоцелью. Он превращается в художника-бунтаря, испытывающего глубочайшее отчаяние и отвергающего всю общественную мораль своей эпохи. Таково отчаяние Флопера, Рэмбо, Бодлера.

Стивен — тоже художник-бунтарь: он отвергает общественные критерии эпохи. Образ художника, который он воплощает, — образ скорбного, но мощного творца, который подымается над своей эпохой и над своей собственной немощью и со скорбью взирает на мутную реку времени, пытается создать, святить, увековечить в красоте всё, что он видит.

Но искусство ради искусства не есть для Стивена нечто бесцельное. В своем творчестве Стивен стремится не только сбросить с себя путы. Он хочет служить сверхличному началу художественной истины. Он стремится растормошить сознание своего народа (стр. 342), чтобы облагородить его. Его конечная цель — «выковать нерукотворное самосознание его народа» (стр. 367), чтобы установить живую связь между всем тем, что взрастило его, Стивена, с основным потоком европейской культуры. И он отдает себя этой цели в духе героического подвижничества: «Я не боюсь быть одним, не боюсь быть отвергнутым ради дру-

гого, не боюсь бросить то, что я должен бросить. Я не боюсь совершить ошибку, даже огромную ошибку, ошибку на всю жизнь и, может быть, на всю вечность» (стр. 356).

В своем творчестве Джемс Джойс остался верен этому обету Стивена. В истории литературы он останется вечным источником вдохновения не только благодаря его творческому гению, но и благодаря его неимоверной трудоспособности (несмотря на постепенную потерю зрения), благодаря его гигантским творческим замыслам, напряженности его исканий, его героизму как художника. Огромно влияние Джойса на технику писательского ремесла. Но не менее внушительно влияние его личного примера. И то, и другое будет вдохновлять грядущие поколения европейских писателей.

Джемс Т. Феррел

Из книги THE LEAGUE OF FRIGHTENED PHILISTINES
Copyright, 1945, by Vanguard Press, Inc.

Et ignotas animum dimittit in artes *
OVID, *Metamorphoses*, VIII, 18.

* И он устремил свои мысли на дотоле неведомое мастерство. (Лат). Овидий, *Метаморфозы*, VIII, 18.

1

Давным-давно — и хорошее же это было время! — шла по дороге коровка; шла-шла и повстречалась с пай-мальчиком; звали его мальчик-с-пальчик . . .

Сказку эту рассказывает ему папа: папа смотрит на него через монокль; у папы волосатое лицо.

Мальчик-с-пальчик — это он сам. Коровка идет по дороге, у которой живет Бетти Бёрн, та самая, что торгует лимонным печеньем.

Ах, дикая роза цветет
На зеленой лужайке.

Песенку эту он поет сам. Это — его песенка.

Ах, зёёная уоза ветёт.

Если сделаешь пи-пи в постельке, то сначала делается тепло, а потом холодно. Мама стелет клеенку. Клеенка странно пахнет.

Мама пахнет лучше папы. Она играет на фортепиано матросский танец, чтобы он плясал. И он пляшет.

Тра-ля-ля-ля-ля,
Тра-ля-ля-да-да,
Тра-ля-ля-ля-ля,
Тра-ля-ля-ля-ля.

Дядя Чарльз и Данти¹ хлопают в ладоши. Они старше мамы и папы, а дядя Чарльз еще старше, чем Данти.

У Данти в шкафу две щетки. Одна, обитая лиловым бархатом, в честь Майкла Дэвитта; другая, обитая зеленым, в честь Парнеля.² Данти дарит ему леденец, когда он приносит ей лист папиросной бумаги.

В доме № 7 живут Вансы. У них свой папа и своя мама. Это — папа и мама Айлин. Когда он вырастет, он женится на Айлин.

Он прячется под столом. Мама говорит:

— Стивен сразу же извинится.

Данти говорит:

— А не то прилетят орлы и выключот ему глаз.

Останешься без глаза.
Извинись сразу!
Извинись сразу!
Останешься без глаза.
Извинись сразу!
Останешься без глаза,
Останешься без глаза,
Извинись сразу!

¹ Детское произношение слова Auntie, т. е. тетя.

² Деятели ирландского освободительного движения — Чарльз Парнель (1846—1891) и Майкл Дэвитт (1846—1906).

Просторные футбольные поля кишмя кишат мальчишками. Все они вопят, а классные наставники еще подгоняют их громкими командами. Вечерний воздух бледен и холоден, и после каждого рывка и топота футболистов лоснящийся кожаный шар взлетает в бледном свете, как огромная птица. Он держится на самом краю поля — подальше от наставника, подальше от грубых ног. Иногда он делает вид, будто бежит. В толпе игроков он чувствует себя слабым и маленьким; его близорукие глаза слезятся. Роды Кикхэм — совсем другое дело. Мальчишки говорят, что он скоро станет старостой младшего отделения.

Роды Кикхэм — очень славный, а вот Насти-Рош — свинья. У Роды Кикхэма в комнате пара наголенников, а в трапезной своя корзинка с припасами. У Насти-Роша огромные руки. Как-то раз он спросил:

— Как тебя звать?

Стивен ответил:

— Стивен Дедалус.

И тогда Насти-Рош сказал:

— Что это за имя?

А когда Стивен не нашелся, что ответить, Насти-Рош спросил:

— А кто твой отец?

Стивен ответил:

— Он джентльмен.

И тогда Насти-Рош спросил:

— А он мировой судья?

Он медленно бродит взад и вперед вдоль края своего поля, иногда для вида пробегая несколько шагов. Руки у него посинели от холода. Он прячет их в боковые карманы своей куртки, опоясанной кушаком. Кушак — это то, что поверх его карманов. Но «откушачить» значит «избить». Как-то один мальчишка сказал Кэнтвеллю:

— Вот я тебя откушачу.

А Кэнтвелль сказал:

— Дерись с кем-нибудь своего роста. Вот откушачь Сесилия Тандера. Посмотрел бы я на тебя. Он тебе как даст пинок в задницу . . .

Это — нехорошее слово. Мама наказала ему не говорить с грубыми мальчиками в школе. Милая мама! В самый первый день, когда она прощалась с ним в большой зале замка,³ она отвернула свою вуаль выше носа, чтобы поцеловать его. Нос и глаза у нее были красные. Но он притворился, будто не видит, что она вот-вот заплачет. Мама красивая, но когда плачет, то не очень. А папа дал ему две пяти-шиллинговых монеты на карманные расходы и сказал, чтобы он писал, если ему что будет нужно, и чтобы он ни за что не фискалил. А потом у парадного подъезда замка, ректор, сутана которого развевалась на ветру, пожал руки папе

³ Замок Клонгоз в 1814 г. был приобретен иезуитским орденом, и в нем была устроена закрытая школа.

и маме, и папа с мамой уехали в экипаже. Они махали ему руками и кричали из окна кареты:

— Прощай, Стивен, прощай!

— Прощай, Стивен, прощай!

Его захватил ураган свалки; страшась горящих глаз и грязных ботсов, он присел к земле, чтобы посмотреть на ноги. Мальчишки стонали от напряжения и терлись, бились и топтались ногами. Потом желтые ботсы Джэка Лоутона выковыряли мяч, и все остальные ботсы и ноги погнались за ним. Он тоже побежал было, но сразу же остановился. Бежать не стоило. Скоро они разъедутся по домам на каникулы. После ужина в классе он переменит номерок, наклеенный внутри его парты — с семьдесят седьмого на семьдесят шестой.

В классе куда уютнее, чем здесь на холоду. Небо серое и холодное, но окна замка светятся. Интересно, из какого окна Гамильтон Роуэн бросил свою шляпу на живую изгородь, и были ли в то время клумбы под окнами? ⁴ Как-то раз его вызвали в замок, и дворецкий показал ему следы пуля на деревянной двери и угостил его песочным печеньем, которое идет на стол общины. Приятно и тепло видеть свет в окнах замка. Как в книге. Может быть, Лестерское аббатство такое. В учебнике правописания доктора Корнвелля есть занятные фразы. Они похожи на стихи. Но это просто примеры правописания.

⁴ Гамильтон Роуэн (1751—1834), герой ирландского восстания 1793 г.

Умер Вулси в аббатстве Лестер,
И аббаты его погребли.
Разъедают растения черви,
Болеют животные раком.⁵

Хорошо было бы сейчас лежать на ковре перед камином, положив голову на руки, и думать об этих фразах. Он вздрогнул, будто кожа его ощутила холодную, липкую воду. Беллс все-таки свинья! Столкнул его плечом в канаву около уборной за то, что он отказался обменять свою табакерку на испытанный каштан-чемпион, вышедший победителем из сорока состязаний. Вода была холодная и липкая! Один мальчик говорит, что видел, как огромная крыса плюхнулась туда в тину. Мама сидит у камина с Данти и ждет, пока Бриджет подаст чай. Она поставила ноги на каминную решетку, и ее обшитые бусинами ночные туфли совсем нагрелись и так хорошо и тепло пахнут! Данти очень много знает. Она научила его, где Мозамбикский пролив, какая самая длинная река в Америке, как называется самая высокая гора на луне. Отец Арнол знает ещё больше, чем Данти, потому что он — священник; но папа и дядя Чарльз говорят, что Данти умная и начитанная женщина. А когда Данти после обеда издает странный звук и подносит руку ко рту, то это называется «изжога».

Голос с поля старшего отделения крикнул:

— По домам!

⁵ По-английски canker — червоточина, а cancer — рак.

И с полей среднего и младшего отделений откликнулись другие голоса:

— По домам! По домам!

Игроки собрались в кучку, разгоряченные и покрытые грязью. Он шел посреди них, довольный тем, что игра кончилась. Роди Кикхэм держал мяч за просмоленный шнурок. Один мальчик попросил его дать ему ударить по мячу в последний раз, но Роди шел, не отвечая. Саймон Мунэн сказал мальчику:

— Не надо, классный наставник смотрит.

Мальчик повернулся лицом к Саймону Мунэну и сказал:

— Ясно. Всем известно, что ты подлиза.

Подлиза. Вот странное слово. Мальчик обозвал так Саймона Мунэна, потому что Саймон Мунэн иногда в шутку завязывает рукава на мантии классного наставника за его спиной, а тот притворяется, будто сердится. Но звук у этого слова нехороший. Как-то раз он мыл руки в уборной гостиной «Виклоу», и папа вытянул пробку за cepпчку; грязная вода ушла через дыру в раковине.

И вот, когда она вся медленно ушла, то дыра в раковине издала похожий звук: лиз-з-з . . . Только погромче.

Воспоминание об этом и о белизне уборной вогнало его сначала в холод, а потом в жар. Там было два крана; откроешь — и из них идет вода — холодная и горячая. Он почувствовал холод, а потом легкий жар и потом увидел надписи на кранах. Очень странно.

От воздуха в коридоре — странного и сыроватого — его тоже знобило. Но скоро зажжется газ, а газ, когда горит, чуть-чуть шипит, будто тихо напевает песенку, всё одну и ту же. Когда мальчики в рекреационном зале замолкают, то ее слышно.

Урок арифметики. Отец Арнол написал трудную задачу на доске и сказал:

— Ну, чья возьмет? Вперед, Йорк! Вперед, Ланкастер! ⁶

Стивен старался, но задача была слишком трудной, и мысли у него путались. Задрожал шелковый значок с белой розой, приколотый к лацкану его куртки. В арифметике он был не силен, но все же старался во всю, чтобы Йорк не проиграл. Лицо отца Арнола потемнело, но он не злился, он смеялся. Джэк Лоутон щелкнул пальцами; отец Арнол заглянул в его тетрадь и сказал:

— Правильно. Bravo, Ланкастер! Победа за алой розой. Ну, Йорк! Вперед!

Джэк Лоутон посмотрел на него со своей половины. Шелковый значок с алой розой выделялся на его синей матроске. Стивен чувствовал, что краснеет, вспоминая о пари — кто будет первым учеником в подготовительном отделении — Джэк Лоутон или он. Иногда билет первого ученика доставался Джэку Лоутону, а иногда ему. Его белый шелковый значок дрожал да дрожал, пока он

⁶ Намек на гражданскую войну в Англии в конце XV в. между сторонниками династий Йорк и Ланкастер. Эмблема первой — белая, а второй — алая роза.

трудился над второй задачей и прислушивался к голосу отца Арнола. И вдруг у него пропал весь интерес, а лицо стало совсем холодным. Ему подумалось, что лицо его совсем побелело; так оно похолодело. Решить задачи он не мог, но это его больше не занимало. Белые розы, алые розы — вот цвета, о которых приятно думать. И цвета билетов первого, второго и третьего ученика тоже хорошие — розовый, желтый и лавандовый. Приятно думать о лавандовых, желтых и розовых розах. Может быть, дикая роза такого цвета, и он вспомнил песню о дикой розе, которая растет на зеленой лужайке. Но зеленых роз не бывает. А, может быть, где-нибудь на свете есть и зеленые розы.

Прозвенел звонок, и класс за классом стали шеренгами выходить из комнат и двигаться по коридорам в трапезную. Он сидел, глядя на два шарика масла на своей тарелке, но не мог притронуться к сырому хлебу. Скатерть тоже казалась сырой и липкой. Но он выпил горячего жидкого чаю, который налил в его чашку неуклюжий поваренок в белом фартуке. Интересно, сырой ли на ощупь фартук у поваренка? Может быть, всё белое — сырое и липкое? Насти-Рош и Соурин пьют какао, которое получают в банках от своих. Они говорят, что не могут пить этого свиного пойла — здешнего чаю. Мальчики рассказывают, что их отцы — мировые судьи.

Все мальчики казались ему странными. У всех у них свои отцы и матери, своя одежда, своя ма-

нера говорить. Он мечтал о том, как бы очутиться дома и лечь головой на мамины колени. Но это — одна фантазия. Поскорее бы кончились игры, уроки и молитвы; тогда можно будет лечь спать.

Он выпил еще чашку горячего чая, и Флеминг сказал:

— В чем дело? У тебя что-нибудь болит? Что с тобой?

— Я не знаю, — сказал Стивен.

— А ты бы вырвал в свою жестянку для хлеба, — сказал Флеминг, — ты совсем бледный. Тогда пройдет.

— Да, да, — сказал Стивен.

Но его не стошнило. Ему было будто тошно на сердце, если только там бывает тошнота. Симпатия Флеминг, что спросил его. Ему хотелось плакать. Он облокотился на стол и стал зажимать уши руками. Он слышал гул трапезной, когда отводил руки — совсем как грохот ночного поезда. А когда он зажимал уши, то грохот выключался, как будто поезд влетал в туннель. Совсем как ночью в Дальки: поезд грохотал, а когда влетал в туннель, то все затихало. Он закрыл глаза, и поезд шел дальше: грохот, тишина; опять грохот, опять тишина. Приятно прислушиваться к грохоту и тишине.

Вот мальчики старшего отделения уже идут по цыновке, разложенной вдоль трапезной — Падди Рат, и Джимми Маги, и испанец, которому разрешают курить сигары, и коренастый португалец в шерстяном колпачке. А за ними идут шеренгами

среднее и младшее отделения. И у каждого мальчика своя походка.

Он сидел в углу рекреационной, притворяясь, будто следит за партией в домино. Раза два ему удалось подслушать песенку газа. Классный наставник стоял у дверей, окруженный мальчиками, а Саймон Мунэн опять завязывал за его спиной рукава его мантии. Он рассказывал им о Туллабеге.⁷

Потом он отошел от двери, а Веллс подошел к Стивену и сказал:

— Ну-ка, Дедалус, скажи: ты целуешь свою мать, когда ложишься спать?

Стивен ответил:

— Да.

Веллс обернулся к другим мальчикам и сказал:

— Эй, ребята! Этот паренек целует свою маму, когда ложится спать.

Мальчики прервали игру и обернулись к нему, смеясь. Стивен покраснел под их взглядами и сказал:

— Нет. Не целую.

Веллс сказал:

— Ну, ну! Этот паренек не целует свою мать, когда ложится спать.

Они опять засмеялись. Стивен пытался смеяться с ними. Его знобило и мутило. Как ответить на этот вопрос? Он дал два различных ответа, и каждый раз Веллс смеялся. Но сам Веллс должен знать правильный ответ: ведь он в третьем грам-

⁷ Другая иезуитская закрытая школа, позднее объединившаяся с Клонгозом.

матическом классе. Он попробовал представить себе мать Веллса, но не смел взглянуть Веллсу в лицо. Ему не нравилось лицо Веллса. Именно Веллс накануне столкнул его плечом в канаву около уборной, потому что он не захотел обменять свою табакерку на испытанный каштан Веллса, победивший в сорока состязаниях. Все мальчики говорили, что это — свинство. А вода была холодная и липкая! И один мальчик видел, как туда, в тину — плюх! — прыгнула огромная крыса.

Холодная слизь канавы облипала его тело; и когда прозвучал звонок, и отделения одно за другим вышли из рекреационной, он почувствовал под одеждой холодный воздух коридора и лестницы. Он все еще думал о том, как правильно ответить. Хорошо ли целовать маму или не хорошо? И что значит: целовать? Ты приподымаешь лицо, чтобы сказать: «Спокойной ночи!», и тогда мама наклоняет свое лицо. Это и значит: «целовать». Мама касается губами его щеки; у нее мягкие губы; они оставляют влажный след на щеке и производят еле слышный звук: «чмок». Зачем люди делают это со своими лицами?

Усевшись в классной, он приподнял крышку парты и переменял номерок, наклеенный внутри — с семьдесят седьмого на семьдесят шестой. До рождественских каникул было еще далеко-далеко. Но все-таки они в конце концов настанут, потому что земля все время крутится.

На первой странице его учебника географии — картинка: большой шар посреди облаков. У Фле-

минга есть коробка цветных карандашей, и как-то вечером, в свободное время, он закрасил землю зеленым цветом, а облака — лиловым. Совсем как щетки в шкафу у Данти — одна с зеленым бархатом в честь Парнеля, а другая с лиловым — в честь Майкла Дэвитта. Но он не просил Флеминга раскрашивать картинку именно в эти цвета. Флеминг сам это сделал.

Он открыл учебник географии, чтобы выучить урок; но он не был в состоянии выучить названия мест в Америке. Все это были разные места с разными названиями. Они — в разных странах, а страны — на материках, а материки — на земле, а земля — во вселенной.

Он открыл учебник на белой странице и прочел то, что он написал о себе самом — кто он и где он.

Стивен Дедалус
Приготовительное отделение
Семинария Клонгоз Вуд
Саллинс
Графство Килдэр
Ирландия
Европа
Земля
Вселенная

Это — его почерком; а как-то вечером Флеминг для смеха написал на странице напротив:

Стивен Дедалус — мое имя,
Ирландия — моя родина,

В Клонгозе я проживаю,
На Царство Небесное уповаю.

Он прочел стихи сзади наперед: но от этого они не стали лучше. Потом он прочел белую страницу снизу вверх, пока не дошел до своего имени. Это — он. Тогда он прочел страницу сверху вниз. А что за вселенной? Ничего. Но есть же что-нибудь вокруг вселенной, чтобы показать, где она кончается, и где начинается ничего? Стены там быть не может; но, может быть, есть тоненькая черта. Трудно думать обо всем и обезде. Это одному Богу под силу. Он постарался представить себе, какая огромная должна быть такая мысль; но думалось только о Боге. «Бог» — это имя Бога, вроде как его имя — Стивен. По-французски Бог — Dieu, и это тоже Божье имя; и когда кто-нибудь молится Богу и говорит Dieu, то Бог сразу понимает, что молится француз. Но хотя у Бога разные имена на разных языках мира, и хотя Бог понимает всё, о чем молятся люди на разных языках, все-таки Бог — это все тот же Бог, и настоящее имя Бога — «Бог».

Утомительно думать об этом. От таких мыслей пухнет голова. Он снова раскрыл первую страницу и начал устало рассматривать зеленую круглую землю посреди лиловых облаков. Интересно, кто прав — зеленая или лиловая сторона. Данти недавно содрала ножницами зеленый бархат с парнелевской щетки и сказала, что Парнель — нехороший человек. Интересно, спорят ли они об этом дома? Это называется политика. В ней две

стороны — Данти на одной, папа и мистер Кэйси на другой, а мама и дядя Чарльз ни на чьей. В газете каждый день пишется об этом.

Его огорчало, что он не знает толком, что такое политика, и где кончается вселенная. Какой он все еще маленький и беспомощный! Когда-то он станет таким, как старшекласники поэтического и риторического классов? У них громкие голоса, огромные башмаки, и они учатся тригонометрии. Все это еще страшно далеко. Сначала будут каникулы, потом триместр, потом опять каникулы, потом еще один триместр и опять каникулы. Совсем как поезд, который влетает в туннель и вылетает из него, как гул в трапезной, когда то открываешь, то закрываешь уши. Триместр, каникулы; в туннель, из туннеля; шум, тишина. Как все это далеко! Лучше лечь и заснуть. Еще молитва в часовне, а потом в постель! Он вздрогнул и зевнул. Хорошо будет в постели, когда согреются простыни. Сначала они такие холодные, потом согреваются, и тогда он заснет. Приятно быть усталым. Он опять зевнул. Вечерняя молитва и потом — в постель. Он вздрогнул и постарался зевнуть. Через несколько минут будет совсем хорошо. Он уже предвкушал, как холодные, сырые простыни станут теплыми — все теплее и теплее, пока не почувствовал теплоту во всем теле; ему стало жарко, но вместе с тем его знобило, и все еще хотелось зевать.

Прозвучал звонок к вечерней молитве; он вышел из класса вместе с другими и пошел в часов-

ню вниз по лестнице и по коридорам. Коридоры были полутемные; часовня тоже. Скоро будет совсем темно, все заснет. В часовне воздух по ночному прохладен, а мрамор — цвета ночного моря. Море — холодное и днем и ночью, особенно ночью. А у подножья дамбы у папиного дома оно совсем холодное и черное. Но чайник с кипятком для пунша уже стоит у камина.

Настоятель часовни молится где-то наверху, а память подсказывает Стивену антифоны:

- Господи, отверзи уста наши,
- И да прославят уста наши Господа.
- Подаждь нам помощь Твою, Боже наш!
- Господи! Прибегни на ограду нам!

В часовне холодный ночной запах — Божий запах. У старых крестьян, которые по воскресеньям молятся на коленях в задней части часовни — запах другой. От них идет запах дождя, торфа и плиса. Крестьяне — набожный народ. Они дышат ему в затылок и громко вздыхают, когда молятся. Один мальчик говорит, что они из Клэйна: там у них свои домики, и раз, когда Стивен возвращался из Саллинса, он видел женщину, стоявшую в дверях с ребенком на руках. Хорошо было бы переночевать в таком домике у дымящегося в очаге торфа — в полутьме, еле освещенной огнем, в теплой темноте, вдыхая крестьянский запах, свежий воздух, дождь, торф и плис. Но дорога, ведущая туда промеж деревьев — темная-претемная! В темноте и заблудиться нетрудно, даже думать об этом страшно.

Голос настоятеля произнес последнюю молитву. Он тоже прочел ее вслух, чтобы оградить себя от тьмы на дворе под деревьями:

— Посети, Господи, сию обитель, молим Тебя, и извергни из нее все пути лукавого. Да пребудут в ней святые ангелы Твои, дабы даровать нам мир, и да осенит благодать Твоя нас во веки веков ради Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

Его пальцы дрожали, когда он начал раздеваться в дортуаре. Он просил свои пальцы потопиться. Ему надо было раздеться, а потом встать на колени и прочесть собственные молитвы, прежде чем потушат газ: иначе он попадет в ад после смерти. Он снял чулки и быстро натянул на себя ночную рубашку, встал, дрожа, на колени перед своей кроватью и быстро повторил молитвы, боясь, что вот-вот прикроют газ. Плечи его дрожали, пока он бормотал:

— Господи! Благослови папу и маму и сохрани их для меня! Господи! Благослови моих младших братьев и сестер и сохрани их для меня! Господи! Благослови Данти и дядю Чарльза и сохрани их для меня!

Он перекрестился, юркнул в постель и, подоткнув полы ночной рубашки под ступни, свернулся калачиком под холодной белой простыней, дрожа и трясясь. Но в ад после смерти он все-таки не попадет, и дрожь тоже скоро пройдет. Голос наставника пожелал мальчикам в дортуаре спокойной ночи. Он выглянул на секунду из-под оде-

яла и увидел закрывавшие его со всех сторон желтые шторы вокруг кровати. Свет медленно потух.

Шаги наставника удалились. Куда? Вниз по лестнице и по коридору к его комнате в самом конце? Он представил себе тьму. Правда ли, что там по ночам бродит черный пес с огромными, как каретные фонари, глазами? Говорят, будто это дух убийцы. Дрожь ужаса пробежала по его телу. Он увидел перед собой темную залу в замке. Старые слуги в старомодной одежде молча сидят в бельевой комнате на антресолях. Все это было давным-давно. В камине огонь, но зала все еще во тьме. И вот вверх по лестнице из залы подымается фигура. На ней белый плащ фельдмаршала; лицо бледное и странное. Одна рука прижата к боку. Своими странными глазами она глядит на старых слуг. А они глядят на нее, видят лицо и плащ своего барина и знают, что он смертельно ранен. Но там, куда они только что глядели, ничего нет, кроме темного, немного воздуха. Их барин смертельно ранен на поле битвы у Праги — далеко-далеко за морем. Он стоит на поле; рука его прижата к боку; лицо его бледно и странно, а на плечах белый плащ фельдмаршала.

О, как холодно и странно обо всем этом думать! Тьма всегда холодная и странная. В ней маячат бледные, таинственные лица с огромными, как каретные фонари, глазами. Это духи убийц, привидения фельдмаршалов, смертельно раненых на полях битв далеко-далеко за морем. Что они хотят сказать своими таинственными лицами?

— Посети, Господи, сию обитель, молим Тебя, и изгони из нее все путы . . .

Домой на праздники! Вот хорошо будет! Он уже знает от других мальчиков, как они сядут в экипажи ранним зимним утром у дверей замка. Вот экипажи уже катятся по гравии. Ура в честь ректора.

— Ура! Ура! Ура!

И вот экипажи уже катятся мимо часовни, и все мальчики поднимают фуражки. Они катятся по проселочным дорогам. Кучера указывают кнутовищами на Боденстаун.⁸ Мальчики кричат: «Ура!» Они проезжают мимо хутора Веселого Фермера. Ура следует за ура. Вот они едут через Клэйн, перекликаясь с прохожими. Крестьянки стоят у дверей, там и сям стоят мужчины. В зимнем воздухе слышен милый запах Клэйна — запах дождя, зимнего воздуха, тлеющего торфа и плиса.

Поезд битком набит мальчиками: длинный-предлинный шоколадный поезд со сливочными разводами. Кондуктора ходят взад и вперед, захлопывая, отмыкая и замыкая двери. Они одеты в синие с серебром мундиры. У них серебряные свистки, и их ключи играют быстрый мотив: клик-клик; клик-клик.

И поезд несется по равнине мимо холма Аллена. Мелькают телеграфные столбы. А поезд несется да несется. Он знает, куда едет. В папином

⁸ Кладбище, на котором похоронен ирландский герой Теобальд Вульф Тон (1763—1798).

доме фонари и гирлянды из зеленых ветвей. Остролист и плющ вокруг трюмо, остролист и плющ вокруг канделябров. Вокруг старых портретов на стенах тоже красные ягоды остролиста и зеленый плющ. Остролист и плющ в честь него и по случаю Рождества.

Как хорошо . . .

И все тут. Стивен! Здравствуй! Приветственные возгласы. Мама его целует. Но что это? Папа стал фельдмаршалом — куда важнее мирового судьи. Стивен! Здравствуй!

Шум, шум, шум . . .

**
*

Шумели кольца на прутьях занавесок; шумела вода в умывальниках; шумели мальчики, которые подымались, одевались, умывались; шумел классный наставник, который шагал взад и вперед и торопил мальчиков, хлопая в ладоши. Солнце бросало тусклый свет на желтые шторы и смятые постели. Постель была жаркой; лицо его и тело тоже горели.

Он поднялся и сел на край кровати. Изнемогая от слабости, он начал было натягивать отвратительно шершавый чулок. Солнце светило странно и холодно.

Флеминг спросил его:

— Тебе что — нехорошо?

Он не знал что ответить, и тогда Флеминг сказал:

— Ложись опять. Я скажу Макгледу, что тебе нехорошо.

— Он болен.

— Кто?

— Надо сказать Макгледу.

— Ложись опять.

— Он болен?

Один из мальчиков держал его под руки, пока он стягивал повисший на ступне чулок и карабкался в жаркую постель.

Он лег ничком между простынями, наслаждаясь исходившим от них теплом. Он слышал, как мальчики толковали о нем, пока одевались к обеду. Свинство все-таки! Столкнись в канаву! — говорили они.

Потом голоса затихли: они ушли. Чей-то голос у его кровати сказал:

— Дедалус, ты ведь на нас не наябедничаешь, правда?

Это лицо Веллса. Он взглянул на него и понял, что Веллс перепуган.

— Я ведь нечаянно. Ты не наябедничаешь?

Папа наказал ему: «Делай что хочешь, но ни за что не фискаль!» Он покачал головой, и ему стало хорошо.

Веллс сказал:

— Я нечаянно. Честное, благородное. Я только в шутку. Извини, пожалуйста.

Лицо и голос исчезли. Извиняется, потому что боится. Боится, что это какая-нибудь страшная болезнь. Разъедают растения черви, болеют живот-

ные раком. Или наоборот. Все это было давным-давно — там на спортивных площадках в вечернем свете, пока он медленно бродил по краю своего поля, а тяжелая птица низко летала в сумерках. В Лестерском аббатстве зажглись огни. Там умер Вулси. И аббаты его погребли.

Но это лицо уже не Веллса, а классного наставника. Он не притворяется. Честное слово. Он взаправду болен. И он почувствовал руку наставника на своем лбу. Лоб его был жарким и влажным под холодной влажной рукой наставника. Такие вот крысы на ощупь — склизкие, влажные, холодные. У каждой крысы по два глаза, через которые она смотрит. Гладкие, липкие шкурки, малюсенькие ножки, подтянутые для прыжка, черные, склизкие глазки, через которые она смотрит. Прыгать они умеют, но на тригонометрию их крысиных мозгов не хватает. А когда они подымают, то лежат на боку, и шкурки их сохнут. Тогда они просто-напросто — падаль.

Снова появился наставник. Прозвучал его голос: Стивен должен встать; отец проректор распорядился, чтобы он встал, оделся и шел в лазарет. И пока он торопливо одевался, классный наставник сказал:

— Нам надо переезжать к брату Михаилу, потому что у нас шатунчики!

Его тронули эти слова. Наставник сказал их, чтобы развеселить его. Но смеяться он не мог: озноб сводил ему щеки и губы. Тогда наставник сам рассмеялся и скомандовал:

— Шагом марш! Сеном! Соломой! Сеном! Соломой!

Они сошли вниз по лестнице, а потом коридором мимо купальни. Когда они проходили мимо двери, он вспомнил со смутным содроганием теплую, окрашенную торфом болотную воду, теплый, влажный воздух, шум воды и лекарственный запах полотенец.

Брат Михаил стоял у дверей в лазарет, а из дверцы темного шкафа направо от него пахло лекарствами. Запах исходил от бутылок на полках. Классный наставник заговорил с братом Михаилом, а тот, отвечая, называл наставника «сэр». У него рыжеватые с проседью волосы и странное выражение лица. Странно, что он навсегда так и останется прислужником. Странно тоже, что его нельзя называть «сэр», и потому что он всего на всего прислужник, и потому что вообще вид у него не тот. Что он — недостаточно набожен? Или просто ему не угнаться за другими?

В комнате стояли две кровати, и на одной из них лежал мальчик; когда они вошли в комнату, он воскликнул:

— Вот тебе раз! Малыш Дедалус! В чем дело?

— Дело в шляпе, — ответил брат Михаил.

Мальчик оказался учеником третьего риторического класса; пока Стивен раздевался, он попросил брата Михаила принести ему тост с маслом.

— Ну, пожалуйста! — сказал он.

— Я тебе дам масла, — сказал брат Михаил.
— Завтра придет доктор и выпишет тебя.

— Да? — сказал мальчик. — Но ведь я еще не выздоровел.

Брат Михаил повторил:

— Выпишет, выпишет. Я тебе говорю.

Он наклонился, чтобы разгрести уголь в камине. У него была длинная спина ломовой лошади. Он погрозил кочергой и покивал головой по адресу парнишки из третьего риторического.

Потом брат Михаил ушел, а парнишка из третьего риторического повернулся лицом к стене и заснул.

Вот и лазарет. Значит, он болен. Оповестили ли маму с папой? Или проще одному из священников съездить и сказать им на словах? Или, может быть, ему надо написать письмо, чтобы священник передал его?

Дорогая мама!

Я болен. Мне хочется домой. Пожалуйста, приезжай за мной. Я в лазарете.

Твой любящий сын Стивен.

Как они далеко! За окном холодно светит солнце. Интересно, умрет ли он? Ведь умереть можно и в солнечный день. Даже до маминого приезда. Тогда в часовне по нем отслужат заупокойную обедню — как после смерти Литтла, о которой ему рассказывали мальчики. Все мальчики придут на обедню в черных костюмах и с грустными лицами. Веллс тоже придет, но никто на него даже не взглянет. Придет и ректор в черно-золотом обла-

чении, а на престоле и вокруг катафалка будут гореть большие желтые свечи. Потом они медленно вынесут гроб из часовни и зарюют его на маленьком кладбище у главной липовой аллеи. Веллс там будет, раскаиваясь в том, что он натворил. И медленно будет бить похоронный колокол.

Он уже слышал этот колокол. Он повторял в уме песенку, которой его научила Бриджет.

Бим-бом! Разливается звон.
О, мать, я простился с тобою.
Где старший мой брат погребен,
Усну под доской гробовою.
Шесть ангелов тихо парят:
Поют песнопения двое,
И двое молитву творят,
А двое взовьются с душою.

Как это красиво и как грустно! Какие красивые слова — там, где говорится: «Усну под доской гробовою!» Дрожь пробежала по его телу. Ему хотелось тихо всплакнуть — не о себе, а о словах, красивых и грустных, как музыка. Бим-бом! Разливается звон. Прости-прощай! Прости-прощай!

Холодный солнечный свет потускнел; брат Михаил стоял у его постели с тарелкой бульона. Он был рад бульону: пересохший рот его горел. Он слышал шум, доносившийся со спортивных площадок. День в школе шел своим чередом, как будто ничего не случилось.

Потом брат Михаил собрался было уходить, но парнишка из третьего риторического попросил его,

чтобы он еще раз зашел и рассказал, что нового в газетах. Он сказал Стивену, что его фамилия — Этай, что отец его держит породистых лошадей — чудо-рысаков, и что отец его даст брату Михаилу хорошие чаевые, стоит ему только замолвить словечко, потому что брат Михаил — хороший мальчик и всегда рассказывает, что нового в газете, которую ежедневно получают в замке. А в газетах много новостей — о несчастных случаях, кораблекрушениях, о спорте, о политике.

— Теперь в газетах только и пишут, что о политике, — сказал он. — У тебя дома тоже спорят о политике?

— Да, — сказал Стивен.

— У нас тоже, — сказал он.

Потом он подумал и сказал:

— У тебя странная фамилия: Дедалус. И у меня тоже: Этай. Это название города. А твоя фамилия звучит как бы по-латыни.

Потом он спросил:

— Ты загадки любишь?

Стивен ответил:

— Не особенно.

Тогда он сказал:

— Вот ответ мне. Что общего между графством Килдэр и штатиной?

Стивен подумал, как на это ответить и сказал:

— Не знаю. Пас.

— Потому что в нем бедро. Понял, в чем соль? Этай — город в графстве Килдэр, а э тай — это бедро.⁹

— А, понимаю, — сказал Стивен.

— Это очень древняя загадка, — сказал он.

Через минуту он сказал:

— Эй!

— Да? — спросил Стивен.

— Знаешь, — сказал он, — ту же самую загадку можно повернуть по другому.

— Да? — сказал Стивен.

— Ту же самую загадку, — сказал он. — Знаешь, как ее повернуть?

— Нет, — сказал Стивен.

— Подумай, — сказал он.

Он взглянул на Стивена поверх одеяла, потом откинулся на подушку и сказал:

— Ее можно повернуть по другому, но я тебе не скажу — как.

Почему? Вероятно его отец, который держит лошадей, — тоже мировой судья, как отец Соурина и отец Насти-Роша. Он вспомнил, как папа поет романсы под мамин аккомпанимент, и как он всегда дает шилинг, когда ты просишь у него всего шесть пенсов, и ему стало жаль, что папа — не мировой судья, как отцы других мальчиков. Но почему же его тогда отправили сюда вместе с ними? Папа сказал ему, что он здесь чужаком не будет, потому что пятьдесят лет тому назад брат

⁹ Athay: a thigh.

его деда вручил здесь приветственный адрес Освободителю.¹⁰ Людей того времени можно узнать по старомодной одежде. Это было, вероятно, очень серьезное время; интересно, в то ли именно время мальчишки в Клонгозе носили синие мундиры с медными пуговицами, желтые жилеты и шапки из кроличьего меха, пили пиво, как взрослые, и держали гончих для охоты на зайцев.

Он взглянул в окно и увидел, что день сходит на нет. Спортивные площадки вероятно уже озарены облачным, серым светом. Оттуда не доносилось никаких звуков. Класс верно занимается упражнениями, а, может быть, отец Арнол читает вслух.

Странно, что ему до сих пор не дали лекарства. Может быть, брат Михаил принесет его, когда вернется. Говорят, что в лазарете поят всякой вонючей бурдой. Но чувствовал он себя лучше. Хорошо будет медленно поправляться. Скоро можно будет получить книгу. В библиотеке есть книга о Голландии с замечательными чужеземными именами и гравюрами с изображениями странных городов и кораблей. Одно удовольствие их разглядывать.

Каким бледным стал свет за окном! Но это хорошо. Отблески огня поднимаются и падают на стене. Как волны. Кто-то подбросил угля, и он слышит голоса. Идет разговор. Это — шум волн.

¹⁰ Даниелю О'Коннелю (1775—1847).

Или это волны говорят между собой, подымаясь и опускаясь.

Он видит перед собой море с волнами, длинными, темными волнами, которые вздымаются и падают, совсем темные в безлунной ночи. Небольшой фонарик мигает у причала, к которому подходит корабль. И он видит толпу народа, собравшуюся у самого берега, чтобы взглянуть на корабль, входящий в гавань. На палубе стоит высокий человек, вглядываясь в плоский, темный берег: в свете фонаря у причала он видит его лицо, скорбное лицо брата Михаила.

Он видит, как он простирает руку к толпе, и слышит его громкий, скорбный голос над водами:

— Он умер. Мы видели его в гробу.

Вопль скорби вырывается из толпы.

— Парнель! Парнель! Парнель умер!

Толпа падает на колени с горестным стоном.

И он видит, как Данти в лиловом бархатном платье и в зеленой бархатной мантии, ниспадающей с плеч, гордо и молчаливо идет мимо коленопреклоненной толпы.

**
*

Уголь, высоко наваленный в камине, пылает жарким багровым пламенем, а под лапками канделябр, обвешанных остролистом, накрыт рождественский стол. Они вернулись домой с небольшим опозданием, но обед все еще не готов: он будет готов в два счета, говорит мама. И вот

они ждут, когда распахнутся двери, и войдет прислуга с огромными мисками, прикрытыми тяжелыми металлическими колпаками.

Ждут все: дядя Чарльз, сидящий на отлете, в тени оконной ниши; Данти и мистер Кейси — в креслах по обеим сторонам камина; Стивен, пригостившийся на стуле между ними и поставивший ноги на раскаленную каминную решетку. Мистер Дедалус, поглядывая в зеркало над камином, закручивает кончики нафабранных усов и, раздвинув фалды сюртука, становится спиной к пышущему жаром камину. Он то и дело выпрастывает руку из-под фалд, чтобы подкрутить кончики усов. Мистер Кэйси склонил голову на бок и, улыбаясь, щелкает себя по горлу. Стивен тоже улыбается; теперь уж он знает, что у мистера Кэйси в горле вовсе не засел серебряный кошелек. Ему смешно вспомнить серебристый звук, который мистер Кэйси производил, чтобы надуть его. А когда он как-то раз попробовал разжать руку мистера Кэйси, чтобы посмотреть, не там ли спрятан серебряный кошелек, оказалось, что пальцы не разгибаются. Мистер Кэйси сказал ему, что ему свело три пальца, когда он готовил подарок ко дню рождения королевы Виктории.¹¹ Мистер Кэйси постучал по своей шее и взглянул на Стивена улыбающимися сонными глазами, а мистер Дедалус сказал:

¹¹ Т. е., когда шил мешки в тюрьме.

— Да. Вот какие дела. Хорошо мы с тобой прогулялись, а, Джон? Так-с. Так-с. Интересно, накормят ли нас сегодня обедом или нет? Вот какие дела. Хорошо мы сегодня озоном надышались на мысе, черт побери.

Он обратился к Данти и спросил:

— А вы, миссис Рирден, так сегодня и не выходили на свежий воздух?

Данти нахмурилась и резко ответила:

— Нет.

Мистер Дедалус распустил фалды сюртука и подошел к буфету. Он достал из шкафчика большую каменную бутылку виски и стал медленно наполнять графин, изредка нагибаясь, чтобы проверить, сколько он налил. Потом, поставив бутылку обратно в шкафчик, налил немного виски в два стакана, добавил воды и вернулся к камину.

— Вот, Джон, наперсточек, чтобы аппетит раздражить.

Мистер Кэйси взял стакан, отпил, и поставил его около себя на камин. Потом он сказал:

— Все вспоминаю, как это наш приятель Кристофер изготавливает . . .

Он расхохотался, раскашлялся и закончил:

— . . . изготавливает шампанское для этих типов.

Мистер Дедалус громко рассмеялся:

— Кристи? Да в одной единственной бородавке на его лысине больше хитрости, чем у целого выводка лисиц.

Он наклонил голову набок, закрыл глаза и,

жадно облизывая губы, заговорил голосом хозяина гостиницы:

— А голос у него такой вкрадчивый, когда он с тобой разговаривает, и подгрудочек у него такой, понимаешь, влажный да гладкий, черт его поberi . . .

Мистер Кэйси никак не мог справиться со своим кашлем и хохотом. Стивен, который так и видел и слышал хозяина гостиницы в лице и голосе отца, тоже рассмеялся.

Мистер Дедалус вставил монокль, поглядел на него сверху вниз и спросил спокойным, ласковым голосом:

— А ты чего смеешься, щенок?

Вошла прислуга и расставила блюда на столе. Миссис Дедалус вошла за ними и рассадила гостей.

— Прошу вас, — сказала она.

Мистер Дедалус подошел к концу стола и сказал:

— Вот, миссис Рирден, садитесь сюда. Джон, садись, друг ты мой любезный.

Он оглянулся на дядю Чарльза и сказал:

— Ну, сэр, здесь вас птичка ждет-недождетсяя.

Когда все расселись, он положил было руку на металлическую крышку, но быстро отнял ее и сказал:

— Ну-ка, Стивен.

Стивен встал и прочел застольную молитву:

— Благослови, Господи, нас и дары Твои, которые мы вкушаем Твоими щедротами, ради Господа Бога нашего Иисуса Христа. Аминь.

Все перекрестились, а мистер Дедалус со вздохом облегчения поднял с блюда металлический колпак, покрытый по краям, как жемчужинами, блестящими капельками.

Стивен смотрел на жирную индейку, которую видел еще на кухонном столе, связанную жгутом и проткнутую металлическими прутьями. Он помнил, как папа заплатил за нее целую гиней в мясной Данн на Д'Ольер стрит, и как приказчик несколько раз тыкал ее в грудь, демонстрируя ее достоинства; помнил он и голос приказчика:

— Возьмите вот эту, сэр; это что-то особенное . . .

Почему отец Баррет в Клонгозе называет лопатку, применявшуюся для наказаний, «индейкой»? Но Клонгоз — далеко-далеко. А теплый, плотный запах индейки, ветчины и сельдерея подымается с тарелок и блюд; уголь в камине разгорелся вовсю, зеленый плющ и красный остролист создают ощущение счастья. А после обеда внесут огромный рождественский пуддинг, усеянный миндалинами и ветками остролиста с бегающим вокруг него синеватым пламенем и с воткнутым сверху зеленым флажком.

Это был его первый рождественский обед со взрослыми, и он думал о своих младших братьях и сестрах, которые, как и он в прошлом, ждали пуддинг в детской. Низкий, плоский воротничок

и жакетка итоновского покроя вызывали в нем странное взрослое чувство. Утром, когда мама привела его, одетого для церкви, вниз, в гостиную, папа всплакнул, вспомнив своего отца. Дядя Чарльз подтвердил сходство.

Мистер Дедалус прикрыл блюдо и начал жадно есть. Потом он сказал:

— Бедняга Кристи, он почти окривел от своих проделок.

— Саймон, — сказала миссис Дедалус, — ты не угостил миссис Рирден соусом.

Мистер Дедалус схватил соусник.

— Что ж это я? Миссис Рирден, пожалейте несчастных слепцов!

Данти прикрыла свою тарелку руками и сказала:

— Нет, благодарю вас.

Мистер Дедалус обратился к дяде Чарльзу:

— Как у вас дела, сэр?

— Тютелька в тютельку, Саймон.

— А ты, Джон?

— Мне хватит. Ты себя не забывай.

— Мэри? Стивен, вот тебе, чтобы кудри вились.

Он щедро подлил соуса на тарелку Стивена и поставил соусник на стол. Потом он спросил дядю Чарльза, мягкая ли индейка. Дядя Чарльз не мог ответить, потому что у него был полон рот, но утвердительно закивал головой.

— Здорово наш приятель ответил преподобному, а? — сказал мистер Дедалус.

— Да, не ожидал я от него такой прыти, — сказал мистер Кэйси: «Я внесу свой приходской взнос, отец мой, когда вы перестанете превращать храм Божий в избирательный участок».

— Хорош ответ священнику человека, называющего себя католиком, — сказала Данти.

— Пусть пеняют на себя, — сказал мистер Дедалус сладким голосом. — Послушались бы меня дурака и занимались бы только религией.

— Это и есть религия, — сказала Данти. — Уча народ, они выполняют свой долг.

— Мы ходим в храм Божий, — сказал мистер Кэйси, — чтобы смиренно молиться Творцу, а не для того, чтобы слушать предвыборные речи.

— Это и есть религия, — повторила Данти. — Они совершенно правы. Они обязаны руководить паствой.

— И проповедовать политику с амвона? — спросил мистер Дедалус.

— Еще бы! — сказала Данти. — Это дело общественной морали. Священник не был бы священником, если бы не объяснял пастве, где правда, где неправда.

Миссис Дедалус положила нож и вилку на тарелку и сказала:

— Ради всего святого, нельзя ли обойтись без политических споров хотя бы в этот день?

— Правильно, сударыня, — сказал дядя Чарльз. — Саймон, хватит. Ни слова больше.

— Да, да, — сказал быстро мистер Дедалус.

Он резко снял колпак с блюда и спросил:

— Ну-с, кому еще индейки?
Никто не ответил. Данти сказала:
— Хорош ответ католика!
— Миссис Рирден, умоляю вас, — сказала миссис Дедалус, — оставим этот разговор.
Данти обернулась к ней и спросила:
— А что ж, прикажете мне сидеть и слушать, как издеваются над пастырями моей церкви?
— Никто и слова против них не сказал бы, — заметил мистер Дедалус, — если бы они только не путались в политику.
— Епископы и священники Ирландии сказали свое слово, — заявила Данти, — и им надо по-виноваться.
— Пускай бросят политику, — сказал мистер Кэйси, — а не то народ бросит их церковь.
— Вы слышите? — обратилась Данти к миссис Дедалус.
— Мистер Кэйси, Саймон! — сказала миссис Дедалус. — Хватит, пожалуйста.
— Нехорошо, нехорошо! — сказал дядя Чарльз.
— Что ж! — воскликнул мистер Дедалус. — Что ж, выходит, что мы должны были бросить его на произвол судьбы по указке англичан?
— Он утратил право быть вождем, — сказала Данти, — он открыто впал в грех.
— Все мы грешники, окаянные грешники, — холодно сказал мистер Кэйси.
— «Горе тому, через которого соблазн приходит!» — сказала миссис Рирден; — лучше было бы

ему, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих». ¹² Вот слова Духа Святого.

— По-моему, это не слова, а сквернословие, — холодно сказал мистер Дедалус.

— Саймон! Саймон! — сказал дядя Чарльз. — Тут ребенок.

— Да, да, — сказал мистер Дедалус. — Я имел в виду . . . Я вспомнил, как сквернословит носильщик на вокзале. Ну вот. Так, так. Ну-ка, Стивен, дай-ка мне свою тарелку, приятель. Кушай на здоровье. Вот.

Он навалил еды на тарелку Стивена и угостил дядю Чарльза и мистера Кэйси добавочными порциями индейки и соуса. Миссис Дедалус едва приоткрылась к еде, а Данти сидела, сложив руки на коленях. Лицо ее было багровым. Мистер Дедалус, поковыряв большим ножом и вилкой индейку, сказал:

— Вот лакомая порция, — то, что мы называем архиерейским кусочком. Если какому-нибудь джентльмену или лэди . . .

Он поднял на вилке кусок индейки. Все молчали. Он положил кусок на свою собственную тарелку и сказал:

— Что ж, не пеняйте потом, что я вас не угощал. Съем-ка я его сам, мне последнее время что-то нездоровится.

¹² Лука, 17, 1—2.

Он подмигнул Стивену и, прикрыв блюдо колпаком, принялся опять за еду.

Пока он ел, царило молчание. Потом он сказал:

— Денек-то какой выдался ясный! А в город понаехало много народу.

Никто не ответил. Он опять начал:

— На этот раз даже больше, чем на прошлое Рождество.

Он оглядел сидящих за столом: все сидели с опущенными глазами. Не получив ответа, он подождал минуту и потом сказал с горечью:

— Так. Рождественский обед испорчен.

— Ни счастья, ни благодати, — сказала Данти, — не может быть в доме, в котором не уважают пастырей церкви.

Мистер Дедалус с размаху швырнул нож и вилку на тарелку.

— Уважают! — сказал он. — Кого? Краснобая Вилли? ¹³ Или этот боченок с потрохами из Арма? ¹⁴

— Князя церкви, — сказал мистер Кэйси с медлительной иронией.

— Просто кучера лорда Литрима, ¹⁵ — сказал мистер Дедалус.

— Они помазанники Божии, — сказала Данти. — Они делают честь стране.

¹³ Архиепископ Дублинский.

¹⁴ Примас всей Ирландии.

¹⁵ По мнению мистера Дедалуса, ирландские иерархи — слуги обангличанившейся ирландской аристократии.

— Боченок с потрохами, — сказал мистер Дедалус грубым голосом. — Пока он молчит, у него даже приятное лицо. Но посмотрел бы ты на этого типа, когда он уплетает сало с капустой в холодный зимний вечер! О, Джонни!

Он придал своему лицу грубо-животное выражение и зашлепал губами.

— Правда, Саймон, нельзя так говорить при Стивене. Это нехорошо.

— Он припомнит все это, когда вырастет, — сказала Данти с жаром. — Он припомнит, как в его собственной семье оскорбляли Бога, религию и духовенство.

— Пусть он припомнит тоже, — крикнул ей мистер Кэйси через стол, — оскорбления, которыми попы и их приспешники довели Парнеля до отчаяния и загнали его в могилу. Пусть он и это припомнит, когда вырастет.

— Сукины дети! — крикнул мистер Дедалус. — Они бросились на лежащего, предали его и разодрали на куски, как крысы в клоаке. Псы паршивые! И, Бог видит, вид у них псиный!

— Они правильно поступили! — кричала Данти. — Они повиновались своим епископам и священникам. Честь им и слава!

— Неужели нельзя провести ни одного единственного дня в году без этих ужасных споров? — сказала миссис Дедалус.

Дядя Чарльз всплеснул руками и сказал:

— Хватит, хватит. Почему мы не можем спо-

рять без раздражения и сквернословия? Правда, нехорошо.

Миссис Дедалус говорила Данти что-то вполголоса, но Данти сказала вслух:

— Я молчать не буду. Я буду защищать свою церковь и свою религию, когда их оскорбляют, когда на них плюют католики-отступники.

Мистер Кэйси резко оттолкнул свою тарелку на середину стола, оперся локтями о стол и сказал хриплым голосом:

— Рассказывал я тебе историю одного знаменитого плевка?

— Нет, Джон, не рассказывал, — сказал мистер Дедалус.

— Так вот, — сказал мистер Кэйси, — история эта очень назидательная. Произошла она недавно в том самом графстве Виклоу, где мы теперь находимся.

Он остановился, повернулся к Данти и сказал спокойно, но с явным негодованием:

— И разрешите вам заметить, милостивая государыня, если вы имели в виду меня: я — не отступник. Я — католик, и католиками были мой отец, дед и прадед еще в те времена, когда мы готовы были скорее жизнь положить, нежели продать нашу веру.

— Тем больший позор, — сказала Данти, — что вы теперь так выражаетесь.

— Не забывай об истории, Джон, — сказал мистер Дедалус, улыбаясь. — Расскажи нам свою историю.

— Тоже, нашелся мне католик! — повторила Данти иронически. — Самый махровый протестант не употребил бы выражений, каких я слышала сегодня.

Мистер Дедалус начал мотать головой, гнуса-во завывая, как это делают деревенские певцы.

— Еще раз повторяю, я — не протестант, — сказал мистер Кэйси, покраснев.

Мистер Дедалус, все еще завывая и мотая головой, начал петь хрюкающим, гнусавым голосом:

Придите, все католики,
Что в церкви не бывали!

Он опять взялся за нож и вилку и в благодушнейшем настроении принялся за еду, сказав мистеру Кэйси:

— Ну-ка, расскажи нам свою историю. Она поможет нашему пищеварению.

Стивен с нежностью смотрел в лицо мистера Кэйси по ту сторону стола. Он любил сидеть рядом с ним у камина, вглядываясь в его мрачное, свирепое лицо. Но его черные глаза никогда не принимали свирепого выражения, а его медлительный говор был приятен для слуха. Почему он не любит священников? Данти наверно права. Но папа говорит, что сама она — неудавшаяся монашка, и что она ушла из монастыря в Америке в Аллиганских горах, когда ее брат нажил состояние, сбывая дикарям побрякушки и бусы. Может быть, потому-то она и не любит Парнеля. Ей тоже не нравится, когда он играет с Айлин, потому что Ай-

лин — протестантка, а когда она, Данти, была помоложе, она знала детей, которые играли с протестантами, и протестанты издевались над ектеньей Пресвятой Девы Марии. «Башня из слоновой кости! — говорили они. — Золотой чертог!» Как может женщина быть башней из слоновой кости или золотым чертогом? Кто же прав? И он вспомнил вечер в лазарете в Клонгозе, темную воду, фонарик над причалом и завывание толпы, услышавшей скорбную весть.

У Айлин длинные, белые руки. Как-то вечером, когда они играли в пятнашки, она закрыла его глаза своими руками — длинными, белыми, тонкими, прохладными и мягкими. Вот это и есть слоновая кость: что-то прохладное и белое. Вот, что значит «башня из слоновой кости».

— Ну что ж, история эта очень короткая и занимательная, — сказал мистер Кэйси. — Произошло это недавно в Арклоу, в очень холодную погоду, незадолго до того, как умер наш вождь, Господь да простит ему его прегрешения!

Он устало закрыл глаза и помолчал. Мистер Дедалус взял кость со своей тарелки и, содрав с нее мясо зубами, сказал:

— Ты хочешь сказать: пока его не затравили насмерть.

Мистер Кэйси открыл глаза, вздохнул и продолжал:

— Случилось это в один прекрасный день в Арклоу. У нас там был митинг, а после митинга нам надо было пробраться на вокзал через толпу.

Какое это было улюлюканье и бляенье! Такого еще свет не слышал. Какими именами они нас не обзывали! Так вот, в толпе была старуха, пьяная карга, которая избрала меня своей жертвой. Она плясала рядом со мной в слякоти, орала и визжала мне в лицо: «Попоед! Парижские акции! Мистер Фокс! Китти О'Шэй!»

— Ну а ты, Джон, что ж ты сделал? — спросил мистер Дедалус.

— Я дал ей наораться вдоволь, — сказал мистер Кэйси. — Погода стояла холодная, и чтобы согреться, — прошу у вас прощения, сударыня, — я жевал ломтик Талламорского табаку и не мог ей ответить, потому что у меня рот был полон табачного соку.

— Ну, Джон?

— Ну-с, я дал ей наораться: «Китти О'Шэй» и все такое прочее, пока она не назвала эту лэди именем, которого я не могу повторить, не осквернив этого рождественского стола, вашего слуха, сударыня, и моих собственных уст.

Он помолчал. Мистер Дедалус оторвался от кости и спросил:

— Что ж ты сделал, Джон?

— Что я сделал? — сказал мистер Кэйси. — Она сунула свою гадкую, старую харю прямо мне в лицо, когда сказала это, а у меня был полон рот табачного соку. Я наклонился к ней и просто сказал: «ТЬфу!»

Он отвернулся в сторону и сделал вид, будто плюется.

— «Тьфу!» — сказал я ей прямо в ее бесстыжие глаза.

Он приложил руку к глазу и издал хриплый визг.

— «Иисусе Христе, Матерь Божья и Святой Иосиф! — заорала она. — Я ослепла! Я ослепла и утопла!»

Он прервал себя, раскашлявшись и расхохотавшись, и повторил:

— «Я в конец ослепла!»

Мистер Дедалус громко рассмеялся и откинулся на спинку стула, а дядя Чарльз покачал головой.

У Данти был очень сердитый вид, и, пока они смеялись, она повторяла:

— Очень мило! Гм! Очень мило!

Плевать женщине в лицо, это — нехорошо.

Но каким таким именем старуха назвала Китти О'Шэй, что мистер Кэйси не решился его повторить? Он думал о том, как мистер Кэйси шел через толпу народа, и как он произносил речи с тележки. Вот за это-то он и сидел в тюрьме, и он вспомнил, как раз вечером к ним пришел сержант О'Нил, стоял в передней и о чем-то шептался с папой, нервно покусывая ремешок каски. В ту же ночь мистер Кэйси уехал в Дублин не поездом, а в экипаже, подъехавшем к самому крыльцу, и он слышал, как папа говорил что-то о дороге через Кабинтили.

Он был за Ирландию и за Парнелю, как папа; Данти тоже — по крайней мере, в тот вечер, ког-

да на концерте на бульваре она ударила какого-то господина зонтом по голове за то, что он снял шляпу, когда оркестр под конец сыграл: «Боже, храни королеву!»

Мистер Дедалус презрительно фыркнул.

— Ах, Джон, — сказал он, — они правы. Мы жалкий, затравленный попами народ. Всегда так было и всегда так будет до скончания веков.

Дядя Чарльз поднял голову и сказал:

— Нехорошо! Нехорошо!

Мистер Дедалус повторил:

— Затравленный попами, брошенный Богом народ!

Он показал на портрет своего деда на стене направо от себя:

— Видишь старика, Джон? — сказал он. — Он был добрым ирландцем, когда выгоды в этом было мало. Его приговорили к смерти, как одного из «белых парней». Так вот, у него было любимое выражение насчет наших «приятелей»-попов. Он говорил, что никогда не позволит ни одному из этой братии вытянуть ноги под его столом из красного дерева.

Данти гневно прервала его:

— Если мы «затравлены священниками», то мы этим должны гордиться. Они — зеница ока Божьего. «Не трогайте их, — говорит Христос, — они — зеница Моего ока».

— А страну нашу нам любить нельзя? — спросил мистер Кэйси. — Нельзя нам было идти за человеком, призванным вести нас?

— Изменник! — ответила Данти. — Он изменник и прелюбодей! Духовенство было совершенно право, когда отступилось от него. Духовенство всегда было истинным другом Ирландии.

— Да ну? — сказал мистер Кэйси.

Он стукнул кулаком по столу и, гневно нахмурившись, стал протягивать один палец за другим.

— Разве ирландские епископы не предали нас во время унии, когда епископ Лэниган вручил верноподданнический адрес маркизу Корнваллису? Разве епископы и священники не продали чайный страны в 1829-м году в обмен на эмансипацию католической веры? Разве они не проклинали фенианское движение и с амвонов и на исповедях? И разве они не опозорили праха Теренса Белью Макмануса? ¹⁶

Его лицо пылало гневом, и Стивен чувствовал, что и его щеки загораются от этих возбуждающих его слов. Мистер Дедалус фыркнул с грубой иронией:

— Бог ты мой! — воскликнул он. — Я забыл старого Каллена! ¹⁷ Еще одна зеница ока Божьего!

Данти перетянулась через стол и крикнула мистеру Кэйси:

— И правильно! Совершенно правильно! Они всегда были правы! Бог и мораль и религия превыше всего.

¹⁶ Теренс Белью Макманус, ирландский патриот, умер в Сан-Франциско; торжественно погребен в Дублине.

¹⁷ Поль Каллен, архиепископ Дублинский с 1852 по 1878 г. Противник ирландских националистов; осудил демонстрации во время похорон Макмануса.

Миссис Дедалус, заметившая ее возбуждение, сказала ей:

— Миссис Рирден, не отвечайте им и не волнуйте себя.

— Бог и религия превыше всего! — кричала Данти. — Бог и религия превыше мира!

Мистер Кэйси поднял сжатый кулак и с треском ударил им по столу.

— Ах так, — крикнул он хрипло. — Если так, то не надо нам Бога в Ирландии!

— Джон! Джон! — воскликнул мистер Дедалус, ухватив гостя за рукав.

Данти впиалась в него глазами; ее щеки тряслись. Мистер Кэйси с трудом поднялся со стула и перегнулся через стол; он водил рукой по воздуху, будто раздирая паутину.

— Долой Бога из Ирландии! — кричал он. — Обожрались мы Богом в Ирландии! Долой Бога!

— Святотатец! Дьявол! — визжала Данти, вскочив на ноги и чуть не плюя ему в лицо.

Дядя Чарльз и мистер Дедалус силой усадили мистера Кэйси на стул и стали уговаривать его. Он смотрел своими черными, пылающими глазами прямо перед собой, повторяя:

— Долой Бога!

Данти резко оттолкнула стул и встала из-за стола; салфеточное кольцо упало на пол, медленно покатилося по ковру и остановилось у ножки кресла. Мистер Дедалус быстро поднялся и пошел с ней к дверям. У дверей Данти резко обернулась

с багровыми и трясущимися от ярости щеками и крикнула:

— Дьявол из преисподней! Победа за нами! Мы его раздавили на смерть! Сатана!

Дверь хлопнула за ней.

Мистер Кэйси, освободившись от удерживавших его рук, внезапно уронил голову на руки с болезненным рыданием:

— Несчастный Парнель! — воскликнул он. — Умер мой король!

Он громко и горько зарыдал.

А когда Стивен поднял свое искаженное ужасом лицо, он увидел, что глаза отца полны слез.

**
*

Мальчики стояли небольшими кучками и болтали.

Один из них сказал:

— Их поймали у Лионской горки.

— Кто их поймал?

— Отец Глисон и проректор. Они были в коляске.

Тот же мальчик добавил:

— Мне это рассказал тип из старшего отделения.

Флеминг спросил:

— Но почему они удрали?

— Я знаю почему, — сказал Сесиль Тандер. — Потому что они сперли деньги из комнаты ректора.

- Кто спер?
— Брат Кикхэма. Но они поделились.
— Но это воровство. Как они пошли на такое дело?
— Много ты знаешь, Тандер! — сказал Веллс.
— Я знаю, почему они дали драпу.
— Ну, скажи!
— Я обещал не рассказывать, — сказал Веллс.
— Валяй, валяй, Веллс, — сказали все. — Нам ты можешь рассказывать. Мы не проболтаемся.

Стивен нагнулся вперед, чтобы лучше расслышать. Веллс оглянулся, не идет ли кто-нибудь. Потом конспиративно сказал:

— Вы знаете вино для причастия в шкафу в ризнице.?

— Ну, да.

— Так вот. Они вино вылакали, а потом по запаху стало ясно, кто пил. Вот почему они удрали, если уж вы хотите знать.

Мальчик, заговоривший первым, сказал:

— То же самое мне рассказал тип из старшего отделения.

Мальчики молчали. Стивен стоял между ними, прислушиваясь, боясь говорить. Его слегка мутило от благоговейной робости. Как они могли пойти на это? Он вспомнил темную, тихую ризницу. В ней стояли темные деревянные шкафы, в которых, аккуратно сложенные, лежали обшитые кружевами стихари. Ризница — не часовня, но все-таки и в ней полагается говорить вполголоса, потому что это — святое место. Он вспомнил летний

вечер в ризнице, где он облачался в стихарь, вечер крестного хода к алтарю в роще. Таинственное и святое место. Мальчик, державший кадило, качал его, оттянув среднюю цепочку, так чтобы угольки продолжали тлеть. Они назывались «древесный уголь». Пока мальчик осторожно качал кадило, уголь тихо тлел, издавая слабый кисловатый запах. А когда все облачились, мальчик протянул кадило ректору, и ректор всыпал в него ложку ладана, который зашипел на красных угольках.

Мальчики стояли кучками и переговаривались. Они казались ему крохотными, потому что накануне его сбил с ног велосипедист, ученик из второго грамматического класса. Велосипед швырнул его на зольную беговую дорожку, очки его сломались на три части, а в рот набилась пыль и зола.

Вот почему мальчики казались ему крохотными и отдаленными, балки футбольных ворот — тонкими и далекими, а мягкое, серое небо — вероятно высоким. Но на футбольных полях никто не играл: начинался сезон крикета. Кто говорил, что профессионалом станет Барнс, а кто — то же самое о Флауерсе. И повсюду на полях мальчики упражнялись в подаче мяча. То с одной, то с другой стороны долетали звуки крикетной биты. Они говорили: Пик! пок! пэк! пак! Капельки воды в фонтане, медленно падающие в полную до краев чашу.

Этай, который все это время молчал, сказал вполголоса:

— Ничего-то вы не знаете.

Все повернулись к нему.

— Почему?

— А ты знаешь?

— Кто тебе сказал?

— Расскажи, Этай!

Этай указал на поле, по которому бродил в одиночестве Саймон Мунэн, подталкивая ногой камешек.

— Спросите его, — сказал он.

Мальчики подняли головы и потом сказали:

— Почему именно его?

— Он что, тоже замешан в это дело?

Этай сказал вполголоса:

— Знаете, почему эти ребята дали драпу? Я вам расскажу, но, чур, не проболтайтесь!

— Расскажи, Этай! Валяй, раз знаешь!

Он помолчал, а потом сказал таинственно:

— Их поймали как-то вечером в уборной с Саймоном Мунэном и «Клочком» Бойлем.

Мальчики посмотрели на него и спросили:

— Поймали?

— Поймали с чем?

Этай сказал:

— Они тютюкались.

Мальчики замолчали, а Этай сказал:

— Вот почему.

Стивен посмотрел на мальчиков, но все они глядели вдаль, через площадку. Он хотел спро-

сильно кого-нибудь обо всем этом. Что это значит, что они «тютюкались» в уборной? Почему из-за этого сбежало пятеро учеников из старшего отделения? Это шутка, думал он. Саймон Мунэн любит щеголять. Как-то вечером он показал ему шар, наполненный тянучками, который игроки футбольной команды подкатили ему по цыновке, разложенной вдоль трапезной, когда он стоял у дверей. Это было вечером того дня, когда школьная команда играла против Бектив Рэинджерс; шар был похож на красно-зеленое яблоко; только он открывался и был наполнен тянучками. А Бойль однажды сказал, что у слона два клочка (а не клыка), и с тех пор его прозвали «Клочок» Бойль; но были и такие, что называли его «лэди Бойль», потому что он постоянно занимался маникюром, подпиливал себе ногти.

У Айлин длинные, прохладные, белые руки, потому что она — девочка. Как слоновая кость, только мягче. В этом значении «башни из слоновой кости»; это невдомек протестантам, которые над этим издеваются. Как-то он стоял рядом с ней и глядел на сад отеля. Официант втягивал ленту флажков на флагшток; по залитому солнцем газону взад и вперед носился фокстерьер. Она вложила руку ему в карман, где была и его рука, и он ощутил прохладу, узор и мягкость ее кисти. «Какая забавная вещь карман», сказала она и вдруг вырвалась и, смеясь, побежала по изгибу ведущей вниз тропинки. Ее светлые волосы летели за ней, как горящее на солнце золото. «Башня

из слоновой кости, золотой чертог . . .» Стоит только подумать, и все становится понятным.

Но почему в уборной? В уборную ходишь за нуждой. Она обложена кафельными плитами, и весь день из крохотных отверстий сочится влага, а в воздухе стоит странный запах стоячей воды. На внутренней стороне двери одного клозета нарисован красным карандашом бородач в римской одежде с кирпичом в каждой руке, а под ним надпись: «Бальбус строил эту стену».

Кто-то из мальчиков нарисовал это смеха ради. Лицо очень забавное, но похожее на физиономию бородатого человека. А на стене другого клозета тщательно намалеваны слова: «Юлий Цезарь сочинил Коленкоровое Брюхо». ¹⁸

Может быть, они там оказались, потому что в уборной мальчишки пишут всякое для смеха. Но все-таки, то, что рассказывал Этай, и как он рассказывал, непонятно. Тут уж не до смеха: ведь они сбежали. Он смотрел вместе с другими вдаль, через поле, и ему стало жутко.

Наконец Флеминг сказал:

— И что же нам всем достанется на орехи за то, что набедокурили другие?

— Я не вернусь, как пить дать, — сказал Сесиль Тандер. — Три дня молчания в трапезной, а потом как начнут гонять каждую минуту наверх на шесть или восемь лопаток!

¹⁸ Игра слов: Calico Belly — коленкоровое брюхо, а Цезарь написал De Bello Gallico — «О войне в Галлии».

— Да, — сказал Веллс. — А еще Баррет, чтоб ему пусто было, научился так складывать записку, что ее не отроешь, и не знаешь, сколько тебе всыпят. Я тоже не вернусь.

— Да, — сказал Сесиль Тандер, — сегодня утром во второй грамматический приходил инспектор.

— Давайте, взбунтуемся, — сказал Флеминг. — Ладно?

Мальчики молчали. В воздухе стояла полная тишина, и слышались удары крикетных бит, но медленнее, чем раньше: пик! пок!

Веллс спросил:

— А что с ними будет?

— Саймона Мунэна и «Клочка» выпорят, — сказал Этай, — а ребята из старшего отделения могут выбирать: либо порка, либо исключение из школы.

— Что ж они выбрали? — спросил мальчик, заговоривший первым.

— Все предпочли исключение, кроме Корригана, — ответил Этай. — Его будет пороть отец Глисон.

— Я знаю почему, — сказал Сесиль Тандер. — Он прав, а другие — неправы; порка ведь забывается очень быстро, а если кого исключат из школы, то об этом всю его жизнь будут помнить. А кроме того, Глисон не будет его слишком больно пороть.

— Еще бы, — сказал Флеминг.

— Не хотел бы я быть на месте Саймона Мунэна или «Клочка», — сказал Сесиль Тандер. — Но я не думаю, чтобы их выпороли. Может быть, высыпят два раза по девять лопаток.

— Нет, нет, — сказал Этай. — Им обоим высыпят в главное место.

Веллс потер себе зад и сказал плачущим голосом:

— Пожалуйста, сэр, отпустите меня!

Этай ухмыльнулся, засучил рукава пиджака и сказал:

Не моли и не стони!
Так тебе и надо.
А спускай свои штаны,
Не скрывая зада.

Мальчики засмеялись; но он чувствовал, что им не по себе. В тишине мягкого серого воздуха он слышал то с той, то с другой стороны удары крикетной биты: пок! Это — звук, который ты слышишь, но если тебя секут, то ты ощущаешь боль. Лопатка тоже щелкает, но по другому. Мальчики говорят, что она сделана из китового уса и свинца, обитого кожей; интересно, какая от нее боль? Есть разные звуки. У длинной, тонкой трости, вероятно, высокий, свистящий звук; а какая от нее боль? У него мурашки ползли по коже, и начался озноб при одной мысли об этом — и о том, что сказал Этай. Но смешного во всем этом ничего нет. Его знобило; это потому, что, когда снимаешь штаны, то под рубашку всегда поддувает. Также, как в купальне, когда раздеваешь-

ся. Интересно, кто спускает штаны — учитель или сам мальчик? Боже мой! Как они могут смеяться надо всем этим?

Он смотрел на засученные рукава Этая и на его узловатые, замазанные чернилами руки. Он засучил рукава, чтобы показать, как засучит рукава отец Глисон. Но у отца Глисона круглые блестящие манжеты, чистые, белые запястья и пухлые белые руки с длинными и остро отточенными ногтями: может быть, он их подпиливает, как лэди Бойль. Но они ужасно длинные и острые. Они длинные и жестокие. Но пухлые, белые руки — не жестокие, а нежные. И хотя его бросало в дрожь от холода и от страха, когда он думал о жестоких, длинных ногтях и о том, как поддувает под рубашку при раздевании, он вместе с тем ощущал где-то внутри странное, тихое наслаждение, думая о белых, пухлых руках — таких чистых, сильных и нежных. И он вспомнил, что сказал Сесиль Тандер: что отец Глисон не будет пороть Корригана слишком больно. А Флеминг сказал: «Еще бы».

Но это другое дело.

Голос с дальней стороны поля крикнул:

— Все по домам!

Другие голоса откликнулись:

— По домам! По домам!

Во время урока чистописания он сидел со скрещенными на груди руками, прислушиваясь к медленному скрипению перьев. Отец Гарфорд ходил взад и вперед, делая маленькие пометки красным

карандашом и иногда подсаживался к мальчику, чтобы показать ему, как держать ручку. Он попытался сам разобрать строчку, хотя и так хорошо знал ее; это была последняя строчка в учебнике: «Усердие без благоразумия — как корабль без руля». Но линии букв превращались в тончайшие невидимые нити, и, только плотно зажмурив правый глаз и присматриваясь одним левым, он мог различить округлые очертания заглавной буквы.

Но отец Гарфорд — хороший человек: он никогда не злится. Все другие учителя ужасно злющие. Но почему им всем приходится отдуваться за то, что натворили ученики старшего отделения? Веллс говорит, что они выпили вино для причастия, которое держится в шкафу в ризнице, и что потом их уличили по запаху, кто это сделал. А, может быть, они украли дароносицу, убежали и продали ее где-нибудь. Это страшный грех — войти туда тихонько посреди ночи, открыть темный шкаф и украсть сияющую золотую вещь, в которую кладется Бог на престоле посреди цветов и свеч во время вечерни, когда ладан всходит клубами по обеим сторонам, мальчик машет кадилом, а Доминик Келли поет в хоре первую часть акафиста соло. Конечно, когда они украли дароносицу, Бога в ней не было. Все-таки, дотрагиваться до нее — таинственный и большой грех. Он думал об этом с благоговением: страшный и странный грех. Мысль эта волновала его, пока перья продолжали скрипеть в затихшем классе. Но выпить вино для причастия из шкафа — тоже грех,

хотя не страшный и не таинственный. От него только подташнивает из-за запаха вина. В день своего первого причастия в часовне, он зажмурил глаза, открыл рот и слегка высунул язык; и когда ректор нагнулся, чтобы дать ему Святое Причастие, он уловил в дыхании ректора слабый запах вина, которое ректор выпил за обедней. Слово это очень красивое: «вино». От него думается о темно-лиловом, потому что виноград, который растет в Греции у домов, похожих на белые храмы, темно-лилового цвета. Но в утро его первого причастия слабый запах дыхания ректора вызвал в нем легкую тошноту. День первого причастия — это самый счастливый день в жизни. Как-то раз несколько генералов спросили Наполеона, какой день в его жизни был самым счастливым. Они думали, что он скажет: день, в который он выиграл какое-нибудь большое сражение, или день, в который он стал императором. Но он сказал: «Господа, самый счастливый день моей жизни — это день моего первого причастия».

Вошел отец Арнол, начался урок латыни, и он опять сидел неподвижно, прислонившись спиной к парте и скрестя руки на груди. Отец Арнол раздал тетради и сказал, что их классная работа никуда не годится, и что класс должен сейчас же все переписать набело с поправками. Хуже всех была тетрадь Флеминга: ее страницы склеились из-за кляксы; отец Арнол, держа ее за угол, сказал, что сдавать такую тетрадь значит оскорблять учителя. Потом он предложил Джэку Лоутону проскलो-

нять существительное mare¹⁹, и Джэк Лоутон застрял на творительном единственного числа и не мог перейти на множественное.

— Позор! — сказал отец Арнол строго. — А еще первый ученик!

Он вызвал другого мальчика, второго, третьего: никто толком ответить не мог. Отец Арнол становился все спокойнее и спокойнее по мере того, как один мальчик за другим не мог правильно ответить на вопрос. Но лицо его мрачнело, и глаза выкатились, хотя голос оставался спокойным. Он спросил Флеминга, и Флеминг сказал, что у этого слова нет множественного числа. Отец Арнол вдруг захлопнул книгу и закричал на него:

— Встань на колени посреди класса! Ты самый отъявленный лентяй, которого я когда-либо видел. Весь класс заново перепишет упражнение.

Флеминг тяжело поднялся со своего места и встал на колени между двумя последними партами. Другие мальчики наклонились над тетрадями и начали писать. Класс утих, и Стивен, робко поглядывая на мрачное лицо отца Арнола, видел, что оно побагровело от гнева.

Не грешно ли отцу Арнолу сердиться? Или ему разрешается сердиться, если мальчики ленятся, потому что тогда они начинают лучше учиться? Или он только притворяется, будто сердится? Вероятно, ему разрешают сердиться, потому что священник знает, что грех, и не станет раздражать-

¹⁹ Лат. море.

ся попусту. А вдруг он нечаянно согрешит? К кому он тогда пойдет на исповедь? Наверно к проректору. А проректор, если согрешит, пойдет к ректору, а ректор к правителю провинцией, а правитель провинцией к генералу иезуитов. Это называется «орден». Папа говорит, что иезуиты — умный народ. Они могли бы стать большими шишками в миру, если бы не были иезуитами. Интересно, чем бы стали отец Арнол и Пэдди Беррет, и чем бы стали отец Макглэд и отец Глисон, если бы не были иезуитами? Трудно себе представить, потому что тогда пришлось бы думать о них по другому, будто они одеты в сюртуки и брюки другого цвета, будто у них шляпы другого фасона, бороды и усы.

Дверь тихо открылась и закрылась. Быстрый шепот пронесся по классу: «Инспектор». Потом воцарилось мертвое молчание, и раздался громкий щелк лопатки по задней парте. Сердце Стивена встрепенулось от страха.

— Ну, отец Арнол! — крикнул инспектор. — Есть здесь мальчики, которые заслужили порку? Есть в этом классе лодыри и лежебоки, которым нужна порка?

Он вышел на середину класса и увидел стоящего на коленях Флеминга.

— Ого! — крикнул он. — Кто этот ученик? Почему он на коленях? Как тебя зовут, мальчик?

— Флеминг, сэр.

— Ого! Флеминг! Конечно, бездельник. Я по глазам вижу. Почему он на коленях, отец Арнол?

— Он написал очень плохую работу по латыни, — сказал отец Арнол, — и не ответил ни на один вопрос по грамматике.

— Ясно! — воскликнул инспектор. — Ясно! Лентяй от рождения! По глазам вижу.

Он хлопнул лопаткой по парте и закричал:

— Встать, Флеминг! Встать!

Флеминг медленно встал.

— Протяни руку! — закричал инспектор.

Флеминг протянул руку. Лопатка ударила по ней с громким шлепающим звуком: раз, два, три, четыре, пять, шесть.

— Другую руку!

Лопатка нанесла еще шесть громких быстрых шлепков.

— На колени! — закричал инспектор.

Флеминг стал на колени с искаженным от боли лицом, пряча руки под мышками. Стивен знал, какая грубая у него кожа на ладонях, потому что Флеминг всегда натирал их канифолью. Но вероятно ему все же было очень больно, потому что лопатка производила страшный шум. Сердце Стивена билось и трепетало.

— За работу, весь класс! — крикнул инспектор. — Нам здесь лентяев и лежебок не нужно. Нам не нужно ленивых, хитрых бездельников. За работу, я вам говорю! Отец Долан будет наведываться к вам каждый день. Отец Долан навещает-ся завтра.

Он ткнул одного мальчика лопаткой в бок и сказал:

— Ты, мальчик! Когда отец Долан придет сюда снова?

— Завтра, сэр, — ответил Том Ферлонг.

— Завтра, и послезавтра, и после-послезавтра, — сказал инспектор. — Не забывайте этого: каждый день! Продолжайте писать! Ты, мальчик, кто ты такой?

Сердце Стивена вдруг встрепенулось.

— Дедалус, сэр.

— Почему ты не пишешь, как другие?

— Я... мои...

С перепугу он не мог говорить.

— Почему он не пишет, отец Арнол?

— Он сломал свои очки, — сказал отец Арнол, — и я освободил его от занятий.

— Сломал? Что-о-о? Как твоя фамилия?

— Дедалус, сэр.

— Выйди сюда, Дедалус. Ты — хитрый бездельник. Я твою хитрость по лицу вижу. Где ты сломал свои очки?

Стивен, спеша и спотыкаясь, вышел на середину класса, ослепленный страхом.

— Где ты сломал свои очки? — повторил инспектор.

— На беговой дорожке, сэр.

— Ого! На беговой дорожке! — закричал инспектор. — Я эти фокусы знаю.

Стивен поднял удивленные глаза и увидел на мгновение серо-белое немолодое лицо отца Долана, его плешивую, серо-белую голову с обрамляющим ее пухом, стальную оправу очков и бесцвет-

ные глаза, смотревшие через очки. Почему он сказал, что знает эти фокусы?

— Лентяй, лежебока и бездельник! — закричал инспектор. — Сломал очки! Старые школьнические фокусы! Протяни руку сию же минуту!

Стивен закрыл глаза и протянул вперед свою дрожащую руку ладонью вверх. Он почувствовал, как инспектор дотронулся на мгновение до его пальцев, выпрямляя их, и услышал шорох сутаны, когда лопатка взвилась в воздух. Горячий, обжигающий, ошпаривающий удар, как громкий треск ломающейся палки, заставил его дрожащую руку сжаться, как сжимается лист в огне. Жгучие слезы бросились ему в глаза от звука и от боли. Все его тело тряслось от страха, тряслась его рука, а судорожно сжатая, горячая, мертвенно-бледная кисть тряслась, как сорвавшийся с дерева лист. Ему захотелось кричать, и мольба о пощаде уже готова была вырваться. Но хотя слезы жгли ему глаза, хотя его тело трепетало от боли и страха, он остановил жгучие слезы и подавил вопль, жегший его горло.

— Другую руку! — закричал инспектор.

Стивен отвел свою искалеченную и трепещущую правую руку и протянул левую. Опять раздался шорох рукава сутаны, когда взлетела в воздух лопатка, и громкий треск и безумная, колющая, обжигающая боль превратили его кисть, ладонь и пальцы в жидкий, трепещущий студень. Обжигающая влага брызнула из его глаз и, сгорая от стыда, муки и страха, он в ужасе отдернул свою

дрожащую руку и взвизгнул от боли и от страха. Тело его свело судорогой. Вне себя от стыда и ярости, он почувствовал, как обжигающий вопль вырвался из его горла, а едкие слезы закапали из глаз по его пылающим щекам.

— На колени! — крикнул инспектор.

Стивен быстро опустился на колени, прижимая свои избитые руки к бокам. Он думал о них — избитых и распухших в одну минуту от боли — и жалел их, как будто это были не его, а чьи-то чужие руки, которых ему было жалко. И, стоя на коленях, подавляя последние рыдания и ощущая жгущую, колющую, запрятанную под мышцы боль, он думал о своих руках, которые держал вытянутыми вперед, ладонями вверх, о твердом прикосновении, когда инспектор выпрямил дрожащие пальцы, и об избитой, распухшей, побагровевшей массе ладони и пальцев, беспомощно трепетавших в воздухе.

— За работу, класс! — крикнул инспектор с порога. — Отец Долан будет навещать вас каждый день, чтобы узнать, нет ли здесь бездельников, лентяев и лежебок, которым нужна порка. Каждый день! Каждый день!

Дверь хлопнула за ним.

Притихший класс продолжал переписывать упражнения. Отец Арнол встал со своего места и начал обходить ряды парт, помогая мальчикам ласковыми словами и объясняя им их ошибки. Его голос был тихим и кротким. Потом он вернулся на свое место и сказал Флемингу и Стивену:

— Вы оба можете вернуться на свои места.

Флеминг и Стивен встали и, вернувшись к своим местам, сели. Стивен, багровый от стыда, быстро открыл книгу ослабевшей рукой и, нагнувшись, уткнул в нее лицо.

Какая несправедливость, какая жестокость. Ведь доктор запретил ему читать без очков, и он сегодня утром написал домой папе, прося прислать новые очки. А отец Арнол сказал, что он освобождается от занятий, пока не получит новых очков. А теперь его перед всем классом обозвали обманщиком и наказали лопаткой — его, который всегда получал билет первого и второго ученика и был вождем йоркистов! Откуда инспектор взял, что это — фокусы? Он опять почувствовал прикосновение пальцев инспектора, когда они выпрямляли его руку; он подумал было, что он хочет пожать ему руку, потому что пальцы были такими мягкими и крепкими; но потом он сразу же услышал шелест сутаны и треск. Несправедливо и жестоко было тоже заставить его стать на колени посреди класса, а отец Арнол сказал, что они оба могут вернуться на свои места, не делая никакой разницы между ними. Он прислушивался к тихому и мягкому голосу отца Арнола, поправляющего упреждения. Может быть, он жалел теперь о том, что случилось, и хотел как-то загладить свою вину. Но все-таки это несправедливо и жестоко. Инспектор — священник, но то, что он сделал, остается жестоким и несправедливым. И его бело-серое лицо и бесцветные глаза за очками в стальной

оправе были жестокими, потому что он сначала выпрямил руку Стивена своими крепкими, мягкими пальцами только для того, чтобы ударить со всего размаха.

— Это — свинство и подлость, вот это что такое, — сказал Флеминг в коридоре, когда классы шеренгами шли к трапезной, — наказывать человека за то, в чем он не виноват.

— Ты вправду сломал свои очки случайно? — спросил Насти-Рош.

У Стивена на сердце потеплело от слов Флеминга, и он ничего не ответил.

— Конечно, случайно! — сказал Флеминг. — Я бы этого не потерпел. Я бы пожаловался ректору.

— Верно, — сказал с интересом Сесиль Тандер. — И я видел, как он поднял лопатку выше плеча, а это не разрешается.

— Больно было? — спросил Насти-Рош.

— Еще бы, — сказал Стивен.

— Я бы этого не потерпел, — повторил Флеминг, — от этого плешивого черта. От любого плешивого черта. Это свинство и подлость, вот это что такое. Я бы пошел к ректору после обеда и рассказал ему все.

— Верно, верно, — сказал Сесиль Тандер.

— Верно. Пойди и пожалуйся на него ректору, Дедалус, — сказал Насти-Рош, — потому что он обещал придти завтра и снова тебя наказать.

— Да, да, расскажи ректору, — говорили все.

Рядом стояли, прислушиваясь, мальчики из второго грамматического. Один из них сказал:

— Сенат и римский народ постановляют, что Дедалус понес несправедливое наказание.

Несправедливое, неправильное и жестокое. Сидя в трапезной, он несколько раз переживал в памяти унижение, пока не начал сомневаться, нет ли в его лице действительно чего-то такого, что делает его похожим на обманщика; он жалел, что у него под рукой нет зеркальца, чтобы проверить, так ли это. Но нет, это ерунда; все это несправедливо, жестоко и неправильно.

Темно-серых рыбных котлет, которые подавались в Великий Пост по средам, он есть не мог, а на одной картофелине он увидел зарубку от лопаты. Да, он сделает то, что ему советуют мальчики. Он пойдет наверх и расскажет ректору, что его несправедливо наказали. Так поступил какой-то великий человек, портрет которого есть в учебнике истории. И ректор признает, что он потерпел незаслуженное наказание, потому что сенат и римский народ всегда постановляют, что люди потерпели несправедливое наказание. Это те великие люди, имена которых есть в «Вопросах» Ричмала Магнола. История — это то, что делали такие люди. «Сказания о Греции и Риме» Питера Парли — тоже об этом. Питер Парли сам изображен на первой странице. Там нарисована дорога, ведущая через поле, с травой и кустарником по краям; а у самого Питера Парли широкополая шляпа, как у протестантского пастора, и он быстро шагает по дороге в Грецию и Рим.

То, что надо сделать, очень легко. После того, как кончится обед, и он выйдет из трапезной, надо просто пойти дальше — но не по коридору, а вверх по лестнице направо, что ведет в замок. Вот и все: повернуть направо и быстро взбежать по лестнице, и через полминуты он окажется в низком, темном, узком коридоре, который ведет к кабинету ректора. Ведь все мальчики говорят, что это несправедливо, и даже мальчик из второго грамматического сказал фразу о сенате и о римском народе.

Что же будет?

Он слышал, как встали ученики старшего отделения в передней части трапезной, и как они шли по цыновке — Падди Рат, и Джимми Маги, и испанец, и португалец, а пятым шел огромный Корриган, которого будет пороть отец Глисон. Вот почему инспектор назвал его обманщиком и наказал его ни за что, ни про что; щуря свои близорукие, опухшие от слез глаза, он смотрел на широкие плечи и на большую, повисшую, черную голову огромного Корригана, шедшего в шеренге. Но Корриган что-то там натворил, а, кроме того, отец Глисон не будет его нещадно пороть. И он вспомнил, каким большим Корриган казался в купальне. Кожа его была того же цвета, что и окрашенная торфом болотистая вода в мелком конце бассейна; когда он шагал вдоль края бассейна, его ступни громко шлепали по мокрым изразцам, а бедра на каждом шагу слегка вздрагивали — такой он был жирный.

Трапезная наполовину опустела, но мальчики все еще выходили из нее шеренгами. Пройти вверх по лестнице было не трудно, потому что за дверьми трапезной ни священников, ни инспекторов никогда не бывало. Но он не мог пойти. Ректор, конечно, встанет на сторону инспектора и решит, что это очередной школьный фокус, и тогда инспектор будет все равно приходить каждый день, но ему еще больше влетит, потому что инспектор разозлится, когда узнает, что Стивен ходил к ректору жаловаться на него. Мальчики уговаривали его пойти, но сами идти не собирались. Да они уже успели забыть обо всем деле. Лучше бросить всю эту затею; может быть, инспектор только пригрозил, будто снова придет. Лучше всего не путаться под ногами: маленьким и слабым иногда удается так спасти свою шкуру.

Мальчики за его столом встали. Он тоже встал и включился в шеренгу. Теперь он должен принять решение. Вот он уже подходит к двери. Если он теперь пойдет с другими, то никогда уж к ректору не попадет; со спортивной площадки ему нельзя будет уйти. А если он пойдет и все-таки будет наказан, то мальчики начнут издеваться над ним и рассказывать, как малыш Дедалус пошел было к ректору жаловаться на инспектора.

Он шел по циновке и увидел дверь перед собой. Нет, нельзя. Это превыше его сил. Он вспомнил лысоватую голову инспектора с жестокими бесцветными глазами, глядящими на него, услышал голос инспектора, переспрашивающего его

фамилию. Почему он не мог запомнить ее с первого раза? Глухой он, что ли? Или он издевался над фамилией? Над собственной его фамилией ему бы поиздеваться. Долан! Такие фамилии у прачек!

Он дошел до двери и, быстро повернув направо, пошел вверх по лестнице и не успел оглянуться, как оказался в низком, темном, узком коридоре, ведущем к замку. И когда он перешагнул порог коридора, он увидел, не поворачивая головы, что все мальчики, выходя шеренгой из трапезной, смотрят ему вслед.

Он шел по узкому, темному коридору, мимо маленьких дверей келий, в которых жили члены общины. Он глядел в полумгле вперед, направо и налево и думал, что вероятно по стенам развешаны портреты. В коридоре было тихо и темно, а глаза его — близорукие и уставшие от слез — мало что видели. Но он был уверен, что это — портреты святых и великих людей, молчаливо глядевших на него: святой Игнатий Лойола, держащий раскрытую книгу и указывающий на слова: „Ad maiorem Dei gloriam“; ²⁰ святой Франциск Ксаверий, указывающий на свою грудь; Лоренцо Рикки в берете, совсем как у учителей гимнастики; три заступника добродетельного отрочества — святой Станислав Костка, святой Алоизий Гонзага и Блаженный Иоанн Берхманс — все трое с молодыми лицами, потому что умерли в ранней юно-

²⁰ К вящей славе Господней: девиз иезуитского ордена.

сти, — и отец Питер Кенни, укутанный в большой плащ и сидящий в кресле.²¹

Он вышел на антресоли и огляделся. Вот здесь проходил Гамильтон Роуэн, а вот здесь следы пуль. И именно здесь старые слуги видели дух фельдмаршала в белом плаще.

Старый слуга подметал площадку. Он спросил его, где кабинет ректора, и старик указал на дверь в конце коридора и посмотрел ему вслед, когда он подошел к двери и постучался.

Ответа не было. Он постучал погромче, и его сердце екнуло, когда он услышал приглушенный голос:

— Войдите!

Он повернул ручку, открыл дверь и начал наощупь искать ручку обитой зеленой байкой внутренней двери. Нащупав ее, он толкнул дверь и вошел.

Ректор сидел за столом и писал. На письменном столе стоял череп; в комнате таинственно и торжественно пахло старой кожей.

Сердце его быстро билось из-за торжественности места и из-за тишины в комнате. Он посмотрел на череп и на добродушное лицо ректора.

— Ну, малыш, — сказал ректор, — в чем дело?

²¹ Св. Игнатий Лойола, основатель ордена (1491—1556); Св. Франциск Ксаверий (1506—1552); Св. Станислав Костка (1550—1568); Св. Алоизий Гонзага (1568—1591); Св. Иоанн Берхманс (1599—1621); о. Питер Кенни, основатель интерната в Клонгозе.

Стивен проглотил застрявший в горле комок и сказал:

— Я сломал очки, сэр.

Ректор открыл рот и сказал:

— О!

Потом он улыбнулся и сказал:

— Ну что ж, если мы сломали очки, то нам надо написать домой и попросить новые.

— Я написал домой, сэр, — сказал Стивен, — и отец Арнол освободил меня от занятий, пока я их не получу.

— Правильно, — сказал ректор.

Стивен еще раз проглотил комок в горле и сделал усилие, чтобы его ноги и голос перестали дрожать.

— Но, сэр . . .

— Да?

— Отец Долан пришел сегодня в класс и побил меня лопаткой, потому что я не писал упражнений.

Ректор посмотрел на него молча, и Стивен почувствовал, как кровь залила ему лицо, и слезы подступили к глазам.

Ректор сказал:

— Твоя фамилия Дедалус, не так ли?

— Да, сэр . . .

— Где ты сломал свои очки?

— На беговой дорожке, сэр. Один мальчик выехал из-под велосипедного навеса, я упал, и они разбились. Я не знаю, как зовут мальчика.

Ректор опять молча посмотрел на него. Потом он улыбнулся и сказал:

— Произошла ошибка; я уверен, что отец Долан не знал.

— Но я сказал ему, что я их сломал, сэр. И он наказал меня после этого.

— Ты ему сказал, что написал домой и попросил прислать тебе новые очки? — спросил ректор.

— Нет, сэр.

— Ну, вот видишь, — сказал ректор, — отец Долан просто не понял. Ты можешь сказать ему, что я освободил тебя от уроков на несколько дней.

Стивен сказал скороговоркой, боясь, что дрожь помешает ему договорить:

— Да, сэр, но отец Долан сказал, что он придет завтра, чтобы еще раз наказать меня.

— Хорошо, — сказал ректор, — здесь произошла ошибка, и я сам поговорю с отцом Доланом. Это все?

Стивен почувствовал, как слезы увлажняют ему глаза, и пробормотал:

— Да, сэр, спасибо.

Ректор протянул свою руку через стол, на котором стоял череп, и Стивен, вложив свою руку в нее на мгновение, ощутил прикосновение холодной, влажной ладони.

— Ну, до свиданья, — сказал ректор, оттягивая руку и кивая головой.

— До свиданья, сэр, — сказал Стивен.

Он поклонился и тихо вышел из кабинета, тщательно и медленно закрыв за собой обе двери.

Но, пройдя мимо старого слуги на площадке и оказавшись опять в низком, узком, темном коридоре, он зашагал быстрее и быстрее. Все быстрее и быстрее он взволнованно спешил через полу-мглу. Он стукнулся локтем о дверной косяк у выхода, сбегал по лестнице, быстро прошел по обоим коридорам и вышел на свежий воздух.

Он слышал крики мальчиков на площадке и — уже бегом, все быстрее и быстрее — пересек беговую дорожку и, запыхавшись, добежал до младшего отделения.

Мальчики заметили его. Они окружили его, толкая друг друга, чтобы расслышать, что он скажет.

— Ну что? Ну что?

— Что он сказал?

— Ты вошел?

— Что ты сказал?

— Рассказывай же!

Он рассказал им, что он сказал, и что сказал ректор, и, когда он кончил, то мальчики бросили свои фуражки в воздух и закричали:

— Ура!

Они поймали фуражки и дали им взвиться опять к небу под крики:

— Ура! Ура!

Они сплели руки, посадили его на них и понесли его, пока он не вырвался. А когда он вырвался от них, то они разбежались в разные стороны, бросая фуражки в воздух и крича:

— Ура!

И они три раза простились в честь плешивого Долана и три раза прокричали «Ура» в честь Конми, самого что ни на есть лучшего ректора Клонгоза.

Возгласы замерли в мягком, сером воздухе. Он был один, счастлив и свободен; но задаваться перед отцом Доланом он все же не будет. Он будет вести себя тихо и послушно; ему хотелось бы даже услужить отцу Долану, чтобы показать, что он не задается.

Воздух был мягким, серым и нежным; наступал вечер. В воздухе пахло по вечернему: так пахнут поля, засаженные репой, по дороге к имению майора Бартона, так пахнет рошица за павильоном, где на деревьях растут чернильные орешки.

Мальчики упражнялись в подаче мяча. В мягкой, серой тишине слышались глухие удары мячей; то с одной, то с другой стороны в тиши доносились удары крикетной биты — как капли воды в фонтане, медленно падающие в полную до краев чашу»: пик! пэк! пок!

2

Дядя Чарльз курил такой черный табак, что в конце концов его племянник предложил ему наслаждаться этим куревом в сарайчике в самом конце сада.

— Превосходно, Саймон; тишь да гладь, Саймон, — сказал старик спокойно. — Как хочешь. Сарайчик мне очень подходит. Там и воздух здоровее.

— Черт побери, — сказал безо всякого стеснения мистер Дедалус, — как вы можете курить такую мерзкую, вонючую гадость? Ей-Богу, это порох, а не табак.

— Табак очень приятный, Саймон, — ответил старик. — Он охлаждает и смягчит.

Поэтому по утрам дядя Чарльз отправлялся в свой сарайчик, предварительно намадив и аккуратно пригладив волосы на затылке и почистив щеткой свой цилиндр. Когда он курил, поля его цилиндра и трубки виднелись как раз над косяком дверцы сарайчика. Его пристанище — как он

называл этот вонючий сарайчик, в котором он проводил время рядом с кошкой и садовническими принадлежностями — служил ему также в качестве резонатора. По утрам он мурлыкал там свои любимые песни: «О, сплети мне беседку» или «Голубые глаза и золотые кудри» или «О, рощи Бларни», а сизые спирали дыма медленно подымались из его трубки и таяли в чистом воздухе.

Первую половину лета в Блэкроке дядя Чарльз был постоянным спутником Стивена. Дядя Чарльз, бодрый старичок с загорелым лицом, грубоватыми чертами и седыми бакенбардами по будням ходил по поручениям из дома на Корисфорт Авеню в лавки на главной улице поселка, с которыми имела дело семья. Стивен охотно его сопровождал, потому что дядя Чарльз щедро наполнял его карманы всем тем, что лежало в открытых ящиках и бочках по эту сторону прилавка. Он брал, например, кисть винограда, покрытую опилками, или три-четыре американских яблока и щедро оделял ими своего внучатого племянника, в то время как хозяин магазина косо усмехался. А если Стивен делал вид, будто стесняется брать, дядя Чарльз хмурился и говорил:

— Бери, бери! Слышишь? Это для пищеварения полезно.

Когда все поручения были выполнены, они шли вдвоем в парк, где их уже поджидал на скамье старинный приятель отца Стивена, Майк Флинн. Стивен бегал кругом по парку, а Майк сто-

ял у ворот против вокзала с хронометром в руках; Стивен бегал по дорожке тем аллюром, который предпочитал Майк Флинн — задирая голову, выбрасывая колени вперед и держа руки по швам. Когда кончалась утренняя зарядка, тренер давал свой отзыв, иногда иллюстрируя его комическим шарканьем на протяжении нескольких шагов в своей паре старых парусиновых туфель. Небольшая кучка изумленных ребят и нянек собиралась поглядеть на него и не расходилась даже тогда, когда они с дядей Чарльзом опять усаживались и заводили разговор об атлетике и политике. Хотя он знал от отца, что через руки Майка Флинна прошло несколько знаменитых бегунов недавнего времени, Стивен иногда с жалостью поглядывал на дряблое, поросшее щетиной лицо тренера, наклоненное над длинными, желтыми от курения пальцами, крутившими козью ножку, и на его мягкие тускло-голубые глаза, которые вдруг подымались и неопределенно вперялись в синюю даль, а длинные опухшие пальцы прекращали свою работу, и крошки и волокна табака падали обратно в кiset.

По дороге домой дядя Чарльз иногда заворачивал в часовню и, так как кропильница была слишком высока для Стивена, окунал в нее руку и уверенно кропил одежду Стивена и папeрть. Он расстилал под колени красный фуляр и вполголоса читал вслух молитвы из замасленного молитвенника, в котором наиболее важные слова были напечатаны внизу каждой страницы. Стивен стоял

на коленях рядом с ним, уважая его набожность, но не разделяя ее.

Он часто спрашивал себя, о чем так серьезно молится дядя Чарльз. Может быть, он молится за души в чистилище или о мирном окончании живота своего, а, может быть, о том, чтобы Бог вернул ему часть большого состояния, которое он растратил в Корке.

По воскресеньям Стивен, его отец и дядя Чарльз совершали длинные прогулки. Старик ходил очень быстро, несмотря на мозоли, и часто они проходили по 15-20 километров. Дороги расходились у деревушки Стиллорган. Оттуда они шли либо налево, к дублинским горам, либо на Готстаун, а оттуда на Дандрам и возвращались домой через Сэндифорд. Шагая по дорогам или стоя в каком-нибудь захолустном кабаке, взрослые то и дело заговаривали о близких их сердцу делах — об ирландской политике, о Манстере, о сказаниях, живших в их собственной семье: ко всему этому Стивен жадно прислушивался. Непонятные ему слова он начинал повторять про себя, пока не заучивал их наизусть; и через них он начинал постигать окружающий его мир. Час, когда он тоже примет участие в жизни этого мира, приближался, и втайне он уже готовился к той большой роли, которая, он был уверен, была ему приурочена, но суть которой он только смутно осознавал.

Вечера принадлежали ему; он зачитывался потрепанным переводом «Графа Монтекресто». В обlique этого мрачного мстителя сливалось для него

все то таинственное и страшное, о чем он слышал или догадывался в детстве. По вечерам он соорудил на столе в гостиной чудесную пещеру — из переводных картинок, цветной папиросной бумаги и полосок серебряной и золотой бумаги, в которую заворачивают шоколад. А когда, пресытившись его мишурностью, он разрушал это сооружение, то перед ним вставал светлый образ Марселя, облитых солнцем решетчатых заборов и Мерседес.

За Блэкроком, у дороги, ведущей в горы, стоял небольшой белый дом, в саду которого росли розы; в этом доме, так он уверял самого себя, живет другая Мерседес. Выходя из поселка и возвращаясь домой, он мерил расстояния этой вехой, а в своей фантазии переживал длинную цепь приключений, таких же замечательных, как в книге, в завершение которых появлялся он сам, взрослый и печальный; вот он стоит с Мерседес в освещенном луной саду, с той самой Мерседес, которая когда-то отвергла его любовь; он скорбно-гордым жестом отстраняет ее от себя и говорит:

— Сударыня, я никогда не любил муската.

Он подружился с мальчиком по имени Обри Милс и основал с ним шайку любителей приключений. У Обри в петлице висел свисток, а к поясу был прицеплен велосипедный фонарик. У других мальчиков за пояса, как кинжалы, были наискось заткнуты короткие палки. Стивен знал из книг, что Наполеон одевался очень просто; поэтому он отказался от всяких внешних знаков отличия, что еще более доставляло ему удовольствия,

когда он обсуждал распоряжения и приказы со своим заместителем. Шайка делала набеги на сады старых дев или пробиралась в замок и устраивала там побоища на шершавых, поросших водорослями скалах, возвращаясь домой как усталые бойцы с едким морским запахом в ноздрях и с вонючим маслом водорослей на руках и в волосах.

Молоко доставлялось семьям Обри и Стивена одним и тем же молочником, и часто они выезжали на его возке в Кэррикмайнс, где паслись коровы. Пока мужчины доили коров, мальчишки по очереди ездили верхом вокруг поля на смирной кобыле. Но когда пришла осень, коров погнали с пастбища домой. Стивену стало тошно, когда он впервые увидел грязный скотный двор в Стрэдбруке с мерзкими зелеными лужами, кучами жидкого навоза и дымящимися корытами отрубей. Коровы, которые казались такими красивыми в солнечные дни на лугах, вызывали в нем теперь отвращение, и он даже не мог притронуться к их молоку.

Наступил сентябрь, но это его в этом году больше не смущало: в Клонгоз он не возвращался. Тренировка в парке прекратилась, когда Майк Флинн слег в больницу. Обри был в школе и освобождался на час-два только по вечерам. Шайка распалась. Прекратились ночные вылазки и побоища на скалах. По вечерам Стивен иногда сопровождал молочника. Эти поездки в студеную погоду вытравивали из его сознания память об омерзительном скотном дворе; ему перестали претить коровья

шерстка и зерна овса на куртке молочника. Возок останавливался, и он ждал момента, когда увидит начисто вымытую кухню или тепло освещенную переднюю и горничную с крынкой в руках. Хорошо было бы самому развозить по вечерам молоко; только бы были теплые перчатки, да кулек имбирных пряников в кармане для подкрепления сил.

Но та самая интуиция, от которой у него становилось тошно на сердце, от которой подкашивались ноги во время бега в парке, то самое прозрение, которое заставляло его смотреть с недоверием на дряблое, щетинистое лицо тренера, склоняющееся над длинными, желтыми пальцами, развеивало любую его мечту о будущем. Он смутно сознавал, что отец попал в беду, и что именно поэтому он не возвращается в Клонгоз. Уже давно он замечал, что в их доме что-то изменилось; и эти перемены того, что казалось незыблемым, расшатывали его отроческое представление о мире. Честолюбие, которое он иногда чувствовал в тайниках своей души, не спешило выйти наружу. Сумерки — как сумерки во внешнем мире — обволакивали его сознание, пока он слышал цоканье копыт кобылки, трусившей вдоль трамвайных рельс по Рок-Роуду, да дребезжание качавшегося за его спиной жбана.

Мысли его возвращались к Мерседес, и от мечтаний о ней в крови его иногда начинало бродить странное беспокойство. Тогда он вечером одиноко скитался по тихой улице. Тишина садов и ласково

светящиеся окна ублажали его мятущееся сердце. Шум играющих детей раздражал его, а их дурашливые возгласы заставляли его думать — еще более отчетливо, чем в Клонгозе, — что он не такой, как другие. Играть ему не хотелось. Он мечтал встретить во внешнем мире тот невещественный образ, который постоянно предстоял его душе. Он не знал, где и как его искать, но поддаваясь своим предчувствиям, он готов был верить, что этот образ повстречается с ним безо всякого усилия с его стороны. Они встретятся спокойно, как будто давно знали друг друга и давно обручились друг с другом — встретятся, быть может, у калитки или в другом укромном месте. Они будут одни, вокруг будет темно и тихо, и в минуту предельной нежности он преобразится. Под ее взглядом он растворится в нечто неосязаемое и в одну секунду испытает преображение. Слабость, робость, неопытность спадут с него в одно волшебное мгновение.

**
*

Два огромных желтых фургона остановились как-то утром перед подъездом; в дом с грохотом вошли грузчики и принялись его опустошать. Они вытаскивали мебель через усеянный соломой и обрезками веревки палисадник и грузили ее в фургоны, ждавшие у ворот. Когда все было погружено, фургоны загромыхали по улицам. Из окна железнодорожного вагона, где Стивен сидел с заплаканной мамой, он видел, как фургоны ползли по Мэррион-Роуд.

Огонь в гостиной в этот вечер не хотел разгораться, и мистер Дедалус начал разгребать уголь кочергой, чтобы дать разгореться пламени. В углу наполовину пустой комнаты без ковров дремал дядя Чарльз. Около него стояли прислоненные к стене фамильные портреты. Лампа на столе бросала слабый свет на дощатый пол, замызганный сапогами грузчиков. Стивен сидел на табуретке рядом с отцом и прислушивался к длинному и бесвязному монологу, в котором ничего или почти ничего не понимал. Постепенно он начал разбираться: у отца — какие-то враги, и вот-вот он вступит с ними в борьбу. Он понимал также, что и он призывается к участию в этой борьбе, что и на его плечи взваливается какая-то обязанность. Внезапное бегство из мечтательного уюта Блэкрока, путешествие через угрюмый, туманный город, мысль

о пустом, невеселом доме, в котором они теперь поселились, тяготили его сердце. И снова он что-то смутно прозревал в будущем. Он понял, о чем так часто шептались слуги в передней, и почему отец, стоя на коврике перед камином, спиной к огню, так часто громко разглагольствовал, обращаясь к дяде Чарльзу, который тщетно уговаривал его сесть за стол и приняться за еду.

— Есть еще порох в пороховницах, Стивен, приятель ты мой, — говорил мистер Дедалус, яростно расковыривая вяло горевшие угли. — Мы еще не подошли, сынок. Не-ет, вот тебе Христос (прости Господи!), — мы еще даже наполовину не подошли.

Дублин оказался новым и сложным переживанием. Дядя Чарльз впал в полное слабоумие и больше не ходил за покупками. Беспорядок, связанный с устройством на новом месте, предоставлял Стивену бóльшую свободу, чем в Блэкроке. Вначале он ограничивался тем, что робко кружил по соседней площади или, в крайнем случае, доходил до середины одной из поперечных улиц, но как только он более или менее освоился с планом города, он смело пошел по одной из магистралей, пока не добрался до таможни. Он прошел беспрепятственно мимо доков и вдоль набережных, дивясь количеству пробок, болтавшихся в густой желтой тинистой воде, толпам грузчиков, громающим фургонам, неряшливому, бородатому полицейскому. Необъятность и таинственность жизни, о которой говорили тюки товаров, наваленные

вдоль стен или поднимаемые из трюмов, снова порождали в нем беспокойство, которое в свое время гнало его из сада в сад в поисках Мерседес. Окруженный этой новой бурлящей жизнью, он мог бы, пожалуй, вообразить, что оказался в Марселе, если бы не отсутствие ясного неба и озаренных солнцем решетчатых перегородок у винных лавочек. Смутная неудовлетворенность росла в нем, когда он смотрел на набережные, на реку и на низко нависшее небо. И все же изо дня в день он продолжал бродить, как будто в самом деле искал кого-то, ускользавшего от него.

Раза два он ходил с матерью в гости к ее родным; и, хотя они проходили мимо приветливо освещенных и разукрашенных по случаю Рождества магазинов, настроение раздраженной обособленности не покидало его. Причин для раздражения было много — и прямых и косвенных. Его раздражали его собственная незрелость и подверженность беспокойным, дурашливым порывам; раздражала превратность судьбы, сделавшая его мир чем-то убогим и фальшивым. Но это раздражение не отражалось на его внутреннем видении. Он терпеливо отмечал то, что видел, отмежевывая себя от всего, что окружало его, и втайне смакуя его горький привкус.

... Вот он сидит на табуретке в теткиной кухне. Лампа с рефлектором висит на лакированной стенке камина. При ее свете тетка читает развернутую на коленях вечернюю газету. Она долго всматривается в улыбающееся лицо, снимок кото-

рого помещен в газете, и потом говорит мечтательно:

— Прелестная Мэйбл Гантер!

Девочка в кудряшках встает на цыпочки, чтобы взглянуть на снимок, и тихо спрашивает:

— В чем это она, мама?

— В рождественском спектакле, милочка.

Девочка прислоняет свою кудрявую головку к материнскому рукаву и бормочет, как зачарованная:

— Прелестная Мэйбл Гантер!

Как зачарованная, она вглядывается в эти скромно-манящие глаза и бормочет с обожанием:

— Какая она очаровательная!

А ворвавшийся с улицы мальчик, сгибающийся под грузом угля, слышит эти слова. Он с грохотом сбрасывает свой груз прямо на пол, подбегает к девочке, мнет края газеты побагровевшими и почерневшими руками, отталкивает девочку плечом, жалуется, что ничего не видит.

... Вот он сидит в узкой маленькой столовой на верхнем этаже старого дома с закоптелыми окнами. Отблески огня полыхают на стене, за окном сгущаются сумерки. У камина готовит чай старушка, вполголоса рассказывая, что сказали священник с доктором, как «она» изменилась за последнее время, и какие у «нее» появились странные замашки и словечки. Он сидит, слушает и наблюдает за фантастическим миром, возникающим в тлеющих углях — с арками, подземельями, вьющимися галереями и пещерами с рваными краями.

Вдруг он чувствует, что в дверях кто-то стоит. В полумраке приоткрытой двери в воздухе висит череп. Там стоит хилое существо, похожее на обезьяну, привлеченное звуком голосов у камина. Визгливый голос спрашивает:

— Это Жозефина?

Возящаяся у камина старушка отвечает приветливо:

— Нет, Эллен. Это Стивен.

— А-а . . . А-а, здравствуй, Стивен.

Он отвечает на приветствие. Слабоумная улыбка расплывается по лицу существа в дверях.

— Тебе что-нибудь надо, Эллен? — спрашивает старушка.

Но она не отвечает, а говорит:

— Мне показалось, что это Жозефина. Мне показалось, что ты — Жозефина, Стивен.

И, повторив это несколько раз, она начинает хихикать.

. . . Детская елка в Гарольдс-Кроссе. Он, как всегда, молча наблюдает и почти не участвует в играх. Дети пляшут и шумят, и, хотя он старается присоединиться к их веселью, он знает, что его сумрачный облик обособляет его от детей с их напаянными кое-как на головы игрушечными колпаками и чепчиками.

Но, когда, спев свою песню, он забивается в укромный уголок зала, он упивается своим одиночеством. Веселье, которое в начале праздника казалось ему наигранным и пошлым, действует на него теперь умиротворяюще; он радостно впитыва-

ет и старается скрыть от чужих глаз лихорадочное волнение в его крови; ибо — наперерез хоровам, поверх музыки и смеха — взор ее глаз тянется в его угол — ластясь, дразня, ища и волнуя его сердце.

В прихожей одеваются дети, которые еще задержались. Вечер кончился. Она набрасывает на себя теплый плащ, и когда они вдвоем идут к конке, пар ее свежего, теплого дыхания веет над ее капюшоном, а башмачки весело постукивают по остекляневшей мостовой.

Ясная ночь. Отходит последняя конка. Тощие гнедые кони чувствуют это, потряхивая бубенчиками. Кондуктор с кучером, кивая головами, болтают о чем-то при свете зеленой лампы. На пустых сидениях разбросаны разноцветные билеты. На улице не слышно шагов — ни с той, ни с другой стороны. Ничто не нарушает ночной тишины: только тощие кони трутся мордами и потряхивают бубенчиками.

А они как бы прислушиваются — он, стоя на верхней ступеньке, она — ступенькой ниже. Беседуя, она то поднимается на его ступеньку, то опять спускается на свою; раз или два она стоит совсем рядом с ним на верхней ступеньке, забывая сойти вниз. Его сердце танцует в лад с ее движениями, как пробка танцует на волнах. Он слышит, о чем говорят ее глаза из-под капюшона; он знает, что в каком-то туманном прошлом — наяву или во сне — он уже слышал их рассказ. Он замечает, как она кокетничает своим нарядом — выстав-

ляет свое платье, поясок, длинные черные чулки; он знает, что был ими покорен уже тысячи и тысячи раз. Но в душе его звучит голос, заглушающий звук пляшущего сердца, голос, спрашивающий его, принять ли ему дар, за которым ему стóбит лишь протянуть руку. И он вспоминает день, когда он и Айлин смотрели в сад гостиницы, наблюдая, как официанты втягивали веревку с флажками на флагшток, и как фокстерьер носился взад и вперед по залитому солнцем газону, и как она вдруг рассмеялась и побежала по изгибу ведущей вниз тропинки. Теперь, как и тогда, он вяло стоит на месте, как будто он бесстрастный наблюдатель разыгрывающейся перед ним сцены.

«Ей тоже хочется меня обнять, — думает он. — Поэтому-то она и пошла со мной к конке. Я могу безо всякого труда обнять ее, когда она становится на мою ступеньку; сюда никто не смотрит. Я могу обнять и поцеловать ее».

Но он не делает ни того, ни другого; и потом, сидя в пустом вагоне, рвет свой билет на мелкие клочки и мрачно смотрит на решетчатый пол.

**
*

На следующий день он просидел несколько часов подряд за своим столом в полупустой комнате на верхнем этаже. Перед ним — новое перо, полный пузырек чернил и новая зеленая тетрадка. По привычке он начертал на первой странице на-

чальные буквы иезуитского девиза: A. M. D. G.¹ На первой строчке страницы появилось заглавие «К Э. К». Он знал, что так полагается начинать, потому что видел схожие заглавия в собрании стихотворений лорда Байрона. Написав заголовок и проведя под ним красивую черту, он задумался и принялся чертить геометрические фигуры на обложке тетради. Он вспомнил, как сидел за своим столом в Брэй на утро после того спора за рождественским столом, пытаясь сочинить стихотворение в честь Парнеля на оборотной стороне счета с папиного стола. Тогда его сознание забастовало, и, утомившись, он исписал всю страницу именами и адресами своих школьных товарищей:

Родерик Кикхэм
Джон Лоутон
Антони Максвини
Саймон Мунэн

Теперь он боялся, что у него опять ничего не выйдет. Но, размышляя о пережитом, он постепенно дошел до уверенности. В ходе этого процесса исчезли все те элементы, которые он считал будничными и мелкими. От конки, от кондуктора с вагоновожатым, от лошадей не осталось и следа; да и он и она получились не слишком живыми. Стихи говорили только о ночи, о ласкающем ветерке, о сиянии девственной луны. Какая-то не-

¹ Лат. „Ad majorem Dei gloriam“: «К вящей славе Господней».

выразимая скорбь крылась в сердцах героя и героини, молча стоявших под голыми деревьями, а когда наступила минута прощания, то поцелуй, от которого на самом деле герой отказался, стал в стихотворении взаимным даром. Внизу страницы появились буквы L. D. S.²

Спрятав тетрадь, он зашел в спальню матери и долго разглядывал свое лицо в зеркале на туалете.

Длительный период досуга и свободы подходил к концу. Как-то вечером отец пришел домой с новостями, о которых разглагольствовал в течение всего ужина. Стивен ждал прихода отца; в этот день на ужин подали рубленую баранину, и он знал, что отец предложит ему макать хлеб в подливку. Но рубленое мясо ему опротивело: одно упоминание о Клонгозе покрыло его небо налетом отвращения.

— Я прямо налетел на него, — говорил мистер Дедалус в четвертый раз, — на самом углу площади.

— Так что, вероятно, — сказала миссис Дедалус, — он сможет устроить это. Я говорю о Бельведере.

— Еще бы, — сказал мистер Дедалус. — Я ведь говорил тебе, что он теперь заведует целой провинцией иезуитов.

² (Лат.) Laus Deo semper: Хвалите Господа во веки (обычная пометка на сочинениях в иезуитских школах).

— Мне никогда не улыбалась мысль о школе Христианских Братьев.³

— Да ну их в болото, этих Христианских Братьев! — сказал мистер Дедалус. — Нечего ему там якшаться со всякими вонючими Ваньками, да паршивыми Петьками! Нет, раз уж он начал учиться у иезуитов, пусть у них и остается. Они ему еще добрую службу сослужат, а, того и гляди, и положение в жизни обеспечат.

— Они богатый орден, правда, Саймон?

— Еще бы. Живут, как у Христа за пазухой. Ты ведь видела, как они едят в Клонгозе. Ей-Богу, откармливают их, как каплунов.

Мистер Дедалус пододвинул свою тарелку Стивену и предложил ему доесть порцию.

— Ну, Стивен, старый приятель, — сказал он, — погулял и будет. Придется тебе теперь, поплевав на руки, взяться за работу.

— Я уверена, что он будет хорошо учиться, — сказала миссис Дедалус, — особенно потому, что с ним будет Морис.

— Святой апостоле Павле! Совершенно забыл о Морисе, — сказал мистер Дедалус. — Эй, Морис, упрямая башка, поди-ка сюда. Знаешь, я ведь собираюсь тебя определить в школу, где тебя грамоте научат. К - о - т: кот. А я тебе подарю за пенни шикарный платок, чтобы нос утирать. Ну что, рад?

³ Христианские Братья — монашеский орден, посвященный воспитанию бедных детей.

Морис ухмыльнулся и посмотрел на отца, а потом на брата.

Мистер Дедалус вставил монокль и внимательно смерил взглядом сыновей. Стивен жевал хлеб, не отвечая на взгляд отца.

— Между прочим, — сказал, наконец, мистер Дедалус, — ректор или, вернее, правитель провинции, рассказал мне историю о тебе и об отце Долане. Он говорит, что ты — бессовестный жулик.

— Не может быть, Саймон!

— Нет, нет, — сказал мистер Дедалус. — Но он забавно рассказывает об этом случае. Понимаешь, мы с ним болтали о том, да о сем. Да, между прочим, он мне сказал, кто получит это место в городской управе. Знаешь, кто? Но я потом тебе скажу. Так вот, болтаем мы с ним по приятельски, и он меня спрашивает, все ли еще вот этот наш приятель носит очки, а потом рассказывает мне всю историю.

— Что же он сердится, Саймон?

— Да что ты? Напротив! «Молодец мальчишка», говорит он.

И мистер Дедалус начал подражать жеманному, гнусавому говору правителя провинции:

— «Мы с отцом Доланом — когда я за ужином рассказал об этом, — мы с отцом Доланом очень веселились. — Ведите себя поосторожнее, отец Долан, — сказал я ему, — а не то этот молодой человек, того и гляди, вызовет Вас наверх и даст Вам

дважды по девяти лопаток. — Очень мы веселились. Ха-ха-ха!»

Мистер Дедалус повернулся к жене и добавил своим естественным голосом:

— Видишь, как они там обращаются с мальчиками. Да! Нет бóльших дипломатов на свете, чем иезуиты!

И опять подражая голосу правителя провинцией, повторил:

— «Я им всем за обедом об этом рассказал, и мы с отцом Доланом очень веселились. Ха-ха-ха!»

**
*

Вечер школьного концерта под Духов день. Стивен глядит из окна гардеробной на лужайку, поперек которой развешаны на веревках китайские фонарики. Он наблюдает за тем, как гости сходят по ступенькам главного здания и проходят в театр. Устроители вечера в смокингах — бывшие ученики Бельведера — дежурят у входа в театр и церемонно вводят в него гостей. При внезапно вспыхнувшем свете одного из фонариков он узнает улыбающееся лицо священника.

Святые Дары убраны с престола, а первые ряды скамей отодвинуты, чтобы освободить амвон и пространство перед ним. У стен стоят целыми батареями гантели и дубинки. Гири сложены в углу, а посреди бесчисленных кучек из тапочек, фуфаяк и маек, запрятанных в неряшливые бурье

мешки, стоит широкая, обитая кожей гимнастическая кобыла, ожидающая, когда ее вынесут на сцену и поставят рядом с победившей командой к концу гимнастических упражнений.

Хотя Стивен, благодаря своей репутации сочинителя, — секретарь гимнастического отделения, он не участвует в первой половине программы; зато в пьесе, составляющей вторую часть, у него главная роль — шарж учителя. Ему дали эту роль из-за его высокого роста и солидного вида: он уже второй год в Бельведере и учится в предпоследнем классе.

Группа мальчиков помоложе, в белых трусах и майках, топает вниз со сцены и бежит через ризницу в часовню. И ризница и часовня битком набиты взволнованными учителями и мальчиками. Плотный, лысый унтер-офицер проверяет ногой трамплин перед кобылой. За ним следит с интересом худощавый молодой человек в долгополом пальто, которому предстоит демонстрировать сложную эквилибристику с дубинками: посеребрённые дубинки торчат из его глубоких боковых карманов. Слышится глухой стук деревянных гантелей: одна из команд готовится к выходу на сцену. А вот взволнованный учитель гимнастики уже гонит мальчиков через ризницу, как вереницу гусей; он машет крыльями сутаны и торопит отстающих. Небольшая группа неаполитанских крестьян репетирует свои па в углу часовни: одни сводят кругом руки над головами, другие размахивают наполненными бумажными фиалками кор-

зинками и делают книксены. В темном углу часовни, направо от престола, стоит на коленях полная, пожилая дама в широкой черной юбке. Когда она подымается, перед ней оказывается фигурка вся в розовом, в кудрявом золотом парике и старомодном соломенном чепчике, с намалеванными черными бровями и с нежно нарумяненными и напудренными щеками. Тихий шепот любопытства пронесется по часовне при появлении этой девичьей фигурки. Один из учителей, улыбаясь и кивая головой, идет в темный угол и, поклонившись дородной даме, спрашивает вкрадчивым голосом:

— Простите, миссис Таллон, это хорошенькая девица или куколка?

И нагнувшись, чтобы взглянуть на улыбающуюся, размалеванное лицо под чепчиком, восклицает:

— Скажите, пожалуйста! Да это маленький Берти Таллон!

Стивен, который смотрит в окно, слышит смех пожилой дамы и священника, а за спиной восхищенное бормотание мальчиков. Они теснятся, стараясь взглянуть на мальчугана, которому предстоит танцевать соло танец с чепчиком. У Стивена вырывается жест нетерпения. Он опускает жалюзи и, прыгнув со скамейки, выбегает из часовни.

Он выходит из здания школы и останавливается под навесом, окаймляющим сад. Из театра доносится гул аудитории и внезапные медные взры-

вы духового оркестра. Свет бьет вверх через стеклянную крышу и превращает театр в таинственный ковчег, стоящий на якорю посреди корпусов зданий и пришвартованный к набережной тонкими канатами с китайскими фонариками. Боковая дверь театра вдруг распаивается, и луч света несетя над лужайками. Из недр ковчега доносится внезапный взрыв музыки — прелюдия к вальсу; даже когда боковая дверь опять закрывается, слушатель все еще улавливает тихий ритм музыки. Настроение первых тактов, их нега и плавное течение пробуждают в нем то непередаваемое чувство, которое тревожило его весь день и вызвало недавний жест нетерпения. Тревога исходит из него теперь звуковой волной, а ковчег все плывет да плывет по потоку музыки, влача за собой в своем фарватере канаты с фонариками. Залп игрушечной артиллерии прерывает течение музыки: это рукоплескания, знаменующие выход на сцену команды с гантелями.

У дальнего края навеса, уже у самой улицы, Стивен различает в темноте розовую искорку, и когда он идет по направлению к ней, слышит слабый ароматный запах. В дверях стоят и курят два юноши; не доходя до них, он узнает по голосу Герона.

— Се, грядет благородный Дедалус, — раздастся высокий, гортанный голос. — Привет нашему верному другу!

Приветствие завершается тихим, невеселым

смешком. Герон церемонно кланяется и начинает тыкать по земле тросточкой.

— Вот и я, — говорит Стивен, останавливаясь и поглядывая то на Герона, то на его приятеля.

Последнего он не знает, но в темноте, при свете тлеющих сигарет, различает бледное, фатоватое лицо, по которому медленно плывет улыбка, высокую, закутанную в пальто фигуру, котелок. Герон, не представляя их друг другу, говорит:

— Я только что говорил моему приятелю Уоллису, как забавно было бы, если бы ты сегодня изобразил ректора! Получилось бы весьма курьезно.

Герон пытается было имитировать педантичный бас ректора и, рассмеявшись над своей неудачей, обращается к Стивену:

— Ну-ка, Дедалус, у тебя это первоклассно получается. Как это? «Иже не внимаяй цегкви, да будет он для тебя яко язычник и мытагь . . .»?

Имитации мешает сердитое восклицание Уоллиса, сигарета которого застряла в мундштуке:

— Чёртов мундштук! — говорит он, вынимая его изо рта, улыбаясь и ласково хмурясь. — Всегда в нем сигареты застревают. У вас тоже?

— Я не курю, — отвечает Стивен.

— Нет, куда ему? — говорит Герон. — Дедалус — примерный юноша. Не курит, не ходит на благотворительные базары, не ухаживает за девочками и, вообще, ни черта не делает — или, черт его знает, что делает.

Стивен качает головой, глядя на разгоряченное, подвижное, птицеподобное лицо своего соперника. Его часто забавляло, что у Винсента Герона не только имя, но и лицо птичье: ⁴ прядь светлых волос, лежащая у него на лбу взлохмаченным хохолком, узкий, костлявый лоб, тонкий, горбатый нос, выдающийся вперед промеж близко поставленных, слегка выпуклых глаз — светлых и невыразительных. Соперники были школьными приятелями: они сидели рядом в классе, молились рядом в часовне, болтали за завтраком. А так как в старшем классе учились сплошь бесталанные дубины, то за последний год Стивен и Герон стали по сути дела школьными старостами. Именно они шли вдвоем к ректору, выхлопывая лишней выходной или ходатайствуя за попавшего в беду товарища.

— Да, между прочим, — сказал вдруг Герон, — я видел, как прибыл твой родитель.

Улыбка исчезла с лица Стивена. Любой намек на отца — со стороны товарища или учителя — сразу нарушал его покой. Он робко ждал, что скажет Герон. Но Герон только многозначительно ткнул его локтем в бок и сказал:

— А все-таки ты хитрая сволочь.

— Это почему? — сказал Стивен.

— Ведь вот, с виду ты и мухи не обидишь, — сказал Герон. — Но все-таки ты хитрая сволочь.

⁴ Герон = цапля.

— Можно узнать, что ты имеешь в виду? — спросил Стивен вежливо.

— Пожалуйста, — ответил Герон. — Мы видели ее — правда, Уоллис? Чертовски хорошенькая девочка. А любопытна! «А в какой роли выступит Стивен, мистер Дедалус? А разве Стивен не будет петь, мистер Дедалус?» Твой родитель так глазел на нее через свой монокль, что, я думаю, старик тебя тоже раскусил. Да наплевать! Очень миленькая девочка, а, Уоллис?

— Недурна, — процедил Уоллис равнодушным тоном и опять вставил мундштук в рот.

Эти бестактные намеки при постороннем чрезвычайно раздражили Стивена. Для него в интересе и внимании, проявленных девочкой, не было ничего смешного. Он провел весь день, вспоминая прощание на ступеньках конки в Гарольдс-Кроссе, поток смутных чувств, который уносил его после прощания, и написанные им стихи. Весь день он мечтал о новой встрече с ней: он знал, что она придет на пьесу. Снова смутная тоска спирала его грудь, как тогда на елке; но на этот раз она не находила себе исхода в стихах. За два истекших с тех пор года отрочества он повзрослел и много узнал; и ему уже было не до стихов. Весь день поток сумрачной нежности бурлил в нем и, изнурая его, возвращался в свое русло темными струями и водоворотами, пока, наконец, шутка учителя и размалеванный мальчуган не вызвали в нем жеста нетерпения.

— Так что, придется тебе покаяться, — продолжал Герон; — на этот раз мы выведем тебя на чистую воду. Святоши ты при мне больше разыгрывать не сможешь, это как пить дать.

Он засмеялся своим тихим, невеселым смешком, опять нагнулся и слегка стегнул Стивена по икре тростью, как бы шуточно наказывая его.

Раздражение уже покинуло Стивена. Он не был ни польщен, ни смущен; он просто надеялся, что болтовня скоро кончится. Его уже почти не трогало то, что только что казалось ему дурашливой бестактностью; он знал, что тому, что творится в его душе, никакие слова повредить не могут. И лицо его отразило фальшивую улыбку его собеседника.

— Кайся, — повторил Герон и опять стегнул его тростью по икре.

Удар все еще был шуточным, но уже не таким легким, как первый. Стивен почувствовал, как зудела и вспыхнула его кожа — слегка и почти безболезненно. И смиренно наклонив голову, как бы подделываясь под шутовское настроение своего товарища, он начал читать молитву перед исповедью. Инцидент закончился благополучно: Герон и Уоллис снисходительно рассмеялись над кощунством.

Но покаяние исходило только из уст Стивена. Пока его губы бормотали знакомые слова, он вдруг — в то мгновение, когда заметил появившиеся в углах губ Герона жестокие складки, ощутил знакомый хлест тросточкой по ноге и услышал

знакомое увещательное: «Кайся!» — вспомнил другой случай.

Случай этот произошел в конце первого триестра, когда он учился в шестом классе. Восприимчивый по природе, он тогда все еще изнывал от невзгод неожиданно-негаданно свалившегося на него убогого образа жизни. Душа его все еще была встревожена и подавлена тоскливым образом Дублина. Он как бы очнулся после двух лет мечтаний и очутился посреди новой сцены, события и действующие лица которой глубоко его волновали, то обескураживая, то маня его, но неизменно наполняя тревогой и горечью. Весь досуг от школьных занятий он проводил за чтением писателей-бунтарей; их издевательства и резкие обороты речи возбуждали его. И он сразу же, в непереваренном виде, заносил на бумагу свои мысли.

Главным делом всей недели было для него тогда домашнее сочинение, и по вторникам, по дороге в школу, он пытался предугадать его участь по мелким происшествиям в пути — то избирая какого-нибудь прохожего впереди себя и ускоряя шаг, чтобы обогнать его, то тщательно избегая наступать на бороздки между тротуарными плитами, все время гадая, будет ли он на этой неделе первым по сочинению или нет.

Как-то раз во вторник серия его успехов была грубо прервана. Отец Тэйт, учитель английского, указал на него пальцем и резко сказал:

— У него в сочинении ересь.

Класс притих. Отец Тэйт, не спеша нарушить тишину, принялся утюжить свои ляжки одной рукой. Туго накрахмаленная его манишка поскрипывала. Стивен потупился. Стояла студеная весенняя погода, и его близорукие глаза все еще слезились. Он думал, что он срезался, что он выведен на чистую воду; он думал об убожестве своего разума, об убожестве их домашнего быта. Затылок его ощущал шершавый борт вывернутого наизнанку, поношенного воротничка.

Короткий, громкий смешок отца Тэйта успокоил класс.

— Может быть, тебе невдомек? — сказал он.

— Что именно? — спросил Стивен.

Отец Тэйт отдернул руку от ляжки и развернул тетрадь.

— Вот здесь. Речь идет о Творце и о человеческой душе. М-м-м . . . — м-м-м . . . — м-м-м . . . Ага! Вот: «Не будучи в состоянии когда-либо приблизиться». Это ересь.

Стивен пробормотал:

— Я хотел сказать: «Не будучи в состоянии когда-либо полностью достичь».

Это была капитуляция. Умиротворенный отец Тэйт закрыл тетрадь и вручил ему ее со словами:

— Ах так! «. . . когда-либо полностью достичь».

Это другое дело.

Но класс так быстро не примирился. Хотя после урока никто с ним об этом случае не говорил, он чуял вокруг себя неопределенную атмосферу злорадства.

Несколько дней спустя после этого публичного выговора он шел по дороге на Драмкондра и вдруг услышал возглас:

— Стой!

Он обернулся и увидел в сумерках идущих ему навстречу трех своих одноклассников. Окликнул его Герон, который, шагая между двумя адъютантами, отбивал такт легкой тросточкой.

Его приятель Боланд, ухмыляясь, маршировал рядом с ним, а за ними, отставая на несколько шагов, пыхтел Нэш, мотая своей большой рыжей головой.

Как только мальчики завернули на Клонлифф-Род, они завели разговор о книгах и о писателях, рассказывая, какие книги они прочли, и какие книги стоят у их отцов на книжных полках. Стивен прислушивался с недоумением: Боланд был балбес, а Нэш — самый отъявленный лентяй. И действительно, поговорив о любимых писателях, Нэш заявил, что самый великий писатель это — капитан Марриэт.⁵

— Ерунда! — сказал Герон. — Вот спросим Дедалуса. Кто, по твоему, самый великий писатель, Дедалус?

Стивен заметил издевательский тон вопроса и сказал:

— Из прозаиков?

— Да.

⁵ Капитан Фредерик Марриэт (1792—1848) второстепенный писатель, автор популярных повестей из морской жизни.

— По моему, Ньюман.

— Кардинал Ньюман? ⁶ — спросил Боланд.

— Да, — ответил Стивен.

Улыбка расплылась по веснущатому лицу Нэша; он повернулся к Стивену и сказал:

— И тебе нравится кардинал Ньюман, Дедалус?

— Что ж, многие говорят, что у Ньюмана лучший стиль в прозе, — пояснил Герон своим приятелям. — Но, конечно, он не поэт.

— А кто самый лучший поэт, Герон? — спросил Боланд.

— Конечно, лорд Теннисон, ⁷ — ответил Герон.

— Ясно, — сказал Нэш. — У нас дома есть книга со всеми его стихами.

Забыв свои тайные клятвы, Стивен воскликнул:

— Теннисон — поэт? Он всего-навсего рифмоплет!

— А, брось! — сказал Герон. — Все знают, что Теннисон — величайший поэт.

— А кто, по твоему, величайший поэт? — спросил Боланд, толкая соседа локтем.

— Само собой разумеется, Байрон, — ответил Стивен.

⁶ Джон Генри Ньюман (1801—1890) — англиканский священник, в 1842 г. перешедший в католичество, впоследствии кардинал, замечательный богослов и писатель, выдающийся стилист.

⁷ Альфред Теннисон (1809—1892), известный поэт; писатели поколения Джойса его поэзией не увлекались.

По сигналу Герона все трое саркастически расхохотались.

— Над чем вы смеетесь? — спросил Стивен.

— Над тобой, — сказал Герон. — Байрон — величайший поэт! Он поэт для мужиков.

— Замечательный наверно поэт, — сказал Боланд.

— Ты заткни свой фонтан, — сказал Стивен, переходя в контратаку. — Все, что ты знаешь о поэзии, это то, что ты написал на стене в уборной, и за что тебя чуть не выпороли.

Боланд, ходили слухи, действительно написал на стене в уборной двоестиишие об одном однокласснике, который иногда ездил домой верхом на пони:

Тайсон ехал верхом в Иерусалим,
Свалился и ушиб свой Задосалим.

Этот выпад заставил замолчать обоих сподвижников Герона, но сам Герон не унимался:

— Во всяком случае, Байрон был еретик и безнравственный человек.

— А мне это все равно! — воскликнул Стивен.

— Тебе все равно, еретик ли он или нет? — сказал Нэш.

— Да что ты в этом понимаешь?! — крикнул Стивен. — Ты ни разу в жизни не прочел ни одной строчки стихов. И Боланд тоже!

— Я только знаю, что Байрон был дурной человек, — сказал Боланд.

— Хватайте еретика! — крикнул Герон.

Через мгновение Стивен оказался у них в плену.

— Тэйт заставил тебя на днях пойти на попятный, — продолжал Герон, — из-за ереси в твоём сочинении.

— Я ему завтра все расскажу, — сказал Боланд.

— Ты? — сказал Стивен. — Да ты и пикнуть не посмеешь.

— Ты что думаешь — со страху?

— Еще бы!

— Веди себя прилично! — крикнул Герон и стегнул Стивена по ногам тросточкой.

Это послужило сигналом для общей атаки. Нэш скрутил ему сзади руки, а Боланд схватил длинную кочерыжку с мостовой. Хотя Стивен отбивался и брыкался под ударами трости и кочерыжки, он все же был прижат к изгороди из колючей проволоки.

— Кайся! Скажи, что Байрон никуда не годится.

— Нет!

— Кайся!

— Нет!

— Кайся!

— Нет! Нет!

В конце концов, после яростной борьбы он выкрутился. Его мучители двинулись по направлению к Джонсис-Роуд, гогоча и издеваясь над ним, а он, полуслепой от слез, заковылял в обратную сторону, бешено сжимая кулаки и рыдая.

И пока он теперь читал молитву перед исповедью под снисходительный смешок своих слушателей, пока отдельные сцены этого недоброго эпизода четко и быстро пролетали через его сознание, он спрашивал себя, почему он не питает никакого злопамятства к своим мучителям. Он помнил всю их трусость и жестокость, но это воспоминание не вызывало в нем никакого гнева. Поэтому ему казались надуманными все описания страстной любви или страстной ненависти в книгах. Даже тогда, в тот самый вечер, когда он, спотыкаясь, брел домой по Джонсис-Роуд, он чувствовал, как какая-то неведомая сила освобождает его от этого мгновенно вспыхнувшего гнева, как отделяется созревший плод от своей мягкой кожуры.

Он все еще стоял со своими собеседниками под навесом, лениво прислушиваясь к их болтовне и ко взрывам аплодисментов в театре. Она сидела там, в зрительном зале, быть может, ожидая его выхода на сцену. Он тщетно пытался восстановить в памяти ее черты. Он только помнил, как она накинула на голову шаль в форме капюшона, и как ее черные глаза зазывали и томили его. Думает ли она о нем так же, как он о ней? В темноте, тайком от других, он дотронулся кончиками пальцев одной руки до ладони другой, еле-еле касаясь ее. Но прикосновение ее пальцев было и нежнее и крепче. И вдруг память об этом прикосновении невидимой волной пронеслась по его мозгу и телу.

К их навесу подбежал мальчик. Он запыхался от волнения.

— Дедалус! — крикнул он. Дойл кипятится. Иди сейчас же переодеваться для выступления. Скорей, скорей!

— Он придет тогда, — сказал Герон, высокомерно растягивая слова, — когда ему заблагорассудится.

Мальчик повернулся к Герону и повторил:

— Но Дойл страшно кипятится.

— Передай Дойлу мой привет и скажи ему, что он может убраться к чертовой матери, — ответил Герон.

— Ничего не поделаешь, надо идти, — сказал Стивен, которого такие тонкости этикета мало интересовали.

— Я бы на твоём месте не пошел, — сказал Герон, — ни за что. Это не дело так вызывать старшего ученика. Подумаешь: «кипятится». Хватит с него и того, что ты участвуешь в его дурацкой пьесе.

Этот дух задорного товарищества, который Стивен последнее время замечал за своим соперником, не умалял его собственной привычки к покорному повиновению. Он не доверял бунтарству и сомневался в искренности такого товарищества, которое казалось ему очень ненадежной подготовкой ко взрослой жизни. Затронутый только что вопрос о чести был ему совершенно безразличен — как все вопросы такого рода. Пока его душа, то и дело останавливаясь в нерешительности, гонялась за невещественными призраками, он слышал то голос отца, призывавший его прежде всего быть

джентльменом, то голоса наставников, призывавшие его прежде всего быть добрым католиком. Эти голоса стали для него теперь пустым звуком. Когда открылся гимнастический зал, новый голос стал настаивать, что он обязан быть сильным, храбрым и здоровым, а когда в школу начал проникать дух национального возрождения, то еще один голос начал уговаривать его оставаться верным стране и помочь ей возродить родной язык и традиции. За стенами же школы — думал он — голос внешнего мира начнет убеждать его, что он обязан вызволить отца из беды. А голоса одноклассников твердили, что прежде всего он должен быть добрым товарищем, выручать других из беды и хлопотать о лишних выходных днях. Именно гул всех этих пустопорожних голосов заставлял его нерешительно отказываться от погони за призраками. Он прислушивался к ним только изредка и счастлив был только вдали от них, вне их достижимости, наедине с самим собой или со своими призрачными друзьями.

В ризнице ражий иезуит и пожилой человек в потрепанном синем костюме рылись в ящике с красками и цветным мелом. Мальчики, которые уже заgrimировались, бродили взад и вперед или стояли на месте, робко потрагивая пальцами свои размазанные лица. Посреди ризницы стоял — переминаясь с носков на каблуки и с каблуков на носки — молодой приезжий иезуит. Руки его были засунуты в боковые карманы. Небольшая голова, покрытая блестящими рыжими кудрями, и

чисто выбритое лицо гармонировали с незапятнанной чистотой его сутаны и начищенными до блеска штиблетами.

Наблюдая за этой качающейся фигурой и пытаясь разгадать смысл насмешливой улыбки священника, он вспомнил слова отца, сказанные им незадолго до отъезда в Клонгоз: «Иезуита всегда можно узнать по покрою его одеяния». И ему показалось, что он видит сходство между характером отца и характером этого улыбающегося, фатоватого священника; он почуял какое-то осквернение иерейского сана и самой ризницы, обычная тишина которой теперь нарушалась громким говором и шутками, а воздух которой едко пах светильным газом и гримом.

Пока пожилой гримировщик наводил морщины на его лоб и мазал его щеки черной и синей краской, Стивен рассеянно прислушивался к голосу молодого, ражего иезуита, который наказывал ему говорить погромче и с выражением. Он слышал, как оркестр играл «Лилию из Килларни», и знал, что через несколько мгновений взовьется занавес. Нервности он не испытывал, но мысль об его роли оскорбляла его. Воспоминание о некоторых пассажах внезапно нагнало краску стыда на его загримированные щеки. Но вот ему почудилось, что ее серьезные, манящие глаза следят за ним из зрительного зала, и эта мысль сразу смелá его сомнения и укрепила волю, как будто ему дали напрокат другой характер. Атмосфера возбуждения и молодости захватила его и преобра-

зила его капризную мнительность. На одно редчайшее мгновение он действительно пережил упоение юности. И, ожидая выхода у края сцены, он присоединился к общему веселью, между тем как два здоровенных священника резкими рывками уже поднимали занавес.

Через несколько мгновений он очутился на ярко освещенной газом сцене посреди смутно воспринимаемой им бутафории, играя свою роль перед бесчисленными лицами в открывшейся перед ним пустоте. Его поразило, что пьеса, на репетициях казавшаяся ему бессвязной и безжизненной, вдруг зажила собственной жизнью. Ему казалось, что она сама себя играет, а что он и другие актеры только помогают ей жить. Когда после заключительной сцены опустился занавес, он услышал, что пустота заполнилась аплодисментами, и увидел через прорез в боковой кулисе, что сплошная масса, перед которой он играл, волшебным образом растворялась, что пустота, насыщенная лицами, ломалась и распадалась на оживленные группы.

Он быстро сбежал со сцены, отделался от своего бутафорского наряда и прошел через часовню в школьный сад. Теперь, после окончания пьесы, его нервы жадно требовали еще одного переживания. Он бежал, как бы догоняя его. Двери театра были распахнуты настежь, зрительный зал опустел. На проволоках, которые, как ему раньше казалось, поддерживали театральный ковчег, в ночном ветерке болталось, невесело помигивая, не-

сколько фонариков. Он торопливо взбежал вверх по ступенькам, ведущим из сада, опасаясь, как бы добыча не ускользнула от него, протолкал себе дорогу через толпу в фойе и пробежал мимо двух иезуитов, которые, стоя у выхода, прощались с гостями. Он нервно проталкивался вперед, еще утрируя свою поспешность и чувствуя улыбки и удивленные взгляды, которые сопутствовали его напудренной голове.

Взбежав по ступенькам, он увидел у первого же фонаря свою семью. Каждая фигура в этой группе ему была хорошо знакома: это он понял с первого взгляда. В ярости он опять сбежал вниз.

— Мне нужно на Джорджес-Стрит, — крикнул он на ходу отцу, — я буду дома после вас.

Не ожидая вопросов отца, он пересек улицу и стремглав помчался вниз с горы, почти не сознавая, где он. Самолюбие, надежда и похоть лежали на дне его сердца, как растоптанные пахучие травы, от которых у него кружилась голова. Он бежал под гору, посреди гула внезапно поднявшихся испарений оскорбленного самолюбия, разбитой надежды и неудовлетворенной похоти. Они подымались к его измученным глазам густыми, одурявшими его клубами, пока наконец не пронеслись над ним, и пока воздух опять не очистился и не охладел.

Пелена все еще застилала ему глаза, но они больше не горели. Сила, сродни той, что так часто освобождала его от ярости и обиды, приостановила его бег. Он стоял неподвижно, уставившись на

мрачный фасад морга на углу темного, мощного булыжником переулка. Он увидел вывеску с надписью «Лоттс» на углу и медленно вдохнул тяжелый, смрадный воздух.

«Конская моча и гнилая солома, — подумал он. — Полезный запах. Он утомит мое сердце. Вот. Сердце спокойно. Теперь можно домой».

**
*

Стивен вновь сидел рядом с отцом в углу купе в Кингсбридже. Они ехали ночным почтовым в Корк. Когда локомотив, выпуская пар, вышел из вокзала, он вспомнил свое ребячливое изумление много, много лет тому назад; вспомнил он и свой первый день в Клонгозе. Теперь его уже ничто не удивляло. Он видел, как ускользали темнеющие поля, как каждые четыре секунды проносились мимо окна немые телеграфные столбы; видел, как блестящие огнями полустанки, на каждом из которых маячило по несколько молчаливых часовых, отшвыривались назад поездом, как горящие зерна, разбрасываемые бегуном.

Он безучастно слушал отцовские рассказы о Корке и о происшествиях, пережитых им в молодости, рассказы, прерываемые вздохами и глотками из фляжки, как только в них появлялся образ какого-нибудь умершего приятеля, или как только рассказчик внезапно вспоминал цель нынешнего путешествия. Стивен слушал, но жалости

не испытывал. Образы покойников были ему чуждыми, кроме образа дяди Чарльза; да и тот за последнее время начал улетучиваться из его памяти. Он знал, однако, что имущество отца идет с молотка, и понимал, что, обездоливая и его, Стивена, мир грубо издевается над его мечтами.

У Мэриборо он заснул. Когда он проснулся, поезд уже был за Маллоу; отец спал, растянувшись на другом сидении. Холодный свет зари лежал над ландшафтом, над безлюдными полями, над наглухо запертыми домиками. Ночной ужас охватывал его, когда он смотрел на глухую местность, прислушиваясь в то же время к глубоким вздохам и внезапным движениям отца, метавшегося во сне. Близость других, невидимых ему спящих наводила на него непонятный страх, как будто они могли причинить ему зло. Он молился, чтобы поскорее наступил день. Молитва его, не обращенная ни к Богу, ни к святому, началась с дрожи, когда холодный утренний ветерок проник к его ногам через щель вагонной дверцы, и кончилась потоком бессмысленных слов, которые он подладил к устойчивому ритму поезда; молчаливо, каждые четыре секунды, телеграфные столбы, как тактовые черты, отмечали в музыке ритм галопа. Эта бешеная музыка рассеяла его страх. Прислонившись к оконной раме, он опять опустил веки.

Все тем же ранним утром они сели в двуколку и поехали в гостиницу Виктория, где Стивен выспался. Яркий, теплый солнечный свет лился через окно; слышался гул городского движения.

Отец стоял перед туалетным столиком, внимательно рассматривая свое лицо, шевелюру и усы, вытягивая шею над кувшином или отводя голову вбок, чтобы лучше взглядеться. Он тихо мурлыкал песенку с чудным акцентом и фразировкой:

Молодцы женятся
Сдуру, да смолоду;
С милою, с душенькой
Мне не житье.

Коли не вылечить,
Надо бы вырезать;
Еду в Америку —
За океан.

Ой, раскрасавица,
Ой, молодешенька,
Та же ты водочка
В чарке моей.

Все мы состаримся,
Ты опротивеешь:
Все испаряется,
Будто роса.

Сознание близости теплого, залитого солнцем города за окном и нежные трели, которыми отцовский голос, как фестонами, украшал чудную, меланхолично затейливую песенку, рассеяли ночную одурь Стивена. Он быстро встал, оделся, а когда песенка кончилась, сказал:

— Вот это гораздо лучше твоих «Приидите, поклонимся».

— Серьезно? — спросил мистер Дедалус.

— Мне она нравится, — сказал Стивен.

— Да, старинный напев, — сказал мистер Дедалус, закручивая кончики усов. — Жаль, что ты не слышал, как ее певал Мик Лэйси! Бедняга Мик Лэйси! Каких он в ней только коленец и выкрутасов не пускал! У меня этого умения нет. А как он умел петь: «Приидите, поклонимся».

К завтраку мистер Дедалус заказал жареную колбасу; он стал расспрашивать официанта о городских новостях. Но разговор шел большей частью невпопад: когда упоминалась какая-нибудь фамилия, официант говорил об ее нынешнем носителе, а мистер Дедалус — об его отце, а то и о деде.

— Ну, надеюсь, что хоть Королевский колледж они не перенесли на новое место. Хочу показать его моему молодцу.

Вдоль Мардайка деревья стояли в цвету. Они бошли в ворота колледжа, и болтливый привратник повел их через внутренний дворик. Но их шествие по гравию то и дело, каждые десять-пятнадцать шагов, прерывалось каким-нибудь новым ответом привратника.

— Да что ты? Значит старый пузан помер?

— Да, сэр. Помер, сэр.

Во время этих остановок Стивен неловко топтался позади собеседников. Тема их разговора ему успела наскучить, и он с нетерпением ждал продолжения медленного шествия. Когда они, наконец, пересекли дворик, его нетерпение приняло

лихорадочный характер. Он не мог понять, как отец — хитрый и недоверчивый отец! — не мог раскусить напускного раболепства привратника. Живой южный говор, который забавлял его все утро, теперь начал раздражать его слух.

Они прошли в анатомический театр, где мистер Дедалус с помощью привратника начал осматривать пюпитры в поисках своих инициалов. Стивен оставался на заднем плане; его все больше удручали полумрак, тишина и атмосфера вялой и формальной учебы. На одном из пюпитров он увидел вырезанное несколько раз на темном, покрытом пятнами дереве слово *foetus*.⁸ Эта внезапно бросившаяся ему в глаза надпись взбудоражила его; ему почудилось, что он видит вокруг себя студентов колледжа и пытается ускользнуть от их близости. Их быт, воссоздать который были бессильны слова отца, вырос перед ним из одного единственного вырезанного на пюпитре слова. Широкоплечий усатый студент с серьезным видом вырезал слова перочинным ножом. Другие студенты стояли или сидели рядом с ним, подсмеиваясь над его работой. Один из них толкнул его локтем. Грузный студент нахмурился и обернулся. На нем был широкий серый костюм и коричневые сапоги.

Стивена окликнули. Он быстро сбежал вниз по ступенькам, чтобы отвязаться от видения, и, разглядывая инициалы отца, скрыл свое побагровевшее лицо.

⁸ (Лат.) Зародыш.

Но слово и видение продолжали мелькать перед ним, пока он шел обратно через двор к воротам колледжа. Его ужасало, что он напал во внешнем мире на след того, что до тех пор считал предельно личным грубо-животным недугом. Его память сразу же наполнилась роем его обычных чудовищных мечтаний. Они тоже выросли перед ним — с внезапной яростью — из одних только слов. В свое время он сразу же поддался им и позволил им проникнуть и осквернить его сознание; он только диву давался, откуда, из какого притона чудовищных образов, они брались. Слабовольный и смиренный в отношениях с другими, он отвергал и презирал себя самого, когда они его одолевали.

— Вот она где, эта бакалея! — воскликнул мистер Дедалус. — Я тебе не раз рассказывал о ней, помнишь, Стивен? Частенько мы туда наведывались всей нашей компанией: Гарри Пирд, и малыш Джэк Маунтэн, и Боб Дайэс, и наш французик Морис Мориарти, и Том О'Грэди, о котором я говорил сегодня утром, и Джон Корбет, и ласковый коротышка Джонни Киверс.

Листья на деревьях вдоль Мардайка шевелились и шептались в солнечном свете. Прошла команда игроков в крикет — оживленные молодые люди в фланелевых брюках и куртках; один из них нес продолговатую зеленую корзинку. В тихом переулке немецкий оркестр из пяти человек в полинявших мундирах играл на помятых мед-

ных инструментах перед аудиторией оборванцев и ленивых рассыльных. Горничная в белом чепчике и переднике поливала ящик с цветами на подоконнике, блестящем в теплом сиянии, как плита известняка. Из соседнего, открытого настежь окна доносились звуки рояля: кто-то играл там гамму за гаммой.

Стивен шел рядом с отцом, слушая давным давно ему известные рассказы и слыша имена разбросанных по всему свету или покойных ныне кутил, сотоварищей отцовской юности. Легкое отвлечение зашептало в его сердце. Он вспомнил свое собственное двусмысленное положение в Бельведере — положение стипендиата-старшеклассника, не верившего в свой собственный авторитет, самолюбивого, обидчивого, мнительного, борющегося против убожества своего быта и против распутства своего сознания. Буквы, вырезанные на дереве, продолжали глазеть на него, как бы издаваясь над его телесной хилостью, над его бесплодными увлечениями, и заставляя его ненавидеть себя за его безумные, мерзкие оргии. Слюна у него в гортани стала горькой и отвратительной на вкус, легкая тошнота подкатила к мозгу, так что несколько мгновений он шел вслепую, закрыв глаза.

Он все еще слышал голос отца: «Когда ты пойдешь своей дорогой — а это может случиться не сегодня-завтра, — помни одно: что бы ты ни делал, водись с джентльменами. Когда я был молодым, мне — могу тебя заверить — жилось при-

вольно. Но я водился с порядочными, воспитанными людьми. У каждого из нас были свои достоинства: у кого хороший голос, у кого превосходный комический репертуар, кто был превоклассным актером, кто — хорошим гребцом или теннисистом, кто — великолепным рассказчиком. Компания у нас была крепкая, погуляли мы вдвоём, и нас от этого не ubyло. Но, Стивен, все мы были джентльменами и вместе с тем настоящими ирландскими патриотами. И вот с молодыми людьми такого круга и тебе следовало бы водиться, — с приятелями из хорошего общества. Я с тобой подружески разговариваю, Стивен. Я считаю, что сын не должен бояться отца. Нет, я с тобой обращаюсь так, как твой дед обращался со мной. Мы с ним были как братья, а не как сын с отцом. Никогда не забуду дня, когда он меня поймал на курении. Как-то я стоял в конце Саут-Террас с другими молокососами; мы всунули себе трубки в зубы и чувствовали себя этакими непобедимыми удалцами. И вдруг мимо нас проходит мой старик. Ни слова он не сказал, даже не остановился, но на следующий день, в воскресенье, вышли мы с ним на прогулку, и на обратном пути вынимает он свой портсигар и говорит: 'Между прочим, Саймон, я и не знал, что ты куришь'. Что-то вроде этого. Ну, я, понятно, попытался выкрутиться. 'Если хочешь покурить, — говорит он, — попробуй вот эту сигарку. Мне ее один американский шкипер преподнес в Квинстауне'».

И Стивен услышал, как голос отца надломился и превратился в полусмех, полурыдание.

— Он был первым красавцем в Корке в свое время. Женщины на улицах останавливались и смотрели на него. Ей-Богу.

Стивен услышал, как рыдание перехватило горло отца; подчиняясь нервному импульсу, он приоткрыл глаза. Солнечный свет, внезапно поразивший его зрение, превратил небо и облака в фантастический мир мрачных глыб с лежащими промеж ними озероподобными темно-розовыми провалами. Даже мозг его был болен и бессилён. Он еле-еле разбирал буквы на вывесках. Своим чудовищным образом жизни он, казалось, отрёшил себя от реальности. Вне ни́что не трогало его, ни́что не взывало к нему, если он не слышал отзвука неистовых воплей, раздававшихся внутри него. Призывы природы или людей — призывы лета, жизнерадостности, товарищества — оставались безответными. Голос отца изнурял и удручал его. Он еле-еле разбирался в собственных мыслях и медленно повторял про себя:

«Я — Стивен Дедалус. Я иду рядом с моим отцом, которого зовут Саймон Дедалус. Мы — в Корке, в Ирландии. Корк — это город. Мы остановились в номере гостиницы 'Виктория'. Виктория и Стивен и Саймон. Саймон и Стивен и Виктория: Имена».

Внезапно потускнели воспоминания о детстве. Он попытался восстановить в памяти самые его яркие моменты, но безуспешно. Он помнил толь-

ко имена: Данти, Парнель, Клэйн, Клонгоз. Маленького мальчика учила географии старуха с двумя платяными щетками в шкафу. Потом он уехал в интернат, где впервые причастился, ел хворост прямо из своей крикетной кепки, следил за отблесками огня, плясавшими на стене в маленькой лазаретной палате, мечтал о том, как он умрет, как ректор в черно-золотом облачении отслужит заупокойную обедню по нем, как его похоронят на маленьком приходском кладбище у главной, обсаженной липами аллеи. Но тогда он не умер. Умер Парнель. В часовне не было ни заупокойной обедни, ни крестного хода. Умереть он не умер, но выцвел, как негатив на солнце. Он заблудился или ненароком переступил за грань жизни, ибо он больше нэ жил. Как странно думать, что он ушел из жизни именно так — не умерев, а просто слиняв на солнце и потерявшись где-то во вселенной. Странно было видеть себя самого в детстве — мальчуганом в сером костюме с кушаком, с руками, засунутыми в боковые карманы, и со штанами, заткнутыми в чулки у колен с помощью резиновых подвязок.

Вечером того дня, когда имущество пошло с молотка, Стивен покорно плелся за своим отцом по всему городу — из одного кабака в другой. Базарным торговцам, лакеям и буфетчицам, нищим, просившим у него пятак — всем им мистер Дедалус рассказывал одно и то же: он сам родом из Корка, тридцать лет в Дублине тщетно старается отделаться от коркского акцента, а вот этот субъ-

ект рядом с ним — его старший сын, дублинский шалопаи.

Они вышли рано утром из кафе Ньюкомба, где чашка мистера Дедалуса громко дребезжала на блюде, а Стивен пытался скрыть от посторонних этот позорный признак отцовского ночного пьянства, шумно передвигая свой стул или кашляя. Одно унижение следовало за другим: притворные улыбки базарных торговцев, ломанье и усмешки буфетчиц, с которыми заигрывал отец, комплименты и поощрительные слова со стороны отцовских приятелей. Они говорили ему, что Стивен — вылитый дед, и мистер Дедалус соглашался и говорил, что, пожалуй, да — он его уродливая копия. Они находили остатки коркского говора в его речи и вынуждали его признать, что река Ли куда лучше Лиффи. Один из них, проверяя его латынь, заставил его перевести несколько кратких отрывков из Дилекта⁹ и спросил его, как вернее сказать: „Tempora mutantur nos et mutamur in illis“ или „Tempora mutantur et nos mutamur in illis“.¹⁰ Другой, бойкий старичек, которого мистер Дедалус называл Джонни Кэшман, поверг его в совершенное замешательство, спросив его, какие девушки лучше — дублинские или коркские.

— Он не такого склада, — сказал мистер Дедалус. — Оставь его в покое. Он — благоразумный и тихий юноша и о такой белиберде даже не задумывается.

⁹ Собрание латинских изречений.

¹⁰ Меняются времена, и с ними меняемся мы. (Лат.).

— Ну, тогда он не сын своего отца, — сказал старичок.

— Может быть, может быть, — сказал самодовольно мистер Дедалус.

— Твой отец, — сказал старичок Стивену, — был самым отчаянным ловеласом в Корке в свое время. Ты это знаешь?

Стивен потупился, уставившись в кафельный пол кабачка.

— Не наводи его на вредные мысли, — сказал мистер Дедалус, — предоставь его Творцу.

— Я его ни на какие мысли не навожу. Мне ему впору дедом быть. Я ведь дед, — сказал он Стивену. — Тебе это известно?

— Да? — спросил Стивен.

— Еще бы, — сказал старичок. — У меня два здоровенных внука за городом, в Сандис Велл. — Вот видишь! Сколько мне лет, по твоему? А ведь я помню, как твой дед в красном фраке выезжал на охоту. Это еще было до того, как ты родился.

— Или даже был задуман, — сказал мистер Дедалус.

— Да, да, — повторил старичок. — Это еще что! Я помню твоего прадеда, старого Джона Стивена Дедалуса: вот был порох! Видишь! Вот тебе память!

— Это значит три — нет, четыре поколения, — сказал кто-то из компании. — Что ж, Джонни Кэшман, тебе наверно скоро сто лет стукнет.

— Сказать тебе по-правде, — сказал старичок, — мне только что исполнилось двадцать семь.

— Ах, Джонни, — сказал мистер Дедалус, — возраст — дело самочувствия. Эй, Тим или там Том или как тебя, дай нам всем еще того же. Ей-Богу, мне сейчас не больше восемнадцати. Вот взгляните на моего сынка; он вдвое моложе меня, а я с ним потягаюсь в любое время.

— Ну, ну, не завирайся, Дедалус! Тебе уж пора на покой, — сказал третий собутыльник.

— Честное слово! — заверил его мистер Дедалус. — Я и тенором спою лучше, и через высокие ворота перемахну легче, и за гончими побегаю быстрее него — вот как тридцать лет тому назад, когда я тяглся с молодым Керри и одолел его.

— Но вот *тут* он тебя одолеет, — сказал старичок, постукивая себя по лбу и подымая стакан.

— Я одного хочу — чтобы он был таким же хорошим человеком, как его отец. Вот и всё, — сказал мистер Дедалус.

— Ну, тогда он сойдет, — сказал старичок.

— Слава Тебе, Боже наш, — сказал мистер Дедалус, — жили мы долго, Джонни, а зла сделали мало.

— Но сколько мы с тобой добра сделали, — сказал старичок серьезно. — Слава Тебе, Господи, жили мы долго и добра сделали немало.

И Стивен увидел, как отец и его собутыльники подняли свои стаканы и осушили их в память прошлого. Глубочайшая пропасть, обусловленная судьбой или характером, лежала между ним и ими. Его разуменье казалось ему несравненно старше их разуменья; оно холодно сияло над их

спорами, радостями и горестями. Так сияет месяц над молодой по сравнению с ним землей. Жизнь и молодость не шевелились в нем, как в них. Он никогда не знал ни радости товарищества, ни грубоватого упоения мужской силой, ни сыновней почтительности. В его душе не шевелилось ничего, кроме холодной, жестокой и безлюбивой похоти. Детство его умерло или затерялось, а с ним пропала и душа, способная на простые радости, и он блуждал по жизни, как бледная, бесплотная луна по небу.

На небеса восходя и взирая на землю,
Странствуя долго без друга . . .

Он повторял про себя эти строки Шелли. Чередование в них жалкой человеческой незадачливости и гигантских сверхчеловеческих круговоротов страшило его, и он забыл о своей собственной человеческой, незадачливой беде.

**
*

Мать, брат и один из двоюродных братьев Стивена остались ждать их на углу тихого Фостер-Плэйса, покамест он с отцом поднимались по лестнице и шли вдоль колоннады, где маршировал часовой. Когда они прошли в главный зал и остановились у окошечка, Стивен вынул из кармана два кредитных письма на имя директора Ирландского банка — одно на тридцать, другое на три фунта; эти две суммы, причитавшиеся ему как сти-

пендия и как премия за сочинение, были безотлагательно выплачены ему кассиром — соответственно в банкнотах и в звонкой монете. Он сунул деньги в карман с деланным равнодушием и позволил добродушному кассиру, с которым болтал отец, пожать ему руку через широкую конторку и пожелать ему блестящей карьеры в будущем. Он нетерпеливо прислушивался к их болтовне; ему не стоялось на месте. Но кассир, все еще оттягивая обслуживание других клиентов, говорил, что наступили новые времена, и что молодым людям следует давать лучшее образование, которое только можно купить за деньги. Мистер Дедалус задержался в зале, разглядывая стены и потолок, и рассказывал торопившему его Стивену, что они находятся теперь в здании старого ирландского парламента.

— Боже святой, — сказал он благочестиво, — подумать только о людях того времени, Стивен! Гели Гетчинсон, и Флад, и Генри Греттан, и Чарльз Кендал Буш — и сравнить их с нынешними вельможами, вождями ирландского народа и здесь, и за границей! Клянусь тебе всем святым, они с ними отказались бы лежать рядом на кладбище. Нет, Стивен, приятель ты мой, это — дистанция огромного размера!

Резкий октябрьский ветер дул вдоль стен банка. У трех фигур, стоявших на обочине грязной мостовой, были впалые щеки и слезящиеся глаза. Стивен взглянул на свою бедно одетую мать и

вспомнил, что на днях видел в витрине Барнардо манто стоимостью в двадцать гиней.

— Ну вот, дело в шляпе, — сказал мистер Дедалус.

— Следовало бы поужинать, — сказал Стивен.
— Где?

— Поужинать? — сказал мистер Дедалус. — А ведь правда, а?

— Где-нибудь, где не слишком дорого, — сказала миссис Дедалус.

— У Андердона?

— Да, где поскромнее.

— Пойдемте, — сказал Стивен быстро. — Дело не в дороговизне.

Он шел впереди них короткими нервными шажками, улыбаясь. Они старались угнаться за ним, тоже улыбаясь при виде его рвеня.

— Эй, молодой человек, потише, потише! — сказал отец. — У нас ведь не забег на восемьсот метров.

За краткий период транжирства деньги быстро утекли из-под пальцев Стивена. Огромные пакеты с колониальными товарами, сладостями и сушеными фруктами прибывали из города. Каждый день он составлял меню и каждый вечер водил трех-четырёх членов семьи в театр, на «Ингомара» или на «Даму из Лиона». В карманах пальто у него лежали плитки шоколада, а карманы брюк были набиты пригоршнями серебряных и медных монет. Он одаривал всех, заново отделывал свою комнату, принимал решения, перестав-

лял свои книги вверх и вниз по полкам, изучал прејскуранты, составил что-то вроде конституции для семейства, в рамках которой каждый его член получал особую должность, и навязывал ссуды радостно изумленным братьям и сестрам ради удовольствия выписывать квитанции и подсчитывать проценты на выданные им суммы. А когда нечего было делать, он катался на конке взад и вперед по городу. Но период удовольствия быстро закончился. Опустела банка розового лака, и деревянная обшивка стен в его спальне так и осталась только наполовину выкрашенной.

Семья его возобновила свой обычный распорядок жизни. Матери больше не приходилось упрекать его за транжирство. Да и сам он вернулся к своему старому школьному быту; все его новые затеи рухнули: расписание было отменено; кредитные операции были закончены с надлежащим убытком; и он сам перестал следовать тем правилам жизни, которые составил для себя.

Какой недостижимой оказалась его цель! Он попытался было использовать порядок и элегантность как волнорез против мутных потоков внешней жизни и употребить правила поведения, активные интересы и новые сыновние отношения как плотину, ограждавшую его от нового наводнения изнутри. Тщетно! Извне и изнутри воды переклестывали через преграды, и волны сызнова свирепо бились о крошащийся мол.

Он видел с предельной ясностью безысходность своего одиночества. Он ни на шаг не сбли-

зился с теми, к которым тянулся, и не завалил рва, который отделял его от матери, брата и сестры. Он чувствовал, что он иной крови, чем они, что он связан с ними скорее мистическими узами усыновления, узами пасынка и приемного брата.

Он снова стал ублажать яростные порывы своего нутра, по сравнению с которыми всё на свете казалось ему вялым и чуждым. Его нимало не беспокоило, что он находится в состоянии смертного греха, что его жизнь превратилась в сплетение уловок и обманов. Кроме бешеного желания осуществить чудовищные мечтания, которыми он бредил, для него не осталось ничего святого. Всё что только ни попадалось ему на глаза, он цинично осквернял в своих тайных оргиях. Ночью он жил среди искаженных образов внешнего мира. Образ, который при дневном свете казался ему застенчивым и невинным, шел к нему по ночам через темные извилины сна с лицом, преображенным похотливой хитростью, с глазами, сияющими животным наслаждением. И только утро вызывало в нем болезненное, смутное воспоминание о сумрачно распутных оргиях и острое, унижающее сознание, что он переступает границы дозволенного.

Он возобновил свои скитания. Туманными осенними вечерами он рыскал по улицам Дублина так же, как много лет тому назад бродил по тихим аллеям Блэкрока. Но на этот раз его не умиротворяли ни чистенькие палисадники, ни ласково светящиеся окна. Только временами, когда изнурявшая его похоть сменялась мягкой негой, образ

Мерседес скользил в глубине его сознания. Он снова видел перед собой белый домик и сад с розами у дороги в горы и вспоминал гордый жест отказа, который он собирался сделать, стоя с ней в залитом лунным светом саду после многих лет разлуки и переживаний. В такие минуты ласковые речи Клода Мельнота¹¹ подступали к его устам и умиротворяли его мятущуюся душу. Он вспоминал свое тогдашнее нежное предчувствие осуществления заветной мечты; как ни страшна была реальность, отделявшая его тогдашние надежды от настоящего, он вспоминал свою старую мечту о заветной встрече, когда с него спадут слабость, робость и неопытность.

Но такие мгновения проходили, и сушившее его пламя похоти вспыхивало заново. Строки стихов срывались с его губ, нечленораздельные вопли и непроизносимые животнo-грубые слова рождались в его мозгу и требовали исхода. Кровь его бунтовала. Он рыскал взад и вперед по темным, склизким улицам, вглядываясь в тьму переулков и подворотень, жадно прислушиваясь к каждому звуку. Он стонал, как голодное, ищущее добычи животное. Он хотел грешить с другим существом той же породы, что и он, хотел принудить другое существо грешить с ним, хотел утопать с ним в грехе. Он чувствовал, как какое-то непреодолимое естество идет на него из тьмы, невесомое, ти-

¹¹ Клод Мельнот — герой пьесы Бульвера Литтона «Дама из Лиона».

хо бормочущее естество, которе заполняло его собой, как половодье. Бормотание осаждало его слух, как бормотание толпы во сне; невесомые струи проникали в его существо. Кулаки его судорожно сжимались, зубы стискивались, когда он испытывал это мучительное проникновение. Он простирал руки на улице, чтобы поймать хрупкую, призрачную тень, ускользавшую от него и манившую его. И вопль, долго сдерживаемый в его гортани, наконец вырвался из нее; он завыл как грешник в преисподней и, упиваясь своим бесстыдством, все повторял срамную надпись, которую прочел на мокрой стене писсуара.

Он забрел в лабиринт узеньких и грязных улочек. Из вонючих переулков слышались взрывы разгула и хриплой ругани, рев пьяных голосов. Он шел и шел, думая, не попал ли ненароком в еврейский квартал. Надушенные женщины и девушки в длинных белых платьях медлительно переходили улицу. Дрожь охватывала его, и глаза затуманились. Желтые газовые фонари стояли перед его ущербным зрением на фоне дымчатого неба как свечи перед алтарем. У дверей и в освещенных прихожих толпился народ, разодетый как для какого-то обряда. Он оказался в ином мире; он очнулся после многовекового сна.

Он стоял неподвижно посреди улицы. Сердце его бешено колотилось. Молодая женщина в длинном розовом платье тронула его за руку и взглянулась ему в лицо. Она сказала весело:

— Здравствуй, милашка Вилли!

У нее была теплая и светлая комната. Огромная кукла восседала, расставив ноги, во вместительном кресле рядом с кроватью. Он тщетно пытался заставить себя заговорить, чтобы доказать свое спокойствие, следил за тем, как она расстегивала платье, наблюдал за горделивыми, нарочитыми движениями ее надушенной головы.

Он неподвижно стоял посреди комнаты, когда она подошла к нему и весело и вместе с тем строго обняла его. Ее полные руки прижали его к себе; видя ее лицо, обращенное к нему с выражением серьезного спокойствия, и ощущая, как тепло и спокойно подымается и опускается ее грудь, он чуть было истерически не разрыдался. Слезы счастья и облегчения сияли в его восхищенных глазах, а губы открылись, хотя не могли произнести ни слова.

Она погладила его по волосам и назвала озорником.

— Поцелуй меня, — сказала она.

Но губы его не могли приблизиться к ней для поцелуя. Он хотел, чтобы она крепко держала его в своих объятиях, чтобы она ласкала его — медленно, медленно, медленно. Он вдруг почувствовал, что в ее руках становится сильным, бесстрашным и уверенным в себе. Но губы его не могли приблизиться к ней для поцелуя.

Внезапно она наклонила голову и поднесла свои губы к его губам, и он угадал смысл ее жеста в ее откровенных, поднятых ввысь глазах. Это превысило его силы. Он закрыл глаза, отдаваясь

ей душой и телом, не сознавая ничего, кроме тайного прикосновения ее открывающихся уст. Они касались не только его губ, но и его сознания, как будто говорили на каком-то неведомом ему наречии. А между ними он вдруг ощутил еще одно неизъяснимое, робкое касание — сокровеннее греховной истомы, нежнее звука или запаха.

3

Декабрьские сумерки появились на исходе пасмурного дня с внезапностью клоуна на арене. Стивен глядел в тусклый квадрат окна красной комнаты. Брюхо его властно требовало жратвы. Он уже предвкушал, что к ужину подадут тушонку с репой, морковь и разварным картофелем, с жирными кусками баранины, плавающими в густом, наперченном, мучнистом соусе. — Жри! — приказывало ему брюхо.

Наступала сумрачная, таинственная ночь. Ранним вечером в труппе в квартале борделей зажгутся редкие, желтоватые фонари. Он пойдет туда окольным путем, постепенно, постепенно сокращая радиус круга и содрогаясь от страха и радости, пока наконец ноги не подведут его к темному перекрестку. Девки будут выходить из домов, лениво зевая после сна и вкалывая шпильки в свои шевелюры. Он будет спокойно проходить мимо них, поджидая внезапного рывка своей воли или отклика своей грехолюбивой души на зов их

мягкой, надушенной плоти. Но пока он будет рыскать в ожидании этого отклика, его чувства, приглушенные похотью, будут продолжать отмечать все то, что оскорбляет или позорит их — его сетчатка регистрирует круглый след от пивной пены на голом столе, фотографию стоящих на вытяжку двух солдат, грубо размалеванный плакат, а слух — медлительный говор приветствий:

— Здравствуй, Берти! С чем пожаловал?

— Это ты, голубок?

— Номер десять. Здесь тебя ждет свеженькая Нелли!

— Здравствуй, муженек! Зайдешь на часок?

... Уравнение на странице его черновой тетради начало распускать растущий вширь шлейф, усеянный глазками и звездами, как павлиний хвост. Когда он убрал глазки и звезды показателей степени, хвост начал опять сжиматься. Эти то появляющиеся, то исчезающие показатели были открывающимися и закрывающимися глазками. Открывающиеся и закрывающиеся глазки были рождающимися и гаснущими звездами. Огромный круговорот звездной жизни нес его усталое сознание вдаль, к периферии, а потом возвращался вспять, к центру. Отдаленная музыка сопровождала это центробежное и центростремительное движение. Что это за музыка? Она приближалась, и он вспомнил строки Шелли о месяце, странствующем по небу без друга, бледном от усталости. Звезды начинали крошиться, а облако звездной пыли оседать в пространстве.

Тусклый свет, падающий на страницу тетради, еще более побледнел; второе уравнение начинало медленно раскрывать и распускать свой павлиний хвост. Это была его душа; она набиралась опыта, раскрывалась в грехах, зажигала огни костров и звезд, медленно гасла и ослабевая, тушила свой свет и свое пламя. Вот все потухло. Хаос заполнился стужей и тьмой.

Холодное, ясное безразличие царило в его душе. Во время первого тяжкого греха он чувствовал, будто исходит волной жизненной силы, и боялся, что его тело и его душа останутся навеки искалеченными. Но волна жизни вынесла его на своем гребне из него самого, а потом, прежде чем отхлынуть, внесла его обратно. Ни тело, ни душа его не были искалечены, даже частично. Наоборот, они угрюмо примирились друг с другом. Хаос, в котором угас его пыл, был холодным безразличием ко всему. Он смертно согрешил — и не один раз, а несколько. Он знал, что, хотя вечная гибель грозила ему уже после первого греха, каждый последующий грех усиливает его вину и наказание. Его дни, труды и мысли были не в силах спасти его. Источник животворящей благодати перестал орошать его душу. В лучшем случае, подавая нищему, от благодарности которого он бежал, он устало надеялся, что заслужит какие-то крохи благодати. Набожность его как рукой сняло. К чему молиться, если душа его алкала уничтожения? Гордыня и страх мешали ему по вечерам обращаться к Богу даже с одной единствен-

ной молитвой, хотя он и знал, что Бог властен лишить его жизни во время сна и ввергнуть его душу в ад, прежде чем он взмолится о пощаде. Его гордое созерцание своего греха и его безлюбивый страх перед Богом убеждали его в том, что проступок его слишком тяжек, чтобы быть искупленным целиком или частично формальным актом коленопреклонения перед Всевидящим и Всеведущим.

— Что ж, Эннис, у тебя вероятно есть голова на плечах, как у моей трости есть набалдашник. Неужели ты действительно не можешь объяснить мне, что такое иррациональное число?

Сбивчивый ответ расшевелил тлеющие угли презрения Стивена к товарищам. По отношению к ним он не испытывал ни стыда, ни страха. Утром по воскресеньям, проходя мимо церкви, он холодно смотрел на молящихся, стоящих с обнаженными головами в четыре ряда на паперти, символически присутствуя на мессе, которой они не могли ни видеть, ни слышать. Их тупое благочестие и тошнотворный запах дешевого брильянтина, исходящий от их волос, отталкивали его от престола, у которого они молились. Он лицемерил перед ними, цинично разыгрывая их наивность.

На стене его спальни висела раскрашенная грамота, удостоверяющая его назначение префектом школьного братства Пресвятой Девы Марии. Утром по субботам, когда братство собиралось в часовне для краткого акафиста, он руководил молитвами мальчиков своей группы, стоя на коленях перед отдельной, обитой материей скамейкой

справа от алтаря. Двусмысленность ситуации не смущала его. Если и были мгновения, когда ему хотелось подняться со своего почетного места, признаться перед всеми в своем окаянстве и выйти из часовни, один взгляд на их лица отбивал у него охоту. Образы пророческих псалмов смягчали его бесплодную гордыню. Славословия Богородице пленяли его душу: нард, миро и ладан, как символы Ее царственного происхождения; поздно-созревающие злаки и поздно-цветущие деревья, как символы медленно, в течение столетий нараставшего поклонения Ей. И когда к концу акафиста ему приходилось читать Священное Писание, он читал его приглушенным голосом, убаюкивая свою совесть музыкой слов:

«Я возвысилась, как кедр на Ливане и как кипарис на горах Ермонских. Я возвысилась, как пальма в Енгадди и как розовые кусты в Иерихоне. Я, как красивая маслина в долине и как платан, возвысилась. Как корица и аспалаф, я издала ароматный запах и, как отличная смирна, распространила благоухание». ¹

Его греховность, которая удаляла его от взора Божьего, влекла его к Деве Марии, заступнице грешников. Очи Ее, казалось, глядели на него с тихим состраданием. Святость Ее — непостижимое сияние, которым еле-еле светилась Ее хрупкая плоть — не унижала прибегающего к Ней грешника. Лишь, когда его охватывало желание

¹ Книга Иисуса сына Сирахова, 24, 14—17.

стать Ее рыцарем, он чувствовал побуждение покончить с грехом и покаяться. Лишь, когда губы, с которых совсем недавно срывались мерзкие, срамные слова, на которых еще тлел привкус похотливого поцелуя, шептали Ее имена, душа его, робко возвращавшаяся в свое обиталище после яростного приступа плотской похоти, обращалась к Той, символом которой была утренняя звезда — «лучезарная и поющая, возвещающая о небесах и дарующая мир».

Все это было очень странно. Он пытался разобраться в этом, но сумерки, сгущавшиеся в классной комнате, затуманивали его мысли. Прозвучал звонок. Учитель отметил арифметические тетради, задал урок и вышел. Герон рядом со Стивеном замурлыкал фальшиво:

«Милый друг мой, Бомбадос . . .»

Эннис, который выходил на улицу, вернулся в класс со словами:

— Малец из общежития пришел за ректором.

Высокий ученик, сидевший позади Стивена, потер руки и сказал:

— Вот здорово. Значит целый час гулять можно. Раньше половины третьего он не вернется. А потом ты сможешь начать задавать ему вопросы по катехизису, Дедалус.

Стивен, откинувшись корпусом назад и лениво черкая в своей черновой тетради, прислушивался краем уха к болтовне, которую Герон изредка пресекал восклицаниями:

— Да тише вы! Не горланьте так!

Странно было и то, что он находил безрадостное упоение в том, что доводил до логического предела жесткие правила вероучения и проникал в сокровенные тайны только для того, чтобы ульщать и ощутить там еще более суровое осуждение самого себя. Учение св. Иакова, согласно которому человек, нарушивший одну заповедь, повинен в нарушении остальных, казалось ему сначала напыщенной фразой, пока он не начал прощупывать мрак своего состояния. Из поганого семени сластолюбия произросли все другие смертные грехи: гордость и презрение к другим; жадность к деньгам, нужным для недозволенных наслаждений; зависть к тем, за чьими пороками он не мог угнаться; глумливое раздражение набожностью; чревоугодие; глухая, подпольная злоба, в которой он вынашивал свою похоть; трясина духовной и телесной лени, в которую погружалось его естество.

Когда он, сидя за партой, спокойно глядел на умное, суровое лицо ректора, его сознание копалось в странных вопросах. Если человек украл фунт стерлингов в юности и использовал этот фунт для приобретения огромного состояния, сколько он обязан вернуть — украденный им фунт вместе с накопившимися сложными процентами или все свое огромное состояние? Если производящий обряд крещения мирянин ненароком выльет воду до того, как произнесет слова таинст-

² Послание Св. Иакова, 2, 10.

ва, будет ли ребенок крещенным? Действительно ли крещение минеральной водой? Как понимать, что, в то время как первая заповедь блаженства обещает нищим духом Царствие Небесное, вторая заповедь обещает кротким, что они наследуют и землю? Почему таинство Причастия учреждено в двух видах, хлеба и вина, хотя Тело и Кровь, Душа и Божеская природа Христовы совместно наличествуют в одном только хлебе и в одном только вине? Содержит ли крупица преосуществленного хлеба все Тело и всю Кровь Христовы или только часть Его Тела и Его Крови? Если вино скиснет, а облатка раскрошится и заплесневеет после преосуществления, будет ли Христос присутствовать в них как Бог и как человек?

— Вот он! Вот он!

Мальчик, стоявший на часах у окна, увидел ректора, идущего из общежития. Все катехизисы мигом открылись, все головы молчаливо склонились над ними. Вошел ректор и занял свое место на кафедре. Легким пинком ноги долговязый ученик позади Стивена напомнил ему, чтобы он задал один из его трудных вопросов.

Но ректор не попросил катехизиса, чтобы выслушать урок. Он сплел пальцы, опустил руки на кафедру и сказал:

— Духовный семинар начнется в среду пополудни в честь святого Франциска Ксаверия, день которого празднуется в субботу. Семинар продлится со среды до пятницы. В пятницу пополудни, после молитв по четкам, будут выслушаны испо-

веди. Если у того или иного мальчика есть свой постоянный исповедник, то, пожалуй, лучше будет держаться его. Обедня будет отслужена в субботу в девять часов утра; на ней будет общее причастие для всей школы. Суббота — свободный день. Поскольку суббота и воскресенье — свободные дни, то кое-кто может придти к ошибочному заключению, что и понедельник — свободный день. Предостерегаю от этой возможной ошибки. Мне кажется, что ты, Лоулес, склонен сделать такую ошибку.

— Я, сэръ? Почему, сэръ?

Легкая зыбь тихого веселья расплылась по классу от суровой усмешки ректора. Как вянувший цветок, сердце Стивена стало медленно сжиматься и опадать со страха.

Ректор продолжал тем же серьезным тоном:

— Мне думается, что вы все знакомы с житием святого Франциска Ксаверия, покровителя нашей школы. Он происходил из древнего и знатного испанского рода; вы помните конечно, что он был одним из первых последователей святого Игнатия. Они встретились в Париже, где Франциск Ксаверий был профессором философии в университете. Этот блестящий молодой аристократ и ученый душой и сердцем отдался учению славного основателя нашего ордена, и вы знаете, что по собственному желанию он был послан святым Игнатием проповедовать благую весть индусам. Как вы помните, впоследствии его нарекли апостолом Индии. На востоке он следовал из одной страны в

другую, из Африки в Индию, из Индии в Японию, крестя людей. Говорят, что за один месяц он крестил не менее десяти тысяч идолопоклонников. Говорят, что его правая рука отсохла: так часто он подымал ее над главами своих крестников. Он мечтал добраться до Китая, чтобы завоевать там новые души для Господа, но умер на острове Санцзян. Великим святым был святой Франциск Ксаверий! Славным воином Господним!

Ректор помолчал и затем, покачивая перед собой своими руками со сплетенными пальцами, продолжал:

— В нем жила та вера, которая движет горами. Десять тысяч душ, спасенных для Бога за один месяц! Вот подлинный конквистадор, верный лозунгу нашего ордена: «К вящей славе Господней!» И помните, что этому святому дана высокая власть на небесах — власть заступничать за нас в наших горестях; власть добиваться для нас всего того, о чем мы молимся, если это идет на благо наших душ; прежде всего, власть добиваться благодати покаяния для грешников. Великим святым был святой Франциск Ксаверий! Великим ловцом душ человеческих!

Он перестал покачивать руками и, прижав ладони ребром ко лбу, внимательно посмотрел налево и направо своими темными, суровыми глазами.

В наступившем молчании темное горение его глаз, казалось, придало сумеркам буроватое свечение. Сердце Стивена сжалось, как цветок в пустыне, ощущающий приближение самума.

**
*

— «Во всех делах твоих помни о конце твоём и вовек не согрешишь»: слова, дорогие мои братцы во Христе, взятые из книги Премудрости Иисуса сына Сирахова, глава седьмая, стих тридцать девятый. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Стивен сидел на передней скамейке в часовне. Отец Арнол сидел за столом у левой стороны алтаря. На плечи его был накинут теплый плащ. Он похудел и побледнел; голос его охрип от простуды. Неожиданная встреча с бывшим учителем напомнила Стивену жизнь в Клонгозе: широкие площадки, кишасшие мальчиками; канавка возле уборной; маленькое кладбище у главной липовой аллеи, где он мечтал быть похороненным; отблески огня на стене в лазарете, где он лежал; скорбное лицо брата Михаила. И когда эти воспоминания вернулись к нему, его душа стала вновь душой ребенка.

— Мы собрались всего на несколько дней, дорогие мои братцы во Христе, вдали от мирской суеты, чтобы почтить память одного из величайших подвижников — апостола Индии, покровителя вашей школы, святого Франциска Ксаверия. Ежегодно, с давних времен, которых ни вы, ни я не помним, ученики этой школы собираются на свой ежегодный семинар в этой часовне, в канун дня

их святого покровителя. Время идет и приносит с собой изменения. Кто из вас не помнит перемен, происшедших за последние годы? Многие юноши, всего несколько лет тому назад сидевшие на передних скамьях, теперь либо далеко, где-нибудь в знойных тропиках, либо заняты служебными трудами, либо учатся в семинариях, либо странствуют по огромным просторам океанов, либо уже призваны Богом к другой жизни и держали перед Ним ответ. Годы идут, принося с собой изменения к лучшему или к худшему, а память о великом святом все еще чтится мальчиками этой школы, которые ежегодно проделывают свой духовный семинар в дни, предшествующие празднику святого — празднику, установленному нашей святой Матерью Церковью для передачи последующим поколениям имени и славы одного из величайших сынов католической Испании.

Что значит выражение «духовный семинар», и почему такой семинар считается благотворным упражнением для всех, стремящихся вести подлинно христианскую жизнь — перед лицом Божиим и перед людьми? Семинар, дорогие мои мальчики, знаменует собой временное отрешение от житейских дел и забот ради проверки нашей совести, ради размышления о таинствах святой веры и ради более совершенного понимания того, зачем мы живем в этом мире. В ближайшие дни я хочу предложить вам кое-какие мысли о четырех «последних вещах». Как вы знаете из катехизиса — это смерть, судилище, ад и рай. Мы попы-

таемся полностью разобраться в них в эти дни, чтобы обрести постоянную пользу для наших душ. Помните, дорогие мои мальчики, что мы посланы в этот мир с одной единственной целью: исполнить святую волю Божию и спасти наши бессмертные души. Все остальное не имеет никакой цены. Нужно только одно — спасение нашей души. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою бессмертную потеряет? О, дорогие мальчики, поверьте мне, нет ничего в этом жалком мире, что возместило бы такую утрату.

Поэтому я прошу вас, дорогие мои мальчики, отложить на эти дни все мирские помышления — о занятиях, об удовольствиях, о планах на будущее — и сосредоточиться на состоянии вашей души. Вряд ли мне надо напоминать вам, что во время семинара всем мальчикам полагается вести себя тихо и пристойно и избегать всяких неуместных развлечений. Конечно, старшие ученики будут наблюдать за тем, чтобы эта традиция не нарушалась; я особенно прошу старших учеников братства Пресвятой Девы Марии и братства святых ангелов подавать пример товарищам.

Попытаемся же отдать этому семинару в честь святого Франциска Ксаверия все наше сердце и все наше разумение. Но прежде всего: да будет этот семинар таким, чтобы впоследствии, вдали от школы и при совсем иных обстоятельствах вы вспоминали о нем с радостью и возносили благодарение Господу Богу за то, что Он поз-

волил вам заложить основы богобоязненной, честной, ревностной христианской жизни. А если — а это может случиться! — если на этих скамьях есть бедная душа, которая испытывает неизъяснимое несчастье потери святой благодати Божьей и впадения в тяжкий грех, я всем моим сердцем уповаю и молюсь, чтобы этот семинар оказался поворотным пунктом в жизни такой души. Я молю Бога — ради заслуг перед Ним Его верного раба, Франциска Ксаверия, дабы такой душе было даровано чистосердечное раскаяние, и дабы Святое Причастие в день святого Франциска в нынешнем году стало постоянной связью между Богом и этой душой. Да будет этот семинар памятным равно для праведных и для неправедных, для святых и для грешников.

Помогите же мне, дорогие мои братцы во Христе. Помогите мне вашим вниманием, вашей богобоязненностью, вашим поведением. Изгоните из вашего сознания все мирские помыслы и думайте только о конце — о смерти, судилище, аде и рае. Тот кто помнит об этом — говорит Иисус сын Сирахов — вовек не согрешит, ибо в душе своей будет помнить о последних вещах человека. Он будет жить праведной жизнью и умрет праведной смертью, веруя и зная, что даже, если он поступился земной жизнью, ему воздастся стократно и тысячекратно в грядущей жизни, в вечном Царствии — дар, который я, дорогие мои мальчики, желаю каждому из вас от всего моего

сердца. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Стивен брел домой с приумолкшими товарищами. Его сознание, казалось, обволакивал густой туман. Он тупо ждал, чтобы туман рассеялся и открыл то, что он скрывал. Он проглотил свой ужин хоть и с аппетитом, но без удовольствия, а когда еда кончилась, и на столе остались сальные тарелки, он встал и подошел к окну, слизывая жирный налет на нёбе и на губах. Он дошел до состояния животного, лижущего свою морду после кормежки. Дальше падать некуда. Слабый огонек страха затеплился в тумане его сознания. Он прижал лицо к оконному стеклу и стал упорно разглядывать темнеющую улицу. В тусклом свете двигались в ту и в другую стороны очертания человеческих фигур. И это жизнь! Буквы, составляющие слово ДУБЛИН, тяготели над его сознанием, угрюмо толкая друг друга то туда, то сюда с медленной, животной настойчивостью. Душа его жирела и застывала в грубую сальную массу, с тупым страхом погружаясь все глубже в злоеущие сумерки, а тело, вялое и обесчещенное, беспомощное, смятенное человеческое тело, было годно только для того, чтобы на него уставился бычий бог.

Следующий день принес с собой смерть и страшный суд и медленно расколыхал его душу, выводя ее из состояния тупого отчаяния. Тлеющий огонек страха раздулся в духовный ужас, когда осипший голос проповедника вдохнул

смерть в его душу. Он претерпевал все ее муки. Он чувствовал, как смерть леденит его конечности и подползает к самому сердцу; как смертная пелена застилает ему глаза; как один за другим, на подобие фонарей, тухнут световые точки в его мозгу; как предсмертный пот выдавливается из пор; как слабеют умирающие конечности; как замедляется, путается и замирает речь; как сердце, угасая, бьется все слабее и слабее; как дыхание, бедное его дыхание, бедный, беспомощный человеческий дух, превращается в рыдания, вздохи и клокотанье и треск в гортани. И некого звать на помощь! Некого! Умирает он — он сам! Умирает его плоть, которой он поддался. В могилу его! Заколотить его гвоздями в деревянный ящик, этот труп! Вынести его из дому на плечах наемных факельщиков! Убрать это тело долой с глаз человеческих в четырехугольную яму в земле, чтобы оно гнило там и кормило кишасщую массу червей и рыскающих толстобрюхих крыс!

А в то время, как друзья все еще плачут у смертного одра, душа грешника уже предстоит перед судом. В предсмертный момент вся земная жизнь проносится перед духовным взором, и уже нет времени для раздумья; и вот тело умирает, а душа в трепете предстает перед судилищем. Милосердный Бог становится Богом правосудия. Бог долго терпел, уговаривал грешную душу, давал ей сроки для покаяния, откладывал кару. Но все сроки миновали. Было время для греха и для греховных утех; было время для издевательства над

Богом и над увещеваниями Его Святой Церкви; было время для оскорбления Его величия, для нарушения Его заповедей, для обмана ближних, для совершения одного греха за другим, для тайного разврата. Но время это прошло. Теперь очередь за Богом, а Его провести, обмануть невозможно. Каждый грех выползает из своего укромного угла — и бунтарский грех, противящийся воле Божией, и грех, наиболее оскверняющий наше жалкое, падшее естество, и самый ничтожный ущерб, и самое дикое зверство. Что пользы в том, что ты был великим императором, или великим полководцем, или замечательным изобретателем, или ученым из ученых? Все равны перед судилищем Божиим. Он вознаградит праведников и покарает грешников. Одного единственного мгновения достаточно для суда над человеческой душой. Через одно единственное мгновение после смерти тела душа взвешивается на весах. Суд над ней закончен, и душа либо переходит в селения праведных, либо в темницу чистилища, либо же ввергается с ревом в преисподнюю.

Но это еще не все. Божьей правде надлежит быть раскрытой; за отдельным судом следует суд общий. И вот наступает последний день, день Страшного Суда. Звезды небесные падают на землю, как смоквы падают со смоковницы. Солнце, великое святилище небосвода, свернется подобно власнянице. Луна нальется кровью. Небо скроется, свившись как свиток. Архангел Михаил, архистратиг небесный, появится в грозной славе на не-

бе. Опираясь одной ногой на море, а другой на сушу, он вострубит и возвестит, что времени больше нет. Время есть, время было, но времени больше нет. И при последнем трубном звуке души всего рода человеческого устремятся в долину Иосафатову — души богачей и бедняков, мудрецов и простаков, праведников и грешников. Души всех людей, когда-либо живших и еще не родившихся, всех сыновей и дочерей Адамовых — все они соберутся в этот царский день. И се! Грядет Верховный Судия! Это уже не смиренный Агнец Божий, не кроткий Иисус Назарянин, не Муж Скорбей, не Добрый Пастырь. Нет! Он грядет на облаках, облеченный властью и славой, сопровождаемый девятью ангельскими ликами — ангелами, архангелами, властями, силами и началами, престолами и господствами, херувимами и серафимами. Он говорит, и голос Его доносится до крайних пределов пространства, даже до бездонной преисподней. Он — Верховный Судия, приговор которого не подлежит обжалованию. Он призывает праведников к Себе, приглашая их войти в Его Царствие, в вечное, приуготовленное для них блаженство. А неправедных Он отвергает от Себя, восклицая в Своем оскорбленном величии: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его!» О, какое тогда начинается мучение для несчастных грешников! Друг отрывается от друга, дети от своих родителей, мужья от жен. Бедный грешник простирает руки к тем, кто был ему близок на земле, к тем, над чьим простодушным бла-

гочестием он, быть может, издевался, к тем, кто давал ему советы и пытался наставить его на путь истинный, к милому брату, к любящей сестре, к матери и отцу, которые так его любили. Но тщетно! Праведники отворачиваются от жалких осужденных душ, которые являются тогда перед ними в их мерзком и отталкивающем облиции. О, вы, лицемеры, подобные гробницам повапленным, о, вы, оборачивающиеся к миру гладким, улыбающимся лицом, тогда как ваша душа — мерзкая трясина греха! Что будет с вами в этот грозный день?

А день этот — день смерти и день суда — наступит, должен наступить, не может не наступить. Человеку положено умереть и после смерти предстать перед судом. Смерть неизбежна. Неверны только ее час и образ: мы не знаем, умрем ли мы после длительной болезни или после внезапного несчастного случая. Сын Божий приходит, когда Его не ждут. Будьте же готовы в любое мгновение, так как и умереть вы можете в любое мгновение. Смерть — конечная цель всех нас. Смерть и суд, привнесенные в мир по грехам наших прародителей, — это темные врата, которые кладут предел нашему земному существованию, врата, которые распахиваются в неведомое и незримое, врата, которыми должна пройти каждая душа, одна-одинешенька, трепещущая от страха — без друга, без брата, без отца, без учителя. Да будет эта мысль всегда в нашем сознании, и тогда мы не будем грешить. Смерть ужасает грешника, — но

она благословенное мгновение для того, кто шел праведным путем, выполняя обязанности, вытекающие из его положения в жизни, вознося молитвы утром и вечером, часто принимая Святое Причастие и выполняя добрые и милосердные дела. Для благочестивого, верующего католика, для праведного человека смерть — не повод для страха. Когда великий английский писатель Аддисон лежал на смертном одре, он вызвал к себе развратного молодого графа Варвика, чтобы тот узрел, как встречает свой конец христианин. Только благочестивый, верующий христианин, и только он, может сказать в своем сердце:

О, гроб, где твоя победа?

О, смерть, где твое жало?

Каждое слово метило в него. Весь гнев Божий был направлен на его омерзительные, тайные грехи. Духовный меч проповедника вонзился глубоко в его разверзнутую совесть, и он ощутил, что душа его загнила в грехе. Да, проповедник прав. Теперь очередь за Богом. Как зверь в своей берлоге, душа его коснела в собственных нечистотах, но звуки ангельской трубы выгнали ее из тьмы греха на свет. Оповещение ангела о страшном суде в одно мгновение разрушило его благодушие, покоящееся на гордыне. Вихрь дня Страшного Суда несет по его сознанию; его грехи, блудницы с рублиновыми глазами его воображения с мышинным писком разбегаются и прячутся где-то в норках.

Когда он пересекал площадь по дороге домой, легкий девичий смех долетел до его слуха. Хруп-

кий, радостный звук поразил его сердце сильнее трубного гласа; не смея поднять глаза, он отвернулся и уставился в пустую тень кустов. Стыд поднялся из его сокрушенного сердца и затопил все его существо. Образ Эммы появился перед ним, и под ее взором поток стыда снова полился из его сердца. Если бы только она знала, чему подвергало ее его сознание, как его животная похоть терзала и топтала ее невинность! Какая там отроческая любовь? Какое там рыцарство? Какая поэзия? Его воображение подсказывает все омерзительные подробности оргий. Замазанный сажей конверт с рисунками, который он прятал в дымоход камина, и с бесстыжим или скрытым распутством которого он лежал часами, греша мыслью и делом; его чудовищные сны, населенные обезьяноподобными существами и блудницами с рубиновыми глазами; пространные омерзительные письма, которые он писал в состоянии самодовольного откровенничания и в течение многих, многих дней носил на себе только с тем, чтобы подбросить их под покровом ночи в траву в углу поля или подсунуть под калитку в живой изгороди в надежде, что какая-нибудь проходящая мимо девушка найдет их и тайком прочтет. Какое безумие! Какое безумие! Неужели это он делал все это? Холодный пот выступал у него на лбу, когда эти отвратительные воспоминания толпились в его мозгу.

Когда прошли муки стыда, он попытался поднять свою душу из ее жалкого бессилия. Но Бог и Пресвятая Дева были слишком далеки от него:

Бог был слишком велик и суров, а Пресвятая Дева слишком чиста и свята. Но он представил себе, что стоит рядом с Эммой где-то на широком поле и что смиренно и в слезах наклоняется и целует стиб ее рукава у локтя.

Где-то в широком поле, под нежным, ясным вечерним небосводом, с тучкой, плывущей на запад по зеленоватому небесному морю, стоят он с ней, двое заблудившихся детей. Их заблуждение глубоко оскорбило величие Божие, хотя и было всего лишь заблуждениями двух детей; но они не оскорбили Той, чья красота — «не как земная красота, опасная для взора, но как Ее знамение — лучезарная и поющая утренняя звезда». Очи Ее, обращенные к нему, не выражают обиды или укоризны. Она соединяет их руки и говорит им: «Возьмитесь за руки, Стивен и Эмма. В небесах сейчас тихий вечер. Вы заблуждались, но вы всегда были и будете моими детьми. Возьмитесь же за руки, милые мои детки, будьте счастливы друг с другом и любите друг друга».

Часовня была залита тусклым, алым светом, проникавшим через опущенные жалюзи; а через щель между краем жалюзи и оконной рамой, прорезывался копьём бледный луч, касаясь чеканной бронзы алтарных подсвечников, которые горели, как помятая в битвах кольчуга ангелов.

Дождь падал на часовню, на сад, на здание школы. Бесшумный дождь будет идти без перерыва. Вода будет подниматься дюйм за дюймом, покрывая траву и кусты, покрывая деревья и до-

ма, покрывая памятники и вершины гор. Всё живое захлебнется — птицы, люди, слоны, свиньи, дети: бесшумно плывущие трупы среди остатков разрушенного мира. Сорок дней и сорок ночей будет лить дождь, пока воды не покроют всего лица земли.

Может быть. Почему бы и нет?

— «Преисподняя расширилась, и безмерно раскрыл ад пасть свою» — слова взятые, дорогие мои братцы во Иисусе Христе, из книги пророка Исайи, глава пятая, стих четырнадцатый. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Проповедник вынул часы без цепочки из кармана под сутаной, на мгновение молча взглянул на циферблат и положил их бесшумно перед собой на стол.

Он начал спокойным тоном.

— Адам и Ева, дорогие мои мальчики, были, как вы знаете, нашими прародителями, и вы помните, что они были сотворены Богом для того, чтобы занять места на небесах, опустевшие после изгнания Люцифера и его мятежных ангелов. Люцифер — так нам говорят — был сын утра, сияющий и могущественный ангел; и все же он пал, и с ним пала треть небесного воинства; он пал и был ввержен со своими мятежными ангелами в ад. В чем состоял его грех, мы сказать не можем. Богословы думают, что это был грех гордыни, греховный помысел, зачатый в одно мгновение: *Non serviam* — служить я не буду. Это мгновение стало его погибелью. Он оскорбил величие

Божие греховным помыслом в одно единственное мгновенье, и Бог изгнал его навеки из неба в ад.

После этого Бог сотворил Адама и Еву и поселил их в Эдеме, в долине Дамаска, в прекрасном саду, залитом солнцем и красками, изобилующем роскошной растительностью. Плодородная земля щедро кормила их; звери и птицы охотно служили им; они не знали напастей, унаследованных нашей плотью — болезней, нищеты, смерти. Все, что великий и щедрый Бог мог дать им, было им дано. Но Бог наложил одно условие: повиновение Его слову. Они не должны были вкушать от плодов запретного древа.

Увы, дорогие мои мальчики, они тоже пали. Дьявол, когда-то сияющий ангел, сын утра, а ныне лукавый враг, явился им в облике змеи, самого коварного земного животного. Он им завидовал. Он — падшее великое существо — не выносил мысли, что сотворенный из глины человек получил наследство, которое он, по грехам своим, навеки утратил. Он явился женщине, как более слабому сосуду, и влил яд своего красноречия в ее ухо, обещая ей — о, богохульство этого обещания! — что, если они с Адамом вкусят от запретного плода, они сами станут как боги, больше того, — как сам Бог. Ева поддалась коварству первоискусителя. Она вкусила от яблока и дала его Адаму, у которого не достало мужества воспротивиться ей. Лукавый сделал свое дело. Они пали.

И тогда в саду райском раздался голос Бога, призывающего к ответу свое творение, челове-

ка; и Михаил, архистратиг небесного воинства с пламенным мечом в руке, появился перед провинившимися и изгнал их из Эдема в мир — мир болезней и печалей, жестокости и разочарований, трудов и лишений, дабы они ели хлеб в поте лица своего. Но даже тогда — сколь милосерден был Бог! — Он сжалился над нашими бедными, униженными прародителями и обещал, что со временем он пошлет с небес Искупителя, который вновь сделает их детьми Божьими и наследниками Царства Небесного; и что этот Спаситель павшего человека будет едиnorodный Сын Божий, Второе Лицо Пресвятой Троицы, Вечное Слово.

Он пришел. Он родился от пречистой девы Марии, Матери-Девы. Он родился в бедном хлеву в Иудее и жил тридцать лет скромным плотником, пока не настал час Его подвига. Тогда, исполненный любви к людям, он вышел в мир, призывая людей слушать новую Благоую Весть.

Слушали ли они? Да, слушали, но не слышали. Он был схвачен и связан, как простой преступник, над Ним издевались, как над безумцем, Ему предпочли разбойника с большой дороги, Ему нанесли пять тысяч ударов бичом, на Его главу возложили терновый венец, Его гнал по улицам еврейский сброд и римская солдатня, с Него сорвали одежды, Его распяли на кресте, а ребро Его было пронзено копьем, и из раненого тела нашего Господа потекла вода с кровью.

Но даже тогда, в час своих последних мучений, наш милостивый Спаситель сжалился над

родом человеческим. Уже тогда, на Голгофе, он учредил святую католическую церковь, которую по Его обетованию не одолеют врата адовы. Он основал ее на извечной скале и даровал ей Свою благодать с таинствами и жертвоприношениями и обещал, что, если люди будут повиноваться слову Его церкви, они все еще смогут заслужить жизнь вечную; но если после всего того, что было сделано для них, они будут упорствовать в своей греховности, то им остается только вечность мучений: ад.

Голос проповедника умолк. Он помолчал, сложил на мгновение ладони, потом разнял их. Затем он снова начал:

— Давайте на мгновение представим себе, поскольку это в наших силах, природу того местопребывания осужденных, которое было вызвано к существованию справедливостью оскорбленного Бога для вечного наказания грешников. Ад — это тесная, темная и смрадная тюрьма, местопребывание демонов и погибших душ, наполненная огнем и дымом. Теснота этой тюрьмы нарочито задумана Богом для наказания тех, кто отказывался считать себя связанным Его законами. В земных темницах несчастный узник обладает, по крайней мере, некоторой свободой передвижения, хотя бы в пределах четырех стен камеры или на мрачном тюремном дворе. Не так в аду! Там, из-за огромного числа осужденных, пленники свалены в кучу в ужасной темнице, стены которой, как говорят, толщиной в четыре тысячи миль; и осужденные

настолько стеснены и беспомощны, что, как пишет один из подвижников, святой Ансельм в своей книге аллегорий, они даже не могут смахнуть червей, гложущих их глаза.

Они лежат в крошечной тьме. Ибо вспомните, что огонь в преисподней не дает света. Как, по велению Божию, пламя вавилонской печи потеряло свой жар, но не свет, так, по велению Божию, пламя адское, сохраняя жар, горит вечно в темноте. Это — вечная буря тьмы, темного пламени и темного дыма горячей серы, в которой тела навалены одно на другое без единого дуновения воздуха. Из всех наказаний, которым была подвержена земля фараонская, только наказание тьмой именовалось страшным. Какое же название дадим мы тьме в аду, которая будет длиться не три дня, а целую вечность?

Ужас этой тесной и темной тюрьмы усугубляется страшным смрадом. Грязь со всего мира, все отбросы, вся падаль, — так нам говорят, — потекут туда, как в огромную вонючую клоаку, когда страшный пожар последнего дня очистит мир. Да и сера, которая горит там в таком изобилии, наполняет ад своим невыносимым смрадом; а тела самих осужденных издают такой чумной запах, что, по словам святого Бонавентуры, одного из них хватило бы на то, чтобы заразить весь мир. Даже воздух нашего мира, этот чистейший элемент, портится и становится негодным для дыхания, когда он слишком сперт. Но подумайте, какова должна быть духота в аду. Представьте себе

омерзительный гниющий труп, разложившийся и превратившийся в какую-то гнойную жижу. Представьте себе, что такой труп становится добычей огня, пожирается пламенем горящей серы и издает густые, ядовитые, мерзко-гнивные испарения. А затем представьте себе этот тошнотворный смрад, увеличенный в миллион и еще раз в миллион раз, смрад, исходящий из миллиардов разлагающихся трупов, скученных в зловонной тьме. Представьте себе всю эту гниющую плесень, и вы получите некоторое представление о зловонии в аду.

Но этот смрад, как бы ужасен он не был, не самая страшная физическая мука, которой подвержены проклятые души. Пытка огнем — самая страшная мука, которой тираны подвергают людей. Поднесите на мгновение палец к пламени свечи, и вы почувствуете боль ожога. Но наш земной огонь сотворен Богом на благо человека, чтобы удержать в нем жизненную искру и помочь ему в полезных ремеслах. Адский огонь обладает совершенно иной природой. Он сотворен Богом для истязания и наказания нераскаявшихся грешников. Наш земной огонь также пожирает свою жертву сравнительно быстро в зависимости от того, является ли охваченный им предмет более или менее горючим, так что человеческой изобретательности удалось даже изготовить химические препараты, приостанавливающие или пресекающие его действие. Но сера, горящая в аду — вещество, сотворенное для того, чтобы гореть вечно

с несказанной яростью. Кроме того, наш земной огонь разрушает по мере того, как сжигает, так что, чем он напряженнее, тем он и краткосрочнее; но адский огонь обладает тем качеством, что сохраняет то, что жжет, и, хотя бушует с невероятным напряжением, бушует вовеки.

Опять-таки, наш земной огонь, сколь бы он не был яростным и сколь бы он не распространялся, всегда ограничен в пространстве; но огненное море в аду — безгранично, безбрежно и бездонно. Мы знаем, что сам диавол, отвечая на вопрос одного воина, вынужден был признать, что если бы в горящий адский океан была ввергнута целая гора, то она сгорела бы в одно мгновение, как сгусток воска. И этот страшный огонь причиняет боль телам проклятых не только извне, но каждая погибшая душа представляет собой собственный ад с бесконечным, бушующим в самом ее нутре огнем. О, как ужасна участь этих несчастных существ! Кровь бурлит и кипит в их жилах, мозг кипит в черепной коробке, сердце в груди тлеет и разрывается, внутренности превращаются в докрасна раскаленную массу пылающего варева, глаза плают, как расплавленные шары.

Но все, что я сказал о силе, качестве и безмерности этого огня, — ничто по сравнению с его напряжением, которым он обладает, будучи орудием, избранным Божественным промыслом для наказания души и тела. Это — пламя, исходящее непосредственно от гнева Господня и действующее не в силу собственных своих качеств, но как ору-

дие божественного возмездия. Также как воды крещения очищают душу и плоть, так и карающее пламя истязает и дух и плоть. Истязается каждое отдельное чувство плоти, а одновременно и каждая отдельная способность души: зрение — непроницаемым крошечным мраком; обоняние — отвратительным смрадом; слух — воем, ревом и проклятиями; вкус — мерзким веществом, проказным гниением, невероятно душной грязью; осязание — раскаленными вилами и копьями и жестокими языками пламени. И наравне с этими чувственными муками мучается вечно и бессмертная душа в самом своем естестве посреди безбрежных пылающих костров, воспламененных в преисподней оскорбленным величием Всемогущего Бога и раздуваемых дыханием вечно длящегося и всё нарастающего Божественного гнева.

Учтите, наконец, и то, что мучение в этой страшной тюрьме усугубляется общением с другими погибшими душами. Близость зла на земле столь губительна, что даже растения, повинаясь инстинкту, отворачиваются от того, что несет им гибель или причиняет вред. В аду же все законы ниспровергнуты — никто там не помышляет о семье, о родине, о родственных связях. Осужденные, вопя и воя, проклинают друг друга, их муки и ярость еще усиливаются от присутствия других существ, мучающихся и беснующихся так же, как они сами. Всё человеческое исчезает. Вопли страждущих грешников наполняют самые отдаленные углы необъятной пропасти. Уста осужден-

ных исполнены кощунства против Бога, ненависти к другим страдальцам и проклятий по адресу душ их сообщников во грехе. В старые времена был обычай наказывать отцеубийцу, человека, поднявшего руку на отца, ввержением его в пучину морскую в мешке, в который также сажались петух, обезьяна и змея. Намерение законодателей, разработавших этот закон, который в наше время кажется чрезмерно жестоким, состояло в том, чтобы покарать преступника обществом опасных и буйных животных. Но что такое ярость этих бессловесных тварей по сравнению с бешеными проклятиями, которые срываются с пересохших губ и из пересохших глоток проклятых душ в аду, когда они узнают в других страдальцах тех, кто помогал и содействовал их греху, тех, чьи слова посеяли первые семена злых помыслов в их сознании, тех, чьи бесстыдные предложения привели их ко греху, тех, чьи глаза соблазняли и манили их сойти с пути добродетели? Они бросаются на этих сообщников, хулят и проклинают их. Но они бессильны и беспомощны; для раскаяния слишком поздно.

И, наконец, учтите страшную муку этих осужденных душ, — и искушаемых и искусителей, — причиняемую присутствием бесов. Эти бесы пытаются осужденных двумя способами — своим присутствием и своими попреками. Нам трудно представить себе, сколь ужасны эти бесы. Святая Екатерина Сиенская однажды видела беса; она пишет, что скорее согласилась бы идти до конца

дней своих по тропе из горящих углей, нежели еще раз взглянуть, хотя бы на один миг, на такое жуткое чудовище. Эти бесы, которые когда-то были прекрасными ангелами, стали столь отвратительными и уродливыми, сколь когда-то были прекрасными. Они издеваются и насмеваются над загубленными ими душами. Они, эти мерзкие демоны, превращаются в аду в голос совести. Почему ты грешил? Почему преклонял слух к соблазнительным словам друзей? Почему отказался от своих благочестивых навыков и добрых дел? Почему не избегал соблазна? Почему не бросил злого сообщника? Почему не отказался от такой-то блудливой привычки, от такого-то нечистого навыка? Почему ослушался своего исповедника? Почему, даже после того, как ты пал в первый или во второй или в третий или в четвертый или в сотый раз, ты не покаялся в своих злодеяниях и не обратился к Богу, который только и ждал твоего покаяния, чтобы простить тебе все твои грехи? Теперь время для покаяния прошло. Время есть, время было, но времени больше не будет! Было время для того, чтобы втайне грешить, чтобы предаваться лени и гордыне, чтобы желать недозволенного, чтобы уступать настояниям твоего изменного естества, чтобы жить по образу животных, — нет, хуже животных! Ибо они, по меньшей мере, неразумные твари, неспособные управлять своими поступками; было время, времени больше не будет. Бог говорил с тобой столькими голосами, но ты не хотел слушать. Ты не хотел

раздавить гордыню и злобу в своем сердце, не хотел вернуть чье-то обманно присвоенное добро, не хотел следовать указаниям твоей Святой Церкви, не хотел выполнять своего религиозного долга, не хотел расстаться со своими товарищами по греху, не хотел избегать опасных соблазнов. Таковы речи этих диаволов-мучителей, речи, полные насмешек и попреков, ненависти и отвращения. Да, отвращения! Ибо даже грех самих диаволов был по меньшей мере соразмерен их ангельской природе, он был бунтом разума; но даже они, эти мерзкие бесы, отводят свои взоры с отвращением и презрением, когда наблюдают за теми омерзительными грехами, которыми падший человек загрязняет и оскверняет храм Духа Святого, загрязняет и оскверняет самого себя.

О, дорогие мои братцы во Христе, да не выпадет на нашу долю услышать такие речи! Да не станет это нашей долей, говорю я. Я молю Бога, чтобы в последний день страшного отчета ни одна из душ, присутствующих ныне в этой часовне, не оказалась среди несчастных существ, которым Великий Судия прикажет навсегда удалиться с Его глаз, чтобы ни один из нас никогда не услышал страшного приговора: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его!»

Стивен выходил из бокового придела часовни с трясущимися коленями, и дрожь проходила по его телу, как будто его уже касались невидимые пальцы. Он поднялся по лестнице и прошел

по коридору, вдоль стен которого, словно вздернутые злодеи, висели плащи и дождевики, безголовые, истекающие влагой, бесформенные. На каждом шагу он боялся, что он уже умер, что душа его выдернута из футляра его тела, что он падает стремглав в пространство.

Ноги еле несли его; он рухнул на свою парту, открыл наудачу одну из книг и уставился в нее. Каждое слово метило в него! Да, это так. Бог всемогущ. Бог властен вызвать его сейчас, пока он сидит за партой, прежде чем он осознает этот вызов. Бог уже вызвал его. Да? Что? Да? Его плоть сжалась, чувствуя приближение пожирающего пламени, ссохлась, ощущая вокруг себя вихрь раскаленного воздуха. Он умер. Да. Он прошел через суд. Волна огня опалила его тело: первая. Еще одна. Его мозг начал тлеть. Еще одна. Мозг его шипел и булькал в трескающемся черепе. Язычки пламени вырывались из его черепа, похожие на лепестки; кто-то завопил на разные лады:

— Ад! Ад! Ад! Ад! Ад!

Но рядом с ним слышались голоса:

— Он говорил об аде.

— Задал он вам перцу, а?

— Еще как. Настрацал нас.

— Так вам и надо: заниматься будете лучше.

Он слабо откинулся назад. Он не умер. Бог его еще пощадил. Он все еще в знакомом школьном мире. Отец Тэйт и Винсент Герон стоят у окна, болтая, шутя, глядя на нудный дождь, ворочая головами.

— Хоть бы разгулялось. Я собирался, было, покататься на велосипеде за городом, у Малахайда. Но дороги, наверно, по колено в грязи.

— Может быть, еще прояснится, сэр.

Голоса, так хорошо ему знакомые, будничные голоса; тишина классной комнаты, когда замолкали голоса; молчание, заполненное чавканьем тихо пасущегося скота, когда мальчики мирно жевали свой завтрак, — все это утихомирило его большую душу.

Еще есть время. О, Дева Мария, прибежище грешников, заступись за меня! О, Дева Непорочная, спаси меня от бездны смерти!

Урок английского начался с прослушивания истории. Короли, фавориты, интриганы, епископы проходили, как немые привидения за масками своих имен. И все они умерли: все уже прошли через суд. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою потеряет? Наконец-то он понял: человеческая жизнь лежала вокруг него, как мирная равнина, на которой братски трудились люди-муравьи, а их мертвецы мирно почивали под тихими холмиками. Локоть товарища коснулся его, и он умилился. И когда он ответил на вопрос учителя, то он услышал, что голос его звучит покоем смирения и покаяния.

Душа его еще глубже погрузилась в покаянный покой, не будучи в состоянии вынести пытки страха и вознося, по мере своего погружения, слабую молитву. О да, он будет пощажён; он раскается в своем сердце и будет прощён; и тогда те на-

верху, в раю, узнают, что он сделает, чтобы искупить свое прошлое: всю жизнь, каждый час его жизни. Только подождите.

— Всю жизнь, Боже! Всю, всю!

Ученик подошел к двери и передал, что исповедь уже началась в часовне. Четыре ученика вышли из комнаты; он слышал, как по коридору шли другие. Сердце его похолодело; молчаливо прислушиваясь и терзаясь, он как будто приложил ухо к своему собственному сердечному мускулу, чувствуя, как ежится сердце, как сжимаются и разжимаются сердечные клапаны.

Бежать некуда. Он должен пойти на исповедь, должен рассказать, что он делал, что думал, грех за грехом. Но как? Как?

— Отец, я . . .

Новая мысль проникла, как холодная блестящая шпага, в его болезненно отзывающееся тело: Исповедь. Да. Но не здесь, не в школьной часовне; он покается во всем, во всех грехах делом и мыслью, искренне — но не среди товарищей. Где-нибудь вдали, в каком-нибудь темном закоулке он выбормочет свой позор; и он смиренно молил Бога не принимать как оскорбление то, что он не смеет исповедываться в школьной часовне, и в предельном уничтожении духа молча испрашивал прощения у окружающих его отроческих сердец.

А время шло.

Он вновь сидел в переднем ряду в часовне. Дневной свет уже тускнел; проникавшее сквозь темно-красные ставни солнце казалось ему захо-

дящим солнцем последнего дня. Он думал, что все души уже собираются на Суд.

— «Отвержен я от очей Твоих»: слова, взятые, дорогие мои братцы во Христе, из Псалтиря, псалом тридцатый, стих двадцать третий. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Проповедник заговорил спокойным, приветливым тоном. Лицо его дышало добротой. Он соединил кончики пальцев, образуя фигуру похожую на клетку.

— Сегодня утром, размышляя об аде, мы пытались составить себе представление о том, что наш святой основатель называет в своей книге духовных упражнений «структурой местности». Иными словами, мы постарались вообразить чувственной стороной нашего разума, нашим воображением материальный характер этого страшного местопребывания и физические муки, претерпеваемые всеми обитателями ада.

Помните, что каждый грех — это как бы двойное преступление. С одной стороны, он — постыдная уступка нашей падшей природе, нашим изменным инстинктам, всему тому, что в нас есть грубого и животного. С другой стороны, грех означает пренебрежение советами, исходящими от нашей высшей природы, от всего чистого и святого, от самого Святого Господа Бога. Поэтому смертный грех и карается в аду двумя различными карами — физической и духовной.

Так вот, самая страшная из всех духовных мук — это мука утраты. Она настолько велика,

что причиняет больше страдания, нежели все остальные пытки вместе взятые. Святой Фома, величайший вероучитель церкви, «ангельский доктор», как его именуют, говорит, что самое страшное проклятие заключается в том, что разум человека целиком лишается божественного света, а его любовь упрямо отворачивается от благодати Божией. Вы знаете, что Бог — существо бесконечно благое; поэтому утрата Его — лишение бесконечно мучительное. В этой жизни нам трудно представить себе, что означает такая утрата, но проклятые души в аду — и это еще усугубляет их страдания — полностью отдают себе отчет в том, что они потеряли — и потеряли навек — по своим грехам. В момент смерти порываются узы плоти, и душа сразу же взлетает к Богу, как к центру своего бытия. Помните, милые мои мальчики, что наши души взыскуют Бога. Мы исходим от Бога, мы живем Богом, мы принадлежим Богу; мы — Его, неотъемлемо Его. Бог любит божественной любовью каждую человеческую душу, и каждая человеческая душа живет этой любовью. Да как же иначе? Ведь каждое вбираемое нами дыхание, каждая наша мысль, каждый миг жизни исходит от неиссякаемой благодати Господней. И если мать болеет разлукой со своим ребенком; если человек страдает вдали от родного очага и дома; если друг томится по далекому другу — то сколь мучительно для бедной души удаление от предельно благодатного и любящего Творца, который вызвал эту душу к существованию из небы-

тия, поддерживал ее в жизни и любил ее безмерной любовью! Так вот, быть навеки отрезанной от Верховного блага, от Бога и ощущать боль этой разлуки, зная, что она непоправима, — это поистине величайшее мучение, на которое способна сотворенная душа, роена damni, мука потери.

Вторая пытка, которую претерпевают души осужденных в аду, это муки совести. Как в трупах черви порождаются в процессе гниения, так и в душах осужденных из греховного гниения вырастает постоянное раскаяние, жало совести или, как называет его папа Иннокентий Третий, червь с тройным жалом. Первое жало этого жестокого червя — это память о бывших наслаждениях. О, какое страшное это будет воспоминание! В море всепожирющего огня гордый владыка вспомнит великолепие своего двора; несправедный мудрец — свои книгохранилища и научные пособия; любитель изящного — свои мраморные статуи, картины и другие сокровища искусства; чревоугодник — роскошные пиры, изысканные блюда, драгоценные вина; скупец — накопленное им золото; разбойник — свое несправедно приобретенное богатство; злые, мстительные, беспощадные убийцы — свои кровавые злодеяния и насилия; сластолюбцы и прелюбодеи — мерзостные, пакостные утехи, которым они предавались. Они вспомнят все это и возненавидят себя и свои грехи. Ибо сколь жалкими покажутся все эти наслаждения душе, осужденной на страдания в адском огне на веки вечные! Как они будут яриться и буйство-

вать, осознав, что утратили небесное блаженство ради земной мякины, ради нескольких кружков металла, ради призрачных почестей, ради телесного удобства, ради приятной щекотки нервов. Да, они будут каяться: и это — второе жало червя совести, запоздалое и тщетное сожаление о содеянных грехах. Божественное правосудие настаивает на том, чтобы разум этих жалких существ постоянно помнил о грехах, в которых они повинны, а сверх того, как говорит блаженный Августин, Бог наделяет их Своим собственным знанием греха, так что грех предстанет перед ними во всей своей мерзости, как он предстоит перед очами самого Бога. Они узрят свои грехи во всем их омерзении и покаются, но слишком поздно, и они будут оплакивать упущенные ими возможности. В этом — третье, самое глубокое и самое жестокое жало совести. Совесть будет говорить: «У тебя было время, была возможность покаяться, но ты не покаялся. Родители дали тебе религиозное воспитание. Церковь давала тебе таинства, благодать и индульгенции. Священнослужитель проповедовал тебе, просил тебя сойти с ложного пути; был готов простить тебе твои грехи, сколько бы их не было, сколь мерзкими они бы не были, если бы ты только признался в них и покаялся. Но нет, ты этого сделать не захотел. Ты пренебрег священнослужителями святой церкви, ты все глубже и глубже погрязал в трясине греха. Бог звал тебя, предупреждал тебя, призывал тебя вернуться к Себе. Какой позор! Какой ужас! Царь вселенной

просил тебя, сотворенного из глины, полюбить Его, сотворившего тебя, и подчиниться Его законам. Но нет! Ты этого не захотел. А вот теперь, затопи ты весь ад слезами, если бы мог еще плакать, все это море раскаяния не дало бы того, что дала бы одна единственная слеза подлинного раскаяния, пролитая во время твоей смертной жизни. Ты молишь теперь об одном единственном мгновении земной жизни, дабы покаяться. Но время для этого прошло навеки».

Таково тройное жало совести, этой змеи, гложащей самое сокровенное нутро несчастных душ в аду, так что, исполненные адской яростью, они клянут самих себя за свое безумие, клянут лжедрузей, доведших их до гибели, клянут дьяволов, соблаздивших их в жизни и издевающихся над ними в вечности, и даже хулят и клянут Верховное Существо, благостность и долготерпение Которого они испытывали и отвергли, но правосудия и мощи Которого им не избежать.

Следующая духовная мука, которой подвергаются проклятые — это мука протяженности. В земной жизни человек, будучи способным на различные формы зла, не может предаваться им одновременно, поскольку одно зло вытесняет другое и противодействует ему, так же как один яд часто нейтрализует другой. В аду же, напротив, одно мучение не противодействует иному, а придает ему еще бóльшую силу; сверх того, поскольку духовные способности совершеннее телесных чувств, они также более восприимчивы к страда-

нию. Точно также, как каждое чувство подвергается соответствующей пытке, страдает отдельно и каждая духовная способность: воображение — от чудовищных образов, чувствительность — от перемежения влечения и ярости, сознание и понимание — от внутренней тьмы, еще более ужасной, нежели тьма внешняя, царящая в этой страшной тюрьме. Злоба, пусть бессильная, которой одержимы эти демонические души — это жуткое зло безграничной протяженности и бесконечной продолжительности, которое мы можем себе представить, только помня о чудовищности греха и о ненависти, которую Бог питает к нему.

Мука, противоположная этой муке протяженности, но сосуществующая с ней, это мука напряженности. Ад — центр зла и, как вы знаете, во всех предметах напряженность более высока в центре, нежели на периферии. В аду нет ни противодействий, ни примесей, дабы смягчить хоть на малую толику адские муки. Больше того, даже само по себе благое становится злом в аду. Общество других людей, например, которое при иных обстоятельствах облегчает страдания, будет там постоянным источником мучения; знание, к которому люди тянутся как к высшему благу, будет там ненавистнее невежества; свет, которого жаждет все сотворенное, начиная с царя творения и кончая самым ничтожным растением в лесу, будет там чем-то омерзительным. В этой жизни наши горести либо не очень продолжительны, либо не очень уж тяжки, ибо природа либо преодолевает

их, давая нам привыкнуть к ним, либо же кладет им конец, позволяя нам сломиться под их тяжестью. Но в аду мучения не преодолеваются привычкой, ибо, хотя они и обладают страшной напряженностью, они вместе с тем неизмеримо разнообразны. Каждая мука воспламеняется, так сказать, от другой и в свою очередь наделяет то, от чего она воспламеняется, еще более яростным жаром. Но природа также не может избежать этих напряженных и разнообразных мук, ломаясь под их тяжестью, ибо душа поддерживается и сохраняется во зле с тем, чтобы мучение ее было еще сильнее. Безграничная протяженность мук, невероятная напряженность страдания, постоянное разнообразие пыток — вот чего требует оскорбленное грешниками божественное величие; вот в чем нуждается святыня неба, отвергнутая и отброшенная ради похотливых и низких наслаждений падшей плоти; вот о чем взывает кровь невинного Агнца Божия, пролитая ради искупления грешников, опранный самым что ни на есть отвратительным в человеке.

И последняя и завершающая пытка всех пыток этого страшного места — это вечность ада. Вечность! О, страшное и грозное слово! Вечность! Может ли человеческий разум постичь его? И помните, это вечность мук. Даже если бы адские мучения не были столь страшными, каковы они суть на самом деле, они все же будут бесконечными, поскольку им предназначено длиться во-

веки. Но, будучи вечными, они в то же самое время остаются невыносимо напряженными, нестерпимо протяженными. Даже боль от укуса насекомого, продолжающаяся вечность, была бы страшным мучением. Но какова должна быть боль от разнообразных адских мук, испытываемая вовеки? Вовеки! Не в течение года или столетия, но вовеки! Попробуйте представить себе грозный смысл этого. Вы часто видели песок на морском берегу. Сколь малы отдельные песчинки! И какое огромное количество этих крошечных песчинок в одной горсточке песка, захваченной играющим ребенком! Теперь представьте себе гору из такого песка, высотой в миллион миль, возвышающаяся до самых высоких небес, длиной в миллион миль, доходящую до самого отдаленного пространства, и толщиной в миллион миль; и представьте себе эту огромную массу бесчисленных песчинок, увеличенную во столько раз, сколько листьев в лесу, капель воды в могучем океане, перьев на птицах, чешуек на рыбах, шерстинок на зверях, атомов в огромном воздушном пространстве; и представьте себе, что раз в миллион лет к этой горе подлетает маленькая пичужка и уносит в своем клюве одну крохотную песчинку. Так вот: сколько миллионов миллионов веков пройдет, прежде чем пичужка унесет в своем клюве хотя бы один кубический фут этой горы, сколько зон столетий, прежде чем она снесет всю гору? Но по истечении этого невообразимого отрезка времени не пройдет даже одного мгновения вечности. К

концу всех этих биллионов и триллионов лет вечность даже еще не начнется. А если гора снова образуется после того, как она была вся снесена, песчинкой за песчинкой, и если даже пичужка снова начнет прилетать и опять снесет ее песчинкой за песчинкой, и если бы гора эта возвышалась и сносились столько раз, сколько звезд на небе, атомов в воздухе, капель в море, перьев на птицах, чешуек на рыбах, шерстинок на животных, то по окончании всех этих бесчисленных возникновений и исчезновений этой неизмеримо огромной горы, не пройдет и единого мгновения вечности; даже к концу такого периода или эоны времени, от самой мысли о котором у нас кружится голова, вечность еще даже не начнется.

Один святой (кажется из отцов нашего ордена) как-то был удостоен увидеть ад. Ему казалось, будто он стоит посреди огромного зала, темного и беззвучного, где слышалось только тиканье больших часов. Тиканье это шло непрерывно; и святому показалось, будто звук этого тиканья состоит из постоянного повторения слов: «всегда, никогда», «всегда, никогда». Всегда быть в аду, никогда не быть на небесах; всегда быть вдали от Господа, никогда не усладиться блаженным лицезрением; всегда быть объатым пламенем, разъедаемым гнусом, пронзаемым раскаленными вилами, никогда не избавиться от этих пыток; всегда испытывать угрызения совести и укоры памяти, никогда от них не спастись; всегда проклинать и хулить омерзительных бесов, злорадствующих при

виде одураченного ими простофили, никогда не узреть сияющих одежд блаженных дүхов; всегда взывать из пылающей преисподней к Богу о даровании хоть одного мига облегчения ужасных страданий, никогда не получать, хотя бы на один миг, прощенья Божьего; всегда мучиться, никогда не наслаждаться; всегда быть прókлятым, никогда не быть спасенным; всегда, никогда, всегда, никогда! О, какое страшное наказание! Вечность безграничных мучений, безграничных телесных и духовных пыток — без единого луча надежды, без единой, хотя бы мгновенной передышки — мучения бескрайнего по напряжению, страданий бесконечно разнообразных, пыток, вечно восстанавливающих то, что они уничтожают, боли, постоянно терзающей дух и распинающей плоть; вечность, каждое мгновение которой представляет в самом себе вечность горя. Таково страшное наказание, предписанное всемогущим и справедливым Богом для тех, кто умирает в состоянии смертного греха.

Да, справедливым Богом! Люди, всегда рассуждающие по-людски, не могут понять, как это Бог налагает вечно тянущееся, бесконечное наказание в адском пламени за один тяжкий грех. Они рассуждают так потому что, ослепленные грубой иллюзией плоти и тьмой человеческого разумения, они не способны понять всей гнусности совершенного ими смертного греха. Они рассуждают так, потому что неспособны понять, что даже легкий грех есть нечто столь гнусное, что, даже если все-

могущий Творец мог бы положить конец всему злу и страданию в мире — войнам, болезням, разбою, преступлениям, смертям, убийствам — с тем условием, что Он оставит ненаказанным один единственный легкий грех, одну ложь, один только гневный взор, одно мгновение преднамеренной лени — то Он, великий, всемогущий Бог, не мог бы этого сделать, ибо грех — все равно помышлением или делом — есть нарушение Его закона, и Бог не был бы Богом, если бы не наказал нарушителя.

Один грех, одно мгновение бунтарской гордыни разума, стоил Люциферу и трети ангельского воинства их славы. Один грех, одно мгновение безумия и слабости, лишил Адама и Еву Эдема и внес смерть и страдания в мир. Дабы устранить последствия этого греха, Единородный сын Божий сошел на землю, жил, страдал и умер мучительной смертью после трех часов на кресте.

О, дорогие мои братцы во Иисусе Христе, оскорбим ли мы этого благого Спасителя, разгневаем ли мы Его? Станем ли мы снова топтать этот растерзанный и искалеченный труп? Плюнем ли мы в Его лицо, исполненное скорби и любви? Станем ли мы как жестокосердные иудеи и грубые воины издеваться над этим благим и любвеобильным Спасителем, Который нас ради прошел страшной стезей скорбей? Каждое греховное слово — это лишняя рана на Его нежном теле. Каждое греховное деяние — это лишний шип, терзающий Его чело. Каждый нечистый помысел, которому мы преднамеренно отдаемся, — это острое

копие, пронзающее Его святое, любящее сердце. Нет, нет! Не может человек оскорблять величие Божее, не может совершать того, что карается вечностью мучений, того, что заново распинает Сына Божия и издевается над Ним.

Я молю Бога, чтобы мои жалкие слова помогли сегодня утвердить в праведности тех, на ком почит благодать, укрепить колеблющихся, вернуть в состояние благодати бедную, заблудшую душу, если таковая находится между нами. Я молю Господа — а вы молитесь со мной — дать нам покаяться в наших грехах. А теперь я попрошу всех вас, встав на колени здесь, в этой скромной часовне, повторить за мной покаянную молитву в присутствии Бога. Ибо Он здесь, в дарохранительнице; Он горит любовью к роду человеческому; Он готов утешить страждущих. Не страшитесь же! Как бы многочисленны и гнусны не были ваши грехи, они будут отпущены вам, если вы только покаетесь в них. Пренебрегите мирским стыдом! Бог — милостивый Господь, который желает грешнику не вечной смерти, а покаяния и жизни.

Он призывает вас к Себе. Он сотворил вас из ничего. Он любит вас, как может любить только Бог. Его руки разверзнуты, дабы принять вас, даже если вы согрешили против Него. Приди же к нему, бедный грешник, заблудший грешник! Теперь должное время. Час настал.

Священник поднялся и, повернувшись лицом к алтарю, опустил на колени на ступеньку амвона перед дарохранительницей. Сумерки сгусти-

лись. Он подождал, пока все в часовне стали на колени, и наступило полное молчание. Тогда, подняв голову, он с жаром прочел, фразу за фразой, покаянную молитву. Мальчики следовали ему, повторяя фразу за фразой. Стивен с прилипшим к гортани языком поник головой и молча молился:

— О, Господи Боже мой —
— О, Господи Боже мой —
— Я каюсь всем сердцем —
— Я каюсь всем сердцем —
— в том, что оскорбил Тебя —
— в том, что оскорбил Тебя —
— и я ненавижу свои грехи —
— и я ненавижу свои грехи —
— паче всякого иного зла —
— паче всякого иного зла —
— ибо они огорчают Тебя, Боже мой —
— ибо они огорчают Тебя, Боже мой —
— Тебя, который заслуживает —
— Тебя, который заслуживает —
— всей моей любви —
— всей моей любви —
— и я твердо намерен —
— и я твердо намерен —
— уповая на благодать Твою —
— уповая на благодать Твою —
— никогда больше не оскорблять Тебя —
— никогда больше не оскорблять Тебя —
— и исправить мою жизнь —
— и исправить мою жизнь —

**
*

После ужина Стивен поднялся в свою комнату, чтобы уединиться с душой своей, и на каждой ступени лестницы душа его как бы вздыхала; на каждой ступеньке душа его вздыхала, взбираясь наверх сквозь густые сумерки.

Он остановился на площадке лестницы и, взявшись за шарообразную фарфоровую ручку, быстро распахнул дверь. Он ждал в страхе, с изнывающей душой, молча молясь, чтобы смерть не коснулась его чела, когда он будет переступать порог, чтобы диаволам, прячущимся во тьме, не было дано власти над ним. Он ждал у порога, как у входа в какую-то темную пещеру. Там были зорко сторожащие его лица и глаза.

— Конечно мы превосходно знали что хотя оно неизбежно должно было обнаружиться ему будет трудно попытаться постараться побудить самого себя попытаться постараться обнаружить духовного уполномоченного и поэтому мы превосходно знали —

Бормочущие лица зорко сторожили его; бормочущие голоса заполняли тьму пещеры. Его обуравал острый духовный и телесный ужас, но, храбро подняв голову, он твердым шагом вступил в комнату: дверь, комната. Знакомая комната, знакомое окно. Он спокойно сказал себе, что слова, которые бормотались в темноте, — совершенно

бесмысленны. Он говорил себе, что это просто его комната с открытой настежь дверью.

Он закрыл дверь и, быстро подойдя к кровати, стал перед ней на колени и закрыл лицо руками. Ладони его заоченели и покрылись потом, а руки и ноги ныли от холода. Телесное беспокойство, холод и усталость изнуляли его, путая его мысли. Зачем он стоит на коленях как ребенок, читающий свои молитвы на сон грядущий? Чтобы побыть наедине со своей душой, чтобы проверить свою совесть, чтобы стать лицом к лицу со своими грехами, чтобы вспомнить, когда, как и при каких обстоятельствах он их совершал, чтобы оплакать их. Но плакать он не мог. Он не мог даже вспомнить их. Он чувствовал только, как ноют его душа и тело, как одурманено и истомлено все его естество — память, воля, разум, плоть.

Это дело диаволов; это они путают его мысли и дурманят его совесть; это они осаждают его трусливую, блудливую плоть. И, робко моля Бога простить ему его слабость, он лег на постель и, крепко закутавшись в одеяла, закрыл лицо руками. Он грешен. Он грешил так тяжко перед небом и перед Богом, что недостойн называть Бога отцом.

Неужели это он, Стивен Дедалус, творил все это? Его совесть стенала в ответ: «Да. Он. Тайно. В грязи. Неоднократно. Хуже того, в своей греховной ожесточенности он дерзновенно притворялся праведником даже перед самим алтарем, хотя душа его насквозь прогнила. Как Бог поща-

дил его?» Грехи его окружили его прокаженной толпой, дышали на него, склонялись к нему со всех сторон. Он попытался забыть о них в молитве, съезжившись и зажмурившись. Но душа его не спала, глаза его были плотно закрыты, но он все слышал. Он напряг свою волю, чтобы не слышать и не видеть. Он напрягся до того, что все его тело затрепетало от усилия воли, и душа его уснула, но только на мгновение. Потом она опять проснулась, и вот он увидел:

Поле, заросшее колючими сорняками, репейником и пучками крапивы. Посреди грубой, жесткой растительности валяются мятые жестянки, кучи и спирали засохших испражнений. Белесый, болотный свет исходит от кала и пробивается сквозь колючие, серо-зеленые сорняки. Мерзким смрадом, слабым и гнусным, как болотный свет, несет от жестянок и от старого, заскорузлого навоза.

На поле существа — одно, три, шесть. По полю бесцельно, туда и сюда, бродят существа. Козлоподобные существа с человеческими лицами, с грубокожими лбами, жидкими бородками, с резино-серыми лицами. Зло колышется в их жестких глазах. Они бродят туда и сюда, волоча за собой длинные хвосты. Усмешка беспощадной злобы маячит на их старых, костлявых харях. Один из них кутается в рваный фланелевый жилет, другой нудно хнычет, когда его борода цепляется за колючие сорняки. Их бесслюнные губы что-то лопочат. Они бродят, медленно описывая круги

вокруг поля, продираясь через сорняки, волоча за собой свои длинные хвосты по дребезжающим жестянкам. Они медленно кружат туда и сюда, все сужая свои круги, окружая его. Губы их что-то беззвучно лопочат, их длинные хвосты, замазанные сухим калом, тычатыся в их ужасающие лица . .

— А-а-а!

Стивен в бешенстве сорвал с себя одеяло, выпрастывая лицо и шею. Это — его ад! Бог дал ему увидеть ад, уготованный для его грехов — смрадный, животный, пропитанный злом ад козлоподобной нечисти. Для него! Для него!

Он сорвался с кровати; зловонье ползло по его горлу, закупоривая и мутя его внутренности. Воздуха! Воздуха с небес! Он заковылял к окну, стеная и почти теряя сознание от тошноты. У умывальника его схватила судорога; он сжал руками свой холодный лоб, и его мучительно и обильно вырвало.

Когда приступ кончился, он кое-как добрал до окна, поднял раму и уселся в углу ниши, облокотившись о подоконник. Дождь прошел; клочки тумана плыли от одной светящейся точки к другой; город был окутан в мягкий кокон желтоватой дымки. Спокойное небо чуть-чуть светилось. Воздух, который он вдыхал, был сладок, как в обмытой дождями чаще. И в этом покое, в этом мирном аромате, глядя на светящиеся точки, он заключил завет со своим сердцем.

Стивен молился:

— Было время, когда Он замышлял сойти на землю в небесной славе. Но мы согрешили, и, щадя нас, Он мог прийти только с прикрытой славой и с приглушенным сиянием, ибо Он был Бог. Сам Он пришел в образе слабости, а не в образе могущества, а вместо Себя послал Свое творение, Тебя с Твоей человеческой прелестью, с Твоим сиянием, которое довлеет нашему состоянию. И ныне, родная Мати, Твое лицо, Твой облик говорят нам о Вечном — не как земная красота, на которую опасно взирать, но как Твое знамение, как утренняя звезда, светлая и певучая, дышащая целомудрием, глаголющая о небесах и вселяющая мир. О, предвозвестница дня! О, свете паломника! Веди нас и впредь, как Ты вела нас доселе — через тьму ночную, через блеклую пустыню, веди нас к Господу Богу нашему Иисусу Христу, укажи нам путь к дому нашему.

И глядя затуманившимися от слез глазами на небо, он в смирении оплакивал свою утраченную невинность.

Когда наступил вечер, он вышел из дома. Первое же прикосновение сырого, темного воздуха и треск захлопнувшейся за ним двери опять пробудили его совесть, убаюканную было молитвой и слезами. Кайся! Кайся! Мало одних молитв и слез. Он должен пасть на колени перед служителем Духа Святого и поведать ему — правдиво и покаянно — все свои тайные грехи. Прежде чем вновь услышать скрип отворяющейся двери, прежде чем войти в дом, прежде чем увидеть накрытый для

ужина кухонный стол, он падет на колени и покается. В этом ничего трудного нет.

Угрызения совести утихли, и он быстро зашагал по темным улицам. Сколько плит на тротуаре, сколько улиц в городе, сколько городов на свете! Но вечность не знает ни конца, ни края. Он находится в состоянии смертного греха. Даже один единственный раз — это уже смертный грех. А это может случиться в любое мгновение. Как это случается так молниеносно? Потому что ты видишь или только мечтаешь увидеть. Глаза видят предмет, даже не желая его видеть. И потом это случается в одно мгновение. Но разве эта часть тела обладает своим собственным разумением? Змея — самое коварное из животных. Она в одно мгновение понимает, чего она хочет, и потом греховно продлевает свою похоть, мгновение за мгновением. Она чувствует, она понимает, она испытывает похоть. Как это страшно! Кто это устроил? Кто снабдил эту животную часть тела разумением, животной похотью? Что это: он сам или животная часть тела, движимая какой-то собственной низменной душой? Душа его содрогнулась от отвращения, когда он представил себе эту тупую змеиную жизнь, питающуюся мозгом костей и жиреющую от слизи сладострастия. О зачем это так устроено? Зачем?

Эти затаенные мысли мучили его, и он опять почувствовал, что трепещет от страха Божия. Ведь это Бог сотворил всё и вся. Как же он додумался до такого безумия? И, ежась во тьме и в

страхе, он без слов молил своего ангела-хранителя отогнать мечом демона, нашептывавшего ему эти мысли.

Шепот прекратился, и он ясно сознал, что его собственная душа преднамеренно согрешила словом, делом и помышлением и этот грех — грех плотский. Покаяться! Он обязан покаяться в каждом своем грехе! Как рассказать священнику словами все, что он натворил? Но это надо, надо! Как объяснить все это, не сгорев со стыда? А как он мог делать все это, не сгорев со стыда? Он сошел с ума! Покаяться! О, он будет снова свободным и безгрешным! Может быть, священник с этим как-нибудь справится. О, Боже милостивый!

Он шел и шел по темным улицам, опасаясь остановиться хоть на мгновение, чтобы не показалось, что он боится того, что его ждет, но и боясь добраться до того, к чему его все еще влекло. Как прекрасна вероятно душа в состоянии благодати, душа, на которую Бог взирает с любовью!

... Растрепанные, неопрятные девушки сидят вдоль края тротуара со своими корзинками. Их сальные волосы свисают на лбы. Они сидят в слякоти, и привлекательного в них мало. Но их души на виду у Бога; и если их души в состоянии благодати, то они сияют, и Бог, глядя на них, любит их.

Как унижена его собственная душа: подумать только, как он пал, подумать только, что души этих девушек ближе к Богу, чем его душа! Вихрь неся над ним к мириадам других душ, на которые

благоволение Господне сияло то ярче, то слабее, как на звездах, то блестящих, то тусклых, то неподвижных, то колеблющихся. И сияющие души унеслись — и стойкие, и шаткие, но все захваченные одним общим вихрем. Лишь одна душа загублена, жалкая душонка, его душонка. Она вспыхнула и угасла, забытая, затерянная. И вот конец: черное, ледяное, пустое ничто.

Прошли огромные отрезки времени — неозаренные, неосознанные, нежилые, — прежде чем к нему медленно вернулось сознание того, где он. Вокруг него постепенно сложилась убогая сцена: грубый говор, газовые светильники в лавках, запах рыбы, сивухи и мокрых опилок, толкущийся народ. Улицу собиралась перейти старуха с керосиновым бидоном в руках. Он нагнулся к ней и спросил, есть ли тут поблизости часовня.

— Часовня, сэр? Да, сэр. Часовня у церкви.

— А церковь где?

Она перенесла бидон в другую руку и указала ему путь. И когда она протянула свою грязную, ссохшуюся руку под бахромкой накидки, он еще ниже нагнулся к ней, растроганный и умиротворенный ее голосом.

— Спасибо.

— Не за что, сэр.

Свечи на престоле были уже погашены, но аромат ладана еще стоял в полутемном среднем проходе. Рабочие с благоговейным выражением на бородатых лицах выносили балдахин через боковую дверь; ими распорядился ризничий — спокойны-

ми жестами и указаниями. Несколько прихожан всё еще оставалось в церкви: одни молились перед боковыми притворами, другие стояли на коленях у исповедален. Он робко подошел и опустился на колени у последней скамьи, наслаждаясь миром, тишиной и благовонной полутьмой церкви. Доска, на которой он стоял на коленях, была узкой и стертой, а коленопреклоненные люди — смиренными последователями Иисуса Христа. Иисус ведь сам родился в бедности, трудился в плотницкой мастерской, сам пилил и строгал доски и говорил о Царствии Божьем в первую очередь бедным рыбакам, поучая всех быть чистыми сердцем.

Он закрыл лицо руками и начал молиться о том, чтобы стать чистым, чтобы уподобиться тем, кто стоял на коленях рядом с ним, и чтобы его молитва стала столь же приемлемой. Он молился рядом с ними, но это было нелегко. Душа его загнила в грехе, и он не смел просить о прощении с наивным доверием тех, которых Иисус на неисповедимых путях Господних призвал к Себе первыми — плотников, рыбаков, простых, бесхитростных людей, занимавшихся нехитрым ремеслом, обрабатывавших дерево или терпеливо чинивших сети.

По боковому притвору прошел высокий человек, и исповедники зашевелились. Быстро взглянув вверх, он увидел длинную седую бороду и коричневую рясу капуцина. Священник вошел в исповедальню и скрылся из вида. Двое исповедников поднялись и вошли в исповедальню по ту и

сю сторону священника. Деревянная ставенька открылась с одной стороны, и еле слышное бормотание нарушило тишину.

Кровь начала бормотать в его венах, точно гревовный город, разбуженный, чтобы услышать свой смертный приговор. Вокруг него начали опадать крошечные хлопья пламени и зола, осевшая на людских домах. А сами люди шевелились, пробуждаясь, встревоженные раскаленным воздухом.

Ставенка захлопнулась. Первый исповедник вышел из исповедальни. Какая-то женщина спокойно и легко вошла туда, где только что на коленях стоял первый исповедник. Снова послышалось тихое бормотание.

Он все еще не мог уйти из часовни. Стоило ему только встать, сделать один шаг и тихо выйти, а потом стремглав побежать по темным улицам. Он все еще мог спастись от позора. О, если бы дело шло о каком угодно страшном преступлении, лишь бы не об этом грехе! О, если бы он был повинен в убийстве! Маленькие пылающие хлопья продолжали опадать и касаться его со всех сторон, бесстыдные помыслы, бесстыдные слова, бесстыдные деяния. Стыд покрывал его всего подобно непрерывно падающей и оседающей, раскаленной золе. Но как все это выразить словами? Его беспомощная душа задохнулась бы, перестала бы быть.

Ставенка опять захлопнулась. Из дальней дверцы исповедальни вышел исповедник. Открылась ближняя ставенка. Следующий исповедник вошел туда, откуда вышел предыдущий. Из бу-

дочки слышался нежный шепот, реющий в воздухе, как облачко благовонного фимиама. Это исповедывалась женщина: мягкие шепчущие облачка, мягкие шепчущие испарения — шепчущие и пропадающие.

Он смиренно ударил себя кулаком в грудь. Нет, он воссоединится с другими и с Богом! Он будет любить своего ближнего! Он возлюбит сотворившего и любящего его Бога! Он будет стоять на коленях и молиться вместе с другими и будет счастлив! Бог взглянет на него и на них и возлюбит всех.

Быть добрым нетрудно. Божие бремя благо и легко. Правда, лучше было бы вовсе не грешить, лучше было бы остаться навсегда ребенком, ибо Бог любил малых детей и допускал их к Себе. Но Бог милостив и к бедным грешникам, которые искренне оплакивают свои грехи. Как это верно! Вот что значит подлинная благодать!

Ставка внезапно захлопнулась. Исповедник вышел. Очередь дошла до него. Он встал и в трепете, ничего не видя перед собой, вступил в будочку.

Час наконец настал. Он стал на колени в молчаливом сумраке и поднял глаза к белому распятию, висевшему над ним. Бог увидит, что он действительно раскаивается. Он расскажет обо всех своих грехах. Его исповедь будет долгой-долгой. Все в часовне узнают, какой он грешник. Пускай. Это так и есть. Но Бог обещал простить ему, если он покается. И он кается. Он сложил руки и под-

нял их к распятию, молясь своими затуманенными от слез глазами, молясь всем своим трепещущим телом, мотая головой, как какая-то заблудшая тварь, стеная:

— Грешен! Грешен! О, как я грешен!

Ставенка щелкнула, отворилась, и сердце его ёкнуло. За решеткой он увидел лицо старого священника; отвернувшись от него, он сидел, облокотившись на одну руку. Он перекрестился и попросил священника благословить его грешного. Потом, преклонив голову, он прочел, трясаясь от страха, Confiteor.³ На словах: «Моя тяжкая вина» он поперхнулся.

— Когда ты в последний раз был на исповеди, дитя мое?

— Очень давно, отец мой.

— Месяц тому назад, дитя мое?

— Дольше, отец мой.

— Три месяца, дитя мое?

— Дольше, отец мой.

— Шесть месяцев?

— Восемь месяцев, отец мой.

Так началось. Священник спросил:

— Какие грехи ты совершил за это время?

Он начал каяться: пропущенные обеды и молитвы, сознательная ложь.

— Еще что-нибудь, дитя мое?

Грехи гнева, зависти, чревоугодия, тщеславия, непослушания.

³ Лат. Исповедую: начало обязательной молитвы перед исповедью.

— Еще что-нибудь, дитя мое?

Помощи было искать неоткуда. Он пробормотал:

— Я . . . грешил против целомудрия, отец мой.

— С самим собой, дитя мое?

— Да, и . . . с другими.

— С женщинами, дитя мое?

— Да, отец мой.

— С замужними женщинами, дитя мое?

Этого он не знал. И его грехи потекли с его уст — один за другим. Они капали постыдными каплями, исходящими из его души, гниющей и кровоточащей, как язва; они сочились мутной, порочной струей. Он выдавил из себя последние грехи — постыдные, мерзкие. Больше рассказывать было нечего. В полном изнеможении он поник головой.

Священник молчал. Потом он спросил:

— Сколько тебе лет, дитя мое?

— Шестнадцать, отец мой.

Священник несколько раз провел рукой по лицу. Потом, упираясь лбом в ладонь, он прислонился к решетке и все еще с отвернутыми в сторону глазами заговорил усталым, медленным, старческим голосом:

— Ты еще очень молод, дитя мое, — сказал он, — и я умоляю тебя: откажись от этого греха. Это страшный грех. Он умерщвляет и тело, и душу. Он — причина многих преступлений и напастей. Откажись от него, дитя мое, ради Господа Бога нашего. Это бесчестный грех, недостойный мужчи-

ны. Ты не можешь знать, куда заведет тебя эта злосчастная привычка, или как она обернется против тебя. Пока ты совершаешь этот грех, бедное дитя мое, Бог тебя в ломаный грош не ставит. Молись нашей матери Марии и проси Ее помочь тебе. Она поможет тебе, дитя мое. Молись нашей Пресвятой Деве, когда тебя обуревают греховные помыслы. Ты ведь это сделаешь, да? Я знаю: ты каешься во всех своих грехах. И ты дашь тут же обещание Богу, что Его святой благодатью ты никогда больше не оскорбишь Его этим гнусным грехом. Ты ведь дашь это торжественное обещание Богу, правда?

— Да, отец мой.

Усталый, старческий голос орошал его трепещущее и иссохшее сердце, как благодатный дождь. Как сладко и как грустно!

— Сделай это, дитя мое. Тебя завлек дьявол. Гони его, этого нечистого духа, ненавидящего Господа, гони его обратно в преисподнюю, если он опять станет побуждать тебя осквернить твое тело. Обещай же Богу, что ты откажешься от этого жалкого, презренного греха.

Ослепленный слезами и сиянием милости Господней, он преклонил голову, услышал торжественные слова отпуска и увидел руку священника, поднятую в ознаменование прощения.

— Господь да благословит тебя, дитя мое. Молись за меня.

Он стал на колени в углу темной церкви, чтобы прочесть молитву после исповеди, и молитва

его возносилась к небесам из его умиротворенного сердца, как из белой розы возносится сладкий аромат.

Мокрые улицы были ликующими. Он шагал домой, сознавая, как невидимая благодать проникает и окрыляет его тело. Несмотря на все, он добился своего: он исповедался, и Бог простил ему. Душа его вновь стала прекрасной и святой, святой и счастливой.

Так хорошо было бы теперь умереть, если на то будет воля Господня. Так хорошо жить благодатно, жить жизнью покоя и всепрощения.

Он сидел у камина в кухне, не смея говорить от счастья. До этого он и понятия не имел, какой прекрасной и покойной может быть жизнь. Зеленый квадратик бумаги, заколотый булавками вокруг лампы, отбрасывал нежную тень. На буфете — тарелка с сосисками и студнем, а на полке яйца. Это — на завтра утром, после причастия в школьной часовне. Студень, яйца, сосиски и несколько чашек чаю. Как все-таки проста и прекрасна жизнь! И вся она лежит перед ним.

Мечтая, он заснул; мечтая, проснулся и увидел наступившее утро; мечтая, зашагал в школу.

Все мальчики уже были там, стоя на коленях, каждый на своем месте. Радостно и робко он стал на колени между ними. Престол был покрыт белыми цветами; и в утреннем свете бледные огоньки свечей посреди белых цветов были ясными и безмолвными, как его душа.

Он стоял на коленях перед престолом посреди своих классовых товарищей, держа вместе с ними на престольную пелену руками, образовывавшими живые перила. Руки его тряслись, а душа трепетала, когда он слышал, как священник идет с чашей от одного причастника к другому.

— *Corpus Domini nostri.* ⁴

На яву ли все это? Он стоит на коленях, очищенный от грехов, смиренный; через секунду он будет держать на языке облатку, и Бог войдет в его просветленную плоть.

— *In vitam aeternam. Amen.* ⁵

Новая жизнь! Жизнь благодати, добродетели и счастья! И все это на самом деле. Это не сон, от которого он пробудится. Былое прошло.

— *Corpus Domini nostri.*

Чаша пришла к нему.

⁴ Л а т. Тело Господа нашего.

⁵ Л а т. В жизнь вечную. Аминь.

4

Воскресенье было посвящено тайне Пресвятой Троицы, понедельник — Святому Духу, вторник — ангелам-хранителям, среда — Святому Иосифу, четверг — святым таинствам, пятница — Страстям Господним, суббота — Пресвятой Деве Марии.

Каждое утро он сизнова посвящал себя тому или иному святому образу, той или иной святой тайне. День его начинался с самоотверженной отдачи всех помыслов и деяний намерениям Первосвященника и с ранней литургии. Сырой утренний воздух еще обострял его благочестие; и часто, стоя на коленях с кучкой других молящихся у бокового алтаря и следя по молитвеннику с вкладками за бормотанием священника, он быстро оглядывал облаченную фигуру, стоящую в полумраке между двумя свечами — символами Нового и Ветхого Завета, — и воображал, что стоит на коленях на литургии в катакомбах.

Его повседневная жизнь складывалась из разных видов благочестия. Путем коротких возгласов

и молитв он щедро искупал целые столетия — по дням, сорокадневкам и годам — для душ в чистилище; но духовное ликование, которое он испытывал, отпуская с такой легкостью фантастические сроки канонических наказаний, не совсем удовлетворяло его, несмотря на все усердие его моления, так как он не был уверен в том, какую долю временных страданий он искупил, молясь за страждущие души. И, опасаясь, что посреди очищающего пламени, которое отличалось от адского пламени только тем, что не было вечным, его усилия выльются всего-навсего в одну каплю влаги, он постоянно, с каждым днем все более стремился усилить свое молитвенное рвение.

Каждая часть дня, распределенного в соответствии с тем, что он теперь считал обязанностями своего жизненного пристанища, посвящена была духовному преображению. Его жизнь, казалось, приблизилась к вечности; он мог заставить каждое свое помышление, слово и деяние, каждую секунду своего сознания сиять и отзываться на небесах. Иногда его уверенность в этом непосредственном отголоске становилась столь живой, что он чувствовал, как его благочестивая душа стучит по клавиатуре огромного кассового аппарата, и видел, как сумма его покупок сразу же появляется на небесах — не в виде цифры, а тонкой струйкой дыма или стебельком стройного цветка.

Да и четки, которые он постоянно перебирал — он носил их прямо в кармане брюк, чтобы пользоваться ими на улице — преобразались в венчи-

ки цветов такой неопределенной, неземной формы, что они казались ему столь же бесцветными и безароматными, сколь и безымянными. Он посвящал каждый из трех ежедневных переборов четок усовершенствованию души в трех богопознавательных добродетелях — в вере в Отца, сотворившего его, в надежде на Сына, искупившего его, в любви к Духу Святому, освятившему его; и эту трижды повторяемую тройную молитву он приносил в жертву Трем Ипостасям через Деву Марию во имя ее ликующих, скорбных и славных тайн.

В каждый из семи дней недели он также молился, дабы один из семи даров Духа Святого снизошел на его душу, изгоняя, день за днем, в отдельности каждый из семи смертных грехов, осквернявших ее в прошлом; он молился о каждом отдельном даре в положенный день, будучи уверенным, что он на него снизойдет, хотя иногда дивился тому, что мудрость, разумение и знание считаются настолько различными по своей природе, что о каждом из этих даров полагается молиться особо. Но он верил, что на каком-то будущем перегоне духовного паломничества эта трудность будет преодолена, и что его грешная душа, просветленная Третьей Ипостасью Пресвятой Троицы, воспрянет из своей слабости. Он верил во все это еще охотнее и трепетнее перед лицом того Божественного мрака и молчания, в котором пребы-

вает невидимый Утешитель,¹ символами Которого считаются голубь и вихрь, и грех против Которого не прощается; то вечное, таинственное Естество, Которому, как Богу, священники служат литургию раз в год в красных как языки пламени облачениях.

Система образов, посредством которой природа и родство трех Ипостасей Троицы туманно излагались в изучаемых им богословских книгах — Отец, испокон веков созерцающий как в зеркале свое Божественное совершенство и тем самым вечно рождающий извечного Сына, Дух Святой, извечно исходящий от Отца и от Сына — легче воспринималась его разумом в силу ее величественной невразумительности, нежели тот простой факт, что Бог возлюбил его душу испокон веков, за много эпох до его рождения в мире, за много веков до возникновения самого мира.

Он слышал, как названия страстей — любовь, ненависть — торжественно произносятся на сцене и с амвона, находил их торжественное описание в книгах и дивился тому, что его душа была неспособной длительно вмещать в себе эти страсти, а его уста — неспособными произносить их названия. Часто его обуревало внезапное раздражение, но ему никогда не удавалось превратить его в постоянную страсть, и он избавлялся от этого раздражения, как будто его тело высвобождалось из-под внешней шкурки или кожуры. В свое вре-

¹ Параклет, т. е. Святой Дух.

мя некое невесомое, зловещее, бормочущее естество проникло в его душу и воспламенило ее переходящим, незаконным сладострастием. Но и оно выскользнуло из него и оставило его разумение незамутненным и безразличным. Вот — так ему казалось — вот единственная любовь и единственная ненависть, которые его душа когда-либо сможет вмещать в себе.

Но сомневаться в реальности самой любви он больше не мог; ведь Сам Бог возлюбил его душу божественной любовью испокон веков. Постепенно, по мере обогащения его души духовным знанием, он начинал видеть мир в целом, как некое огромное, симметрическое выражение мощи и любви Бога. Жизнь преображалась в божественный дар, за каждое мгновение, за каждое отдельное ощущение которого — хотя бы просто за висящий на ветке лист — душа не могла не славословить и не благодарить Творца. При всей своей конкретности и сложности мир существовал для него только как теорема Божьей мощи, любви и всеобъемлемости. И столь целостным и бесспорным было это дарованное его душе сознание божественного смысла во всей природе, что он почти перестал понимать, зачем собственно ему еще жить. Но все же и его жизнь была частью замысла, и сомневаться в ее полезности он не смел — ведь он в прошлом так тяжело и так мерзко грешил против божественного плана. Смирённая и уничтожённая этим сознанием единой, вечной, вездесущей и совершенной реальности, его душа сно-

ва взваливала на себя груз религиозных упражнений, месс, молитв, таинств и приемов самоизнурения. И только тогда, впервые с тех пор, как он начал созерцать великую тайну любви, он почувствовал внутри себя некую теплоту, как будто в нем зашевелилась новая жизнь, или обогатилась добродетелью сама душа. Традиционная в церковном искусстве поза экстаза — поднятые ввысь и разверзнутые руки, открытые уста и глаза человека на грани обморока — стала для него образом молящейся души, смиренной и млеющей перед лицом Творца.

Зная об опасностях духовной экзальтации, Стивен не разрешал себе пропустить ни одного, хотя бы самого незначительного или скромного религиозного упражнения, стремясь на путях постоянного истязания плоти добиться скорее искупления своего греховного прошлого, чем чреватой опасностями святости. Каждое из его пяти чувств было подчинено строжайшей дисциплине. Чтобы обуздать зрение, например, он поставил себе за правило ходить по улице с опущенными глазами, не смотря по сторонам и не оглядываясь. Его глаза избегали встречи с глазами женщин. При чтении он иногда дисциплинировал свои глаза мгновенным усилием воли — внезапно, посреди фразы, подымая их ввысь и закрывая книгу. В целях умерщвления слуха он не управлял своим ломающимся голосом, не пел, не свистал и не избегал болезненно раздражавших его нервы звуков — точения ножей, скрежета совка, подбирающего зо-

ду, чистки ковров метлой. Умерщвление обоняния было делом более трудным, поскольку он не знал инстинктивного отвращения к дурным запахам — ни к запахам внешнего мира, вроде запаха навоза или дегтя, ни к запахам собственного тела, с которыми он производил немало странных опытов. В конце концов оказалось, что единственным оскорблявшим его обоняние запахом была вонь, напоминающая вонь гниющей рыбы, например, запах отстоявшейся мочи. Чтобы умерщвлять свой вкус, он придерживался строжайших правил за столом, дотошно соблюдая все церковные посты и пытаясь не думать о вкусе отдельных блюд. Но самую изощренную изобретательность он проявлял, умерщвляя чувство осязания. Он никогда не менял положения своего тела в постели, сидел в самых что ни на есть неудобных позах, терпеливо переносил зуд и боль, держался вдалеке от тепла, простаивал на коленях всю мессу, за исключением чтения Святого Писания, не обтирал полотенцем шею и лица, чтобы позволить холодному воздуху обжигать кожу. Когда он не перебирал своих четок, он держал руки прямо по швам на манер бегуна, никогда не клал их в карманы и не закладывал за спину.

Соблазна смертного греха он больше не испытывал. Но его удивляло то, что даже по окончании сложного курса религиозных упражнений и аскетических приемов, он все еще оставался легкой добычей ребячливых и недостойных недостатков. Его молитвы и посты не помогали ему пере-

стать раздражаться чиханием матери или помехами во время молитв. Ему требовалось огромное напряжение воли, чтобы справиться с импульсом, побуждавшим его поддаться этому раздражению. Он вспоминал внешние признаки приступов мелочного раздражения, которые он нередко замечал за своими учителями — дергающийся рот, плотно сжатые губы, багровеющие щеки, — и это сравнение удручало его, несмотря на все его старательное смирение. Слить свою жизнь с общим потоком других жизней было для него делом более трудным, чем любой пост, чем любая молитва; это постоянное сознание неполноценности вызвало в нем в конце концов чувство духовного оскудения, сомнений и угрызений совести. Душа его проходила через период опустошения, в котором сами таинства, казалось, превратились в иссякшие родники. Исповедь стала каналом для стока недостатков, за которыми он тщательно следил, но в которых он не каялся. А реальное причастие не давало ему тех блаженных мгновений девственной самоотдачи, которые он испытывал при символическом причастии: им он иногда завершал молитвы перед дарохранительницей на престоле. Книгой, которой он пользовался для такого преклонения перед Телом Христовым, был старый, полузабытый труд св. Альфонса Лигурийского с выцветшим шрифтом на поблеклой, пожелтевшей бумаге. Увядавший было мир страстной любви и девических откликов возникал в его душе, когда он читал эти страницы, на которых образы из Пес-

ни Песней переплетались с причастными молитвами. Беззвучный голос, казалось, убаюкивал и славословил его душу, называя ее любовными именами, призывая ее восстать к бракосочетанию и двинуться в путь, наказывая ей спешить с вершины Аманы, от гор барсовых;² а отдававшаяся душа его, казалось, отвечала таким же беззвучным голосом: „Inter ubera mea commorabitur“.³

Мечты о самопожертвовании притягивали его. В этом была заложена опасность, ибо его душу опять стали тревожить настойчивые плотские соблазны, бродившие в нем во время молитв и созерцания. Он испытывал острое сознание могущества, зная, что одним единственным актом в момент размышления он способен разрушить всё, чего добился. Ему казалось, что к его босым ногам медленно-медленно придвигается вода, и что вот-вот первая, слабая, бесшумная волна робко коснется его разгоряченной кожи. И вот тогда, почти в самый момент касания, почти на грани греховного падения, он вдруг оказывался на сухом берегу, вдали от надвигающейся волны, спасенный внезапным волевым актом или внезапным молитвенным восклицанием. И наблюдая за отдаленной серебристой полоской воды, которая вновь начала красться к его ногам, его душа упивалась сознанием своего могущества и удовлетворением: он не поддался искушению и не разрушил того, чего достиг.

² Песня Песней, 4, 8.

³ Л а т. У груди моих пребывает (Песня Песней, 1, 12).

После такого неоднократного спасения от соблазна он начал беспокоить себя, не улетучивается ли из него мало-помалу та благодать, терять которой он не хотел. Четкая уверенность в его иммунитете замутилась и заменилась смутным страхом, что, может быть, душа его уже неволью пала. Только с огромным трудом ему удавалось возвращать свою былую уверенность в том, что он все еще пребывает в состоянии благодати — удавалось тем, что он говорил себе, что ведь он молился Богу при каждом искушении, и что благодать, о которой он молился, не могла не быть ему дарована, поскольку Бог был обязан даровать ее. Да и сама повторность и неистовство соблазнов наглядно доказали ему наконец правду того, что он слышал об искушениях, претерпеваемых святыми. Частые и неистовые искушения доказывали, что твердыня его души не пала, и что диавол неистовствует, пытаясь одолеть ее.

Иногда после того, как он каялся на исповеди в своих сомнениях и колебаниях — в мимолетной невнимательности во время молитвы, в порывах мелочного раздражения или в хитроумном своеволии в речах или в поступках, — его духовник, прежде чем отпустить ему грехи, настаивал на том, чтобы он назвал какой-нибудь старый грех. Он это делал со смирением и со стыдом сызнова в нем каялся. Его унижало и позорило сознание, что он полностью никогда от него не освободится; как бы свято он ни жил, каких бы добродетелей, какого бы совершенства он ни достиг, всегда он

будет испытывать тревожное чувство вины; он будет исповедываться и каяться и получать отпущение грехов, опять исповедываться и каяться и опять получать отпущение — и всегда тщетно. Может быть, та первая поспешная исповедь, вырванная из него страхом перед адом, была недействительной? Может быть, боясь только грозившей ему гибели, он не пошел на исповедь с подлинно сокрушенным сердцем? Но ведь самый верный знак того, что та исповедь была действительной, состоял в исправлении его жизни — а это-то он знал наверняка.

— Ведь я же исправил свою жизнь? — спрашивал он себя.

* *
*

Директор стоял в оконной нише, спиной к свету, облокотившись о коричневую перекладину жалюзи; разговаривая и улыбаясь, он медленно размахивал шнуrom другой жалюзи и заплетал его. Стивен стоял перед ним, следя за угасанием длинного летнего дня над крышами и за медленной, ловкой игрой пальцев священника. Лицо священника было в тени, но гаснущий позади него дневной свет падал на его глубоко вдавленные виски и бугры его лысины. Стивен прислушивался к интонациям голоса священника, пока тот размеренно и приветливо говорил о всякой всячине — о только что закончившихся каникулах, о заграничных

коллегиях ордена, о переводе учителей из одной школы в другую. Размеренный, приветливый голос гладко вел беседу, а когда он замолкал, то Стивен чувствовал себя обязанным возобновлять разговор путем почтительных вопросов. Он понимал, что все это было лишь прелюдией, и ждал сути дела. Когда его вызвали к директору, он пытался угадать цель вызова; в течение длительного, тревожного ожидания в школьной приемной, когда он рассматривал висевшие на стенах скучноватые гравюры, смысл вызова почти уяснился ему. И как раз, когда он начал мечтать, что какая-нибудь непредвиденная причина помешает директору прийти, он услышал звук поворачивающейся дверной ручки и шорох сутаны.

Директор начал говорить о доминиканском и францисканском орденах и о дружбе между св. Фомой и св. Бонавентурой. Но облачение, — говорил он, — слишком уж . . .

Лицо Стивена отразило снисходительную улыбку директора; не собираясь высказывать своего мнения, он легким движением губ выявил свое сомнение.

— Я слышал, — продолжал директор, — что теперь среди самих капуцинов поговаривают об отмене облачения по примеру других францисканцев.

— Но, вероятно, они сохраняют его в монастырях? — сказал Стивен.

— О да, конечно, — сказал директор. — В стенах монастырей все это вполне закономерно, но на улицах такое облачение, по моему, неуместно.

— Да, наверно это большая помеха.

— Конечно, конечно. Представь себе, когда я был в Бельгии, я часто видел, как капуцины в любую погоду разъезжают на велосипедах с этой штуковиной вокруг колен. Это же курам на смех. В Бельгии их называют *les jupes*.⁴

Гласная была произнесена столь неясно, что само слово стало невнятным.

— Как они их называют?

— *Les jupes*.

— А-а.

Стивен опять улыбнулся в ответ на улыбку, которой он не мог видеть на скрытом тенью лице священника; только представление об этой улыбке промелькнуло в его сознании, когда он слушал тихий, сдержанный голос. Он спокойно глядел на гаснувший в небе день, радуясь вечерней прохладе и мирному, желтоватому свету, который скрывал слабый румянец, вспыхнувший было на его щеках.

Название предметов женского туалета или тех мягких, тонких тканей, из которых они изготовлялись, всегда ассоциировалось в его сознании с тонким, греховным запахом. Ребенком он воображал, что конские вожжи — это узкие шелковые ленты; он был поражен, когда в Стрэдбруке впервые до-

⁴ Фр. юбки.

тронулся до сальной, грубой кожи сбруи. Точно также он был поражен, когда впервые ощутил под своими дрожащими пальцами шершавость женского чулка; ибо, запоминая из всего прочитанного только то, что казалось ему откликом или предвестием его собственного состояния, он воображал, что женская душа или женское тело живут нежной жизнью посреди мягких слов и розово-мягких тканей.

Но фраза, произнесенная священником, явно не была сказана невзначай; он знал, что священник не будет легкомысленно болтать на эту тему. Фраза была брошена с определенным умыслом, и он чувствовал, как скрытые в тени глаза изучают его лицо. Он отвергал все то, что слышал или читал о коварстве иезуитов просто потому, что это не сопрягалось с его собственным опытом. Его учителя — даже ему несимпатичные — казались ему умными и серьезными священниками, хорошими спортсменами и превосходными наставниками. Он думал о них, как о людях, принимавших холодные души и носивших чистое прохладное белье. За все те годы, что он провел в Клонгозе и Бельведере, он получил только две штрафных лопатки, и, хотя он их не заслужил, он знал, что часто избегал заслуженного наказания. За все эти годы он не слышал от учителей ни одного легкомысленного слова; именно они научили его христианской вере; именно они настаивали на том, чтобы он вел праведную жизнь; а когда он впал в тяжкий грех, именно они вернули его в состояние благодати. В

их присутствии он — молокосос — робел в Клонгозе; их присутствие лишало его самоуверенности в Бельведере, где он занимал двусмысленное положение. Это чувство не оставляло его до последнего года его школьной жизни. Он ни разу не ослушался их, ни разу не дал буйным товарищам совлечь себя с привычного для него пути спокойного послушания; и даже, если он сомневался в каком-нибудь высказывании учителя, он не смел возражать ему вслух. За последнее время, однако, некоторые их суждения начали казаться ему ребяческими. Это вызывало в нем чувство огорчения и жалости, как будто он медленно прощался с привычным миром и слышал его язык в последний раз. Однажды, когда группа учеников сгрудилась вокруг священника под навесом у часовни, он услышал, как священник сказал:

— Я думаю, что лорд Маколэй,⁵ вероятно, не совершил ни единого смертного греха за всю свою жизнь, то есть, ни одного сознательного смертного греха.

Кто-то спросил священника, можно ли считать Виктора Гюго величайшим французским писателем. Священник ответил, что Виктор Гюго не писал и наполовину так хорошо после своего бунта против церкви, как в свою бытность добрым католиком.

⁵ Томас Бебингтон Маколэй (1809—1859), знаменитый английский историк и государственный деятель; сочувствовал ирландским сепаратистам.

— Но есть много видных французских критиков, — сказал священник, — которые считают, что даже Виктор Гюго, каким бы великим писателем он ни был, не обладает таким чистым французским слогом, как Луи Вёйо.⁶

Легкий румянец, вспыхнувший было на щеках Стивена от намека, брошенного священником, успел угаснуть, и его глаза все еще были спокойно устремлены в бесцветное небо. Но беспокойное сомнение продолжало маячить в его сознании. Смутные воспоминания быстро пролетали перед ним; он узнавал сцены и лица, но понимал, что не улавливает в них чего-то самого главного. Вот он бродит по спортивным площадкам в Клонгозе, наблюдая за играми, и ест хворост из своей крикетной кепки — а несколько иезуитов разгуливают с дамами по велосипедной дорожке. Отклики словечек, ходивших в Клонгозе, звучали в глубоко запрятанных извилинах его мозга.

Он все еще прислушивался в тишине гостиной к этим далеким откликам, как вдруг осознал, что священник заговорил другим тоном:

— Я вызвал тебя сегодня, Стивен, чтобы побеседовать с тобой на очень важную тему.

— Да, сэр.

— Ощущал ли ты когда-либо призвание к священническому служению?

⁶ 1813—1883; французский консервативный писатель; ярый сторонник папства.

Стивен открыл было рот, чтобы ответить: «Да», но внезапно запнулся. Священник подождал и добавил:

— Я имею в виду вот что: ощущал ли ты когда-либо в глубине своей души желание примкнуть к ордену? Поразмысли.

— Я не раз об этом думал, — сказал Стивен.

Священник выпустил из рук шнурок от шторы; прикрыв подбородок рукой, он погрузился в размышление.

— В такой школе, как наша, — сказал он наконец, — обычно есть один юноша, самое большее — два или три, которых Бог призывает к монашескому служению. Такие юноши выделяются среди своих товарищей своим благочестием, добрым примером, который они подают другим. Они пользуются всеобщим уважением. Сотоварищи по братству обычно избирают их префектами. И вот ты, Стивен, принадлежишь к числу таких юношей. Ты — префект Братства Пресвятой Богородицы. Может быть, именно тебя Бог и призывает к Себе.

Явная нота гордости, усилившая серьезность голоса священника, заставила сердце Стивена ускорить свое биение.

— Такой зов, Стивен, — сказал священник, — это величайшая честь, которой всемогущий Бог может удостоить человека. Ни один король, ни один император на свете не обладает властью иерея Господня. Ни один ангел, ни один архангел, ни один святой, ни даже Пресвятая Дева не обла-

дают властью иерея Господня — властью ключей, властью связывания и разрешения,⁷ властью изгнания из творений Господних обуревающих их нечистых духов; властью или правом призывать самого великого Бога Небесного нисходить на престол и принимать образ хлеба и вина. Какая страшная власть, Стивен!

Опять краска залила щеки Стивена; он расслышал в этих горделивых речах отклик своих собственных горделивых мечтаний. Как часто он видел себя священником, спокойно и смиренно изъясляющим ту страшную власть, перед которой благоговеют ангелы и святые. Его душа упивалась тайным созерцанием этой мечты. Он видел себя молодым, молчаливым иереем, стремительно входящим в исповедальную, подымающимся на амвон, кадящим, опускающимся на колени, словом, выполняющим все те туманные священнические действия, которые нравились ему как своим подобием действительности, так и своей от нее отрешенностью. В той смутной жизни, которой он жил в этих мечтах, он подражал интонациям и жестам, которые он замечал у отдельных священников: он преклонял колено несколько вбок, как такой-то; его кадило еле-еле покачивалось, как у такого-то; когда он, благословив паству, обращившись к престолу, его риза слегка распахивалась, как у

⁷ Матф., 16, 19: «И дам тебе ключи Царства Небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах».

такого-то. Но больше всего ему нравилось занимать подчиненное место в этих туманных, воображаемых им сценах. Он уклонялся от достоинства служившего литургию иерея, потому что ему не хотелось думать, что весь этот смутный церемониал найдет свое завершение в его собственной персоне, и потому что обряд предписывал слишком ясные и четкие функции. Он мечтал скорее о младших священнических функциях, мечтал о том, как он в стихаре иподиакона⁸ на торжественной мессе стоит, забытый народом, сбоку от алтаря с орарем на плече и держит дискос под своим облачением, или как после жертвоприношения он в шитом зóлотом диаконском стихаре стоит ступенькой ниже иерея и лицом к пастве с молитвенно сложенными ладонями провозглашает нараспев: „Ite, missa est“.⁹ Если когда-либо он и воображал себя священником, то только таким, каким он изображен на рисунках в его детском молитвеннике — в церкви без молящихся, в присутствии лишь следящего за совершением обедни ангела, у неразукрашенного престола и с прислуживающим отроком только немного моложе его самого. Казалось, его воля была готова идти на-

⁸ Латинский обряд не знает диаконата, как отдельной богослужебной должности, характерной для православного обряда; но на торжественной мессе, на которой сослужат три священника, один из них выполняет функции диакона, а другой — функции иподиакона (т. е. младшего диакона).

⁹ Л а т. Идите! Месса окончена — последние слова литургии.

встречу реальности лишь в туманных актах таинств или жертвоприношений. Отчасти отсутствие установленного обряда и парализовало его волю, когда он, например, молчаливо скрывал свое раздражение или оскорбленное самолюбие или только позволял целовать себя, как ни мечтал сам целовать.

Теперь он, в почтительном молчании, прислушивался к призыву священника; за его словами он слышал еще более отчетливый голос, приглашающий его приблизиться, предлагающий ему тайное знание и тайную власть. Он узнаёт, в чем состоял грех Симона Волхва,¹⁰ и что такое хула на Духа Святого, которой нет прощения. Он узнаёт тайны, неведомые другим — зачатым и рожденным в гневе. Он узнает грехи, греховные поползновения и помыслы других людей: они будут нашептываться ему на ухо в исповедальне в полумраке часовни женскими и девичьими устами; но душа его, охраняемая таинством рукоположения, предстанет чистой перед престолом Божиим. Ни следа греха не пребудет на его руках, которыми он подымет и преломит Святой Хлеб причастия; ни следа греха не пребудет на его молящихся устах, дабы, не рассуждая Тела Христова, он не вкусил и не выпил его себе в осуждение. Он сохранит тайное знание и тайную власть, но останется без-

¹⁰ Деяния апостолов, 8, 9—24.

грешным, как невинные младенцы, будучи навеки иереем по чину Мелхиседекову.¹¹

— Завтра утром я посвящу свою мессу тому, — сказал директор, — чтобы Господь Всемогущий открыл тебе Свою святую волю. А ты сам, Стивен, проведи девятидневное говение в честь твоего святого, первомученика,¹² имеющего великую власть у Бога, дабы Господь просветил твой разум. Но, Стивен, ты должен быть полностью уверен, что у тебя есть призвание; было бы ужасно, если бы впоследствии выяснилось, что его у тебя нет. Помни: священником нельзя перестать быть. Твой катехизис учит, что таинство рукоположения может быть принято только один единственный раз, ибо оно налагает на душу несмываемый духовный знак, которого ничто не может стереть. Ты должен все это взвесить до, а не после рукоположения. Это важнейший вопрос, Стивен, ибо от него может зависеть спасение твоей бессмертной души. Но мы вместе с тобой будем молиться Господу.

Он открыл тяжелую парадную дверь и протянул Стивену руку, как будто он уже был его товарищем по духовному служению. Стивен вышел на широкую площадку над ступеньками и

¹¹ Бытие, 14, 18: «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священником Бога Всевышнего». По церковной традиции Мелхиседек считается прототипом священнического сана.

¹² Деяния апостолов, 6, 5—7, 60. Св. Стефан, побитый камнями в Иерусалиме.

ощутил ласку мягкого вечернего воздуха. Четверо молодых людей, взявшись под руки, шагали по направлению к церкви Финдлэтера; они кивали головами и шли в такт с бодрым мотивом гармоники их вожака. Музыка в одно мгновение — как это случалось при первых тактах всякой внезапной музыки — пронеслась над фантастическими построениями его сознания, размывая их безболезненно и бесшумно, как внезапно набежавшая волна размывает песочные башни детей, играющих на морском берегу. Улыбаясь пошлому мотиву, он поднял глаза к лицу священника и, увидев на нем только хмурое отражение меркнувшего дня, медленно оттянул свою руку, которая уже безвольно примирилась было с товариществом.

Когда он спускался по ступенькам, впечатлением, которое стерло его тревожный самоанализ, была хмурая маска на школьном пороге, отражавшая меркнувший день. Тень школьной жизни пронеслась над его сознанием. Его ждала бы серьезная, упорядоченная и бесстрастная жизнь безо всяких материальных забот. Он думал о том, как он проведет свою первую ночь в послушнической семинарии и в каком удрученном состоянии проснется в первое утро в дортуаре. Тревожное воспоминание о запахе длинных коридоров в Клонгозе вернулось к нему, и он вспомнил тихое шипение газовых ламп; и сразу же им овладело безотчетное беспокойство. За этим последовало лихорадочное ускорение пульса, и гул бессмысленных слов погнался в беспорядке его мысли. Его легкие

расширялись и сжимались, как будто он вдыхал теплый, мягкий, душный воздух, и он опять почувал влажный, теплый запах, висевший в купальне в Клонгозе над мутной, торфяного цвета водой.

Какой-то инстинкт, пробужденный этими воспоминаниями, более сильный, нежели всё его воспитание и благочестие, нарастал в нем по мере приближения к этой жизни, инстинкт вкрадчивый и враждебный, принуждающий его пересмотреть свое решение. Его отталкивали холод и упорядоченность этой жизни. Он представлял себе, как он будет вставать в утреннем холодке и идти с другими гуськом к ранней мессе, тщетно пытаться молитвами преодолеть дурноту и тошноту. Он представлял себе, как он будет сидеть за ужином за общим столом. А как быть с той глубочайшей робостью, из-за которой ему претило есть и пить под чужим кровом? Как быть с гордыней, которая всегда побуждала его думать о себе, как о существе во всех отношениях обособленном?

Преподобный Стивен Дедалус, S. J.¹³

Его имя в этой новой жизни внезапно встало перед его глазами в виде букв, а за ним последовал образ не то какого-то лица, не то цвета лица. Цвет этот то темнел, то бледнел, как полыхание какой-то мутной, кирпично-бурой краски. Это был

¹³ T. e. Societas Jesu — Общество Иисуса, иезуитский орден.

тот грубый красноватый оттенок, который он так часто видел зимними утрами на бритых щеках священников. Лицо, маячившее перед ним, было безглазым, кисло-брезгливым и набожным, с розовыми пятнами подавленного раздражения. Не воспоминание ли это о лице иезуита, которого мальчишки называли то фонарными Скулами, то Старой Лисой-Кемпбелем?

Он проходил мимо иезуитского общежития на Гардинер-Стрит и задумался лениво о том, где было бы его окно, если он примкнет к ордену. Потом его удивила вялость его любопытства, отчужденность его души от того, что он до сих пор привык считать святыней, слабость власти многих лет дисциплины и послушания как раз в тот момент, когда конкретный и непреложный шаг грозил раз навсегда — в плане земном и в плане вечности — положить конец его свободе. Голос директора, объяснявший ему гордые притязания церкви и тайну и власть священнического сана, опять вяло зазвучал в его памяти. Но душа его отсутствовала, не слушая этого голоса и не отвечая на него. Он понял, что слышанный им призыв уже успел превратиться в набор пустых, формальных слов. Нет. Никогда он не будет кадить перед престолом как священник. Его удел — избегать всяческих людских и церковных распорядков. Мудрость церковная не трогала его. Его удел — набираться собственной мудрости, обособленно от других, странствуя по миру между расставленными в нем капканами.

Мирские капканы — это приманки для грешников. Он падет. Он еще не пал, но он падет молчаливо, в одно мгновение ока. Не пасть — слишком, слишком трудно. Он предвидел грядущее безмолвное падение своей души: вот она падает, падает, еще не пала, но вот-вот падет . . .

Он пересек мост через речку Толька и холодно взглянул на выцветшую голубую часовню Пресвятой Девы; она как бы сидела клушкой на шесте в полукруге жалких домишек. Потом, свернув налево, он пошел по переулку, который вел его домой. Слабая, кислая вонь тухнувшей капусты сопровождала его, пока он шел мимо огородов, расположенных у реки. Он улыбнулся, когда подумал, что именно это гниение овощей, именно безалаберщина, хаос и путаница в отцовском доме помогут его душе справиться с сомнениями. Смешок сорвался с его губ, когда он вспомнил работавшего в огородах за их домом одинокого батрака, которого они прозвали дядей в шляпе. Второй смешок после краткого перерыва последовал за первым, когда он вспомнил, как работал дядя в шляпе — вглядываясь в небо по очереди на все четыре стороны и потом с сожалением врезаясь лопатой в землю.

Он открыл незапертую черную дверь и прошел через пустую прихожую в кухню. Братья и сестры его сидели за столом. Чаепитие почти кончилось, и только вторые порции жидкого чая оставались в склянках и банках, служивших чашками. На столе были разбросаны корки и ломти

сдобной булки, почерневшие от пролитого на них чая. Стол был закапан, а в растерзанном яблочном пироге торчал нож с поломанным черенком.

Грустное, мирное, сизо-голубое сияние угасающего дня проникало в кухню через окно и распахнутую дверь, покрывая собой и смиряя внезапный порыв угрызений совести у Стивена: все то, чего они были лишены, досталось вполне естественно ему, как старшему. Но в мирном вечернем сиянии их лица не проявляли ни малейшего признака зависти.

Он сел за стол и спросил, где отец с матерью. Один из них ответил:

— Ушлиборо смотретьборо новыйборо домборо.

Еще один переезд! Ученик по имени Фаллон в Бельведере часто спрашивал с глупым смехом, почему они так часто переезжают. Он гневно нахмурился, когда вспомнил этот глупый смех.

Он спросил:

— А позволительно узнать, почему мы опять переезжаем?

— Потомуборо чтоборо хозяинборо насборо выселяетборо.

Голос младшего брата, сидевшего по ту сторону камина, затянул мелодию «Как часто тихой ночью». Другие постепенно подхватили песню, пока не образовался хор. Они пели так часами, песню за песней, пока на горизонте не потухал последний бледный свет, пока не надвигались первые темные, ночные тучи, пока не наступала ночь.

Он прислушался и подхватил мелодию. С болью в душе он прислушивался к тому обертому усталости, который звучал за их хрупкими, свежими, невинными голосами. Едва успев вступить на жизненный путь, они, казалось, уже устали от жизни.

Он слышал, как хор в кухне порождает эхо и усиливается резонансом бесчисленных поколений детей, и слышал во всех откликах эхо непрестанной ноты изнеможения и скорби. Все, казалось, устали от жизни, еще не начав жить. И он вспомнил, что Ньюман расслышал ту же самую ноту в надломленных строках Виргилия, «выражающих, подобно голосу самой природы, ту скорбь, ту усталость, но и ту надежду на лучшее, которые выпали на долю ее детей во все времена».

**
*

Ждать он больше не мог.

Он шагал сначала медленно, то стараясь наступать только на промежутки в узоре тротуарных плит, то принаравливая свои шаги к ритму стихов, от входа в таверну Байрона до ворот Клонтарфской часовни, от Клонтарфа до Байрона, опять до часовни, опять до таверны. Битый час прошел с тех пор, как отец зашел в таверну с лектором Даном Кросби, чтобы распросить его об университете. Битый час он шагал туда и обратно в ожидании. Но ждать он больше не мог.

Он быстро двинулся по направлению к Бычьему острову.¹⁴ Он почти бежал, чтобы резкий отцовский свист не погнал его обратно. Через несколько секунд он завернул за угол у полицейской казармы и оказался в безопасности.

Да, мать была против университетской затеи: он угадывал это за ее усталым молчанием. Но ее недоверие подзадоривало его куда сильнее, чем гордость отца. Он холодно думал, что вера, отмиравшая в его душе, крепла и углублялась в материнском сердце. Смутный антагонизм нарастал в нем, омрачая его сознание, как туча — антагонизм к материнской нелояльности. А когда туча пронеслась, когда в его сознание вернулись покой и чувство сыновней почтительности, он смутно и безо всякого сожаления понял, что впервые их связь безмолвно расторглась.

Университет! Значит, он ускользнул от тех стражей, которые, как какие-то опекуны, сторожили его детство, пытаясь задержать его в их кругу, подчинить его их целям. Гордость и удовольствие несли его, как медленные, длинные волны. Назначение к служению, которому он был рожден, но которого еще не видел, помогло ему бежать тайной тропой и теперь снова манило его; и он шел навстречу новому, открывающемуся перед ним начинанию. Ему чудилось, будто он слышит ноты прерывистой музыки, которая то возно-

¹⁴ Бычий остров (The Bull) — небольшой островок, от которого идет в море волнолом. С городом его соединяет деревянный мост.

силась на один тон, то опускалась на сокращенную кварту, потом опять на тон вверх, опять на увеличенную терцию вниз — как языки пламени, внезапно вырывающиеся из полунощного леса. Музыка звучала, как прелюдия эльфов, бесконечная и бесформенная, и по мере того, как она становилась все более бурной и быстрой, по мере того, как языки пламени стали вырываться не в такт с ней, ему стало казаться, что под ветвями и под травой он слышит бег диких существ, ноги которых шелестят по листьям как дождевые капли. Вот они уже несутся через него самого — ноги зайцев и кроликов, ноги серн, оленей и антилоп. Потом всё это пронеслось, и он вспомнил горделивую фразу из Ньюмана: «Чьи ноги, как ноги оленей, а под ними вечные длани . . .»

Гордыня этого непонятого образа напомнила ему великолепие отвергнутого им иерейского сана. Все свое отрочество он мечтал о том, что так часто казалось ему его призванием, но когда наступил час, в который он мог бы последовать призыву, он отвернулся, подчиняясь какому-то произвольному инстинкту. Елей рукоположения теперь уже никогда не коснется его темени. Он отказался от него. Почему?

У Доллимаунта он свернул к морю. Вступив на шаткий деревянный мост, он почувствовал, что настил содрогается от топота тяжело обутой ног. Группа Христианских Братьев¹⁵ возвращалась с

¹⁵ Монашеский орден, посвятивший себя воспитанию бедных детей.

Бычьего острова; они шли попарно через мост, и вскоре весь мост задрожал и загудел. Неотесанные лица мелькали перед ним, пара за парой — пожелтевшие, покрасневшие, посиневшие от морской воды. Когда он заставил себя взглянуть на них, легкая краска стыда и жалости залила его щеки. Сердясь на себя, он попытался скрыть свое лицо от их глаз, глядя вбок, на мелкую, бурлящую воду; но и там он видел отражение их неуклюжих клобуков, жалких лентообразных воротничков, широких монашеских балахонов.

Брат Хикки.

Брат Квэйд.

Брат Макардл.

Брат Кио.

Вероятно их вера соответствует их именам, их лицам, их рясам. Напрасно он говорил себе, что их смиренные и сокрушенные сердца наверно воздают неизмеримо более щедрую дань Богу, чем когда-либо воздавал он — дань в десять раз более приемлемую, чем его изощренное благочестие. Напрасно он твердил, что если когда-нибудь ему, пристыженному, уничиженному, одетому в нищенское тряпье, придется постучаться в их ворота, они примут его с радостью и возлюбят его, как самих себя. Напрасно он убеждал самого себя — вопреки своей холодной уверенности, — что завет любви не наказывает нас любить нашего ближнего с той же напряженностью и силой любви, с ко-

торой мы любим самих себя, а просто любить его той же самой любовью.

Он извлек строку из своей сокровищницы поэзии и тихо повторил ее про себя: «День яблочно-серых, летящих к морю облаков». ¹⁶

Строка, погода и окружавшая его сцена слились в один аккорд. Слова! Разве дело в их окраске? Он дал словам разгореться и угаснуть, одному цветку за другим — золоту восхода, зелено-рыжести яблочных садов, синеве волн, сероватости, окаймляющей руно облаков. Нет, дело не в окраске. Дело в строении и в равновесии самой фразы. Что ж? Значит, для него ритмичный взлет и падение самих слов важнее, чем их связь со смыслом и с цветом? Или, будучи и близоруким, и робким, он упивался не столько отражением пламенеющего, чувственного мира через призму многоцветного и многослойного языка, сколько созерцанием внутреннего мира личных эмоций, отражаемого в совершенной, ясной, гибкой прозе?

Он сошел с дрожащего моста на берег. В это мгновение — так ему показалось — в воздухе вдруг посвежело; он с недоумением взглянул на воду и увидел, как порыв ветра поднял темную зыбь на ее поверхности. Сердце его ёкнуло, горло сжалось: его бросало в дрожь от этого леденящего, бесчеловечного морского запаха, но он не свер-

¹⁶ Из книги Ю. Миллера «Утесы-свидетели» (1869).

нул от дюн налево, а продолжал идти по скалистому хребту, ведущему к устью реки.

Скрывшееся за облака солнце слабо освещало серую водяную пелену там, где устье превращалось в залив. Вдали, вдоль течения медлительного Лиффи, стройные корабельные мачты царапали небо, а еще дальше лежал ничком еле видный в дымчатой мгле город. Как изображения на гобелене, выцветшем, древнем как человеческая усталость, доходили до него по отрешенному от времени воздуху очертания седьмого града христианского мира¹⁷ — столь же древнего, столь же усталого, так же долготерпеливо переносящего чужеземное иго как и во времена датского веча.

Удрученный, он поднял глаза к медленно-плывущим, яблочно-серым, летящим к морю облакам. Они шли по небесной пустыне, как орда кочевников в походе, шли на запад высоко над Ирландией. Европа, из которой они шли, лежала там, по ту сторону Ирландского моря, Европа странных языков, прорезанная долинами, опоясанная лесами, усеянная цитаделями, Европа прочно засевших, воинственных народов. Он слушал путаную музыку воспоминаний и имен, которые он почти осознавал, но которых не мог уловить даже на одно мгновение. Потом музыка начала удаляться, отходить, отходить, и от каждого отходящего мотива этой смутной музыки оставалась только одна

¹⁷ Дублина.

протяжная, призывная нота — пронзительная, как пронзительна звезда в немые сумерки. Опять! Опять! Опять! — звал потусторонний голос.

— Эй, Стефанос!

— Се, грядет Дедал!

— А-а! Хватит, Двайер! Тебе говорят! А то я сам как двину тебя в физию!

— Так его, Таузер! Валяй, топи его!

— Иди сюда, Дедалус! Бус Стефануменос! Бус Стефанефорос!

— Топи его! Окунай его, Таузер!

— Караул! Караул! А-а!

Он узнал их по голосам, прежде чем распознал их лица. Один уже вид этой мешанины мокрых, нагих тел заставил его продрогнуть до мозга костей. Их тела — мертвецки-бледные или облитые бледным, золотым светом или грубо обожженные солнцем — блестели морской влагой. Трамплин, кое-как прилаженный к утесу и ходивший ходуном от их прыжков, и грубо отесанные камни покатога волнолома, по которым они карабкались, на которых возились — всё блестело холодным, влажным сиянием. Полотенца, которыми они шлепали друг друга, набрякли холодной морской водой, а их слипшиеся волосы были пропитаны соленой влагой.

Он остановился, откликаясь на приветственные возгласы и легко парируя шутки. Как они все обезличились — Шули без своего низкого, всегда расстегнутого воротничка; Эннис без своего ярко-красного пояса со змеевидной пряжкой; Коннолли

без своего жакета с накладными карманами. Больно было смотреть на них, жалко до боли видеть на их телах признаки возмужания, которые делали отвратной их мизерную наготу. Быть может, сбившись в стаю и в шуме они искали спасения от затаенного страха, обуревавшего их. Стоя в обособленном от них молчании, он вспомнил, как сам он страшился тайн своего тела.

— Стефанос Дедалос! Бус Стефануменос! Бус Стефанефорос!

Их шутки были для него привычным делом, но теперь они льстили тихому, гордому сознанию собственного величия. Больше, чем когда-либо его странное имя казалось ему пророческим. Серый, теплый воздух казался ему столь отрешенным от времени, его собственное внутреннее состояние столь текучим и безличным, что все века слились для него воедино. Только что под покровом окутанного дымкой города привидилось ему древнее датское королевство. А теперь, услышав имя мифического искусника, он, казалось, услышал невнятный гул волн и увидел окрыленную фигуру, летевшую над волнами и медленно возносившуюся в воздухе. Что это? Курьезная виньетка, открывающая страницу какой-то средневековой книги пророчеств и символов? Ястребоподобный человек, воспаривший над морем к солнцу? Предзнаменование цели, для служения которой он был рожден и к которой шел через туман детства и отрочества? Символ художника, перековывающего в своей мастерской грузную земную материю

в нечто новое, парящее, неощутимое, непреходящее?

Сердце его трепетало. Дыхание участилось. Бурное дуновение пронеслось через его тело, будто он действительно летел к солнцу. Сердце его трепетало в экстазе страха, душа летела. Душа реяла в воздухе потустороннего мира. А тело, столь ему знакомое, тело в одно мгновение преобразилось, очистилось от неуверенности, засияло и одухотворилось. В экстазе полета засияли его глаза, стало порывистым дыхание, трепетным и сияющим его обвеянное ветрами тело.

- Раз! Два! . . . Берегись!
- Батюшки! Тону!
- Раз! Два! Три! Топи его!
- Давай, давай!
- Раз! Ох!
- Стефанефорос!

Гортань его свело от потуги клекотать по ястребиному, по орлиному, поведать ветрам о своем избавлении. Это звала его душу жизнь — звала не тупым, грубым голосом мира долга и отчаяния, не бесчеловечным голосом, призывающим его к службе у престола. Мгновение бурного полета спасло его, и вопль торжества, сдерживаемый его устами, пронзил его сознание.

- Стефанефорос!

Всё это лишь саван, сброшенный ныне с его смертного тела: и страх, в котором он жил и днем и ночью, и окружавшая его кольцом неуверен-

ность, и унижавший его и изнутри и извне стыд — саван, покойницкий плат.

Душа его восстала из могилы отрочества, скинув свой саван. Да! Да! Да! Он будет гордо творить своей свободной и мощной душой, как тот великий искусник, имя которого он носит — будет творить нечто живое, новое, парящее, прекрасное, неосязаемое, непреходящее.

Он нервно вскочил с камня, ибо не мог уже утихомирить пылающего в крови огня. Он чувствовал, как горят его щеки, как клекочет песня в его гортани. Он ощущал зуд странствий в ногах, готовых нести его на край света. Вперед! Вперед! — казалось восклицало его сердце. Над морем стемнеет вечер, ночь падет на равнины, рассвет забрезжит перед странником и покажет ему иные нивы, холмы и лица. Но где?

Он взглянул на север, по направлению к Хауту. Море отступило за линию водорослей. Вдоль всего побережья начинался быстрый отлив. Уже среди мелкой зыби лежала теплая и сухая продолговато-овальная песчаная отмель. Там и сям в мелкой воде светились блестящие песчаные островки. Вокруг них, вокруг длинной отмели, между мелкими протоками бродили и копались легко одетые фигуры.

В несколько секунд он разулся, засунул чулки в карманы, связал шнурками и повесил на плечи свои полотняные туфли. Выбрав остроконечную, изъеденную солью палку в мусоре у скал, он слез вниз по склону волнолома.

На пляже образовалась длинная речка; он пошел вброд вверх по ее течению, дивясь бесконечному наплыву водорослей. Изумрудные, черные, бурые, темно зеленые, они колыхались и медленно вращались под водой. Вода речки, потемневшая от их наплыва, отражала плывущие в выси облака. Бесшумно шли над ним облака, бесшумно плыли под ним сросшиеся водоросли. Серый, теплый воздух был безмолвным, но в жилах его пела новая тревожная жизнь.

Куда кануло его отрочество? Куда канула его душа — душа, которая шарохлаась от своего назначения, чтобы наедине с самой собой копать в своих постыдных язвах, чтобы в своем жалком жилище напяливать на себя выцветший саван и венки, увядавшие при первом же прикосновении. Куда делся он сам?

Вот он: одинокий, отрешенный от других, счастливый, соприкасающийся с живой жизнью. Одинокий, юный, своевольный, с горящим сердцем, он стоит у пропитанного солью морского простора, а вокруг — залежи ракушек, водорослей, тускловатый солнечный свет, весело одетые, полуодетые фигуры детей и девушек, детских и девичьих голосов.

. . . Перед ним стоит девушка, совсем одна, спокойно вглядываясь в море. Кажется, что каким-то колдовством она превращена в подобие сказочно-прекрасной морской птицы. Ее длинные, стройные, нагие ноги кажутся выточенными, как ноги цапли; они незапятнаны — только прилипшие к

ним кое-где изумрудные водоросли метят ее каким-то таинственным знаком. Ее полные бедра обнажены почти до поясницы; белые кружева ее панталон напоминают белое, мягкое, пушистое оперение. Серо-синяя юбка высоко подоткнута вокруг талии, а сзади свисает хвостом. Ее грудь — грудь птицы — мягкая и стройная, стройная и мягкая, как грудь темно оперенной голубки. Но ее длинные, светлые волосы — девичьи; и девичье — ее лицо, отмеченное чудом обреченной красоты.

Она стоит одна, неподвижно вглядываясь в море; но, почувствовав его близость и его благоговеиный взгляд, ее глаза обращаются к нему, спокойно выдерживая его взор без стыдливости, но и без бесстыдства. Долго, долго выдерживает она его взгляд, а потом переводит глаза к поверхности речки и осторожно мутит воду ногой: туда, сюда. Первый, еле слышный всплеск возмущенной воды нарушает тишину — слабый, шепчущий, еле слышный звук, как бубенчики во сне: туда, сюда; туда, сюда. Легкий румянец загорается на ее щеке.

«Боже милосердный!» — взывает стивенова душа в экстазе блаженства.

Он резко отворачивается и быстро шагает по песку к морю. Щеки его пылают, тело горит, руки и ноги дрожат. Все дальше, дальше и дальше шагает он по песку с гимном к морю на устах, отзываясь на окликнувшую его жизнь . . .

Ее образ навсегда запал в его душу, но ни одно слово не нарушило его священного восторга.

Ее глаза воззвали к нему, и душа его встрепенулась при этом зове. Жить, ошибаться, падать, торжествовать, воссоздавать жизнь из жизни! Неистовый ангел явился ему, ангел обреченной юности и красоты, посланник из прекрасных чертогов жизни; в одно мгновение он распахнул перед ним врата перед новыми путями заблуждений и славы. Вперед же, вперед!

Он внезапно остановился и в наступившей тишине услышал биение своего сердца. Где он? Который теперь час?

Вблизи никого не было. Ни звука не доносилось до него. Отлив кончился, но прилив еще не начинался. День уже был на исходе. Он повернул к берегу и побежал, не обращая внимания на острый щебень. Найдя яму, окруженную песочными кочками, он улегся в нее, чтобы дать вечернему покою и тишине утихомирить бушующую кровь.

Он чувствовал над собой огромный, равнодушный небосвод и размеренные движения небесных тел, а под собой — породившую его, прижавшую его к своей груди землю.

В сонной истоме он закрыл глаза. Веки его задрожали, как бы ощущая круговращение земли и ее стражей, как бы ощущая странный свет, бьющий из неведомого нового мира. Душа его возносила в полусне в какой-то иной мир — мир прозрачный, смутный, зыбкий как подводное царство, пересекаемое туманными существами. Каков этот мир — отблеск он или цветок? Поблескивая, трепеща и раскрываясь как брезжащий свет, как рас-

пускающийся цветок, мир этот рос, то разгораясь ярко-красным цветом, то замирая до бледно-розового, лист за листом, световая волна за световой волной, постепенно заливая небо своими мягкими притоками, нарастая с каждым наплывом.

Он проснулся уже к вечеру. Песок и сухая трава вокруг его ложа померкли. Он медленно поднялся и, вспомнив пережитые во сне восторги, вздохнул от радости.

Вскарабкавшись на дюну, он оглянулся. Вечер уже наступил. Ободок молодого месяца прорезался на бледном горизонте — ободок серебряного обруча, опиравшегося на серый песок. Тихо шепчущие волны прилива быстро бежали к берегу, как бы удаляя от взора фигурки, оставшиеся на островках посреди дальних вод.

5

Он допил третью чашку жидкого чая и принялся грызть валявшиеся на столе корки поджаренного хлеба. Стивен принялся рассматривать темную жижу в стоявшей перед ним банке. В застывшем желтом жире была выковыряна впадина, как торфяная ямка в болоте; жижа на дне впадины напоминала ему темную торфяного цвета воду в клонгозской купальне. Коробка с ломбардными квитанциями, стоявшая на столе у его локтя, была только что кем-то перерыта. Он бесцельно перебирал своими засаленными пальцами синие и белые квитанции — покрытые каракулями, замызганные, мятые, покрытые штемпелями ломбардов Дэли и Макавоя.

- 1 пара сапог,
- 1 д. пальто,
- 3 разные вещи,
- 1 мужские брюки.

Он отложил квитанции в сторону, рассеянно взглянул на крышку коробки, покрытую пятнами

от раздавленных вшей, и спросил, ни к кому не обращаясь:

— На сколько, собственно, теперь спешат часы?

Мать взяла с полки над камином лежавший на боку будильник: стрелки его показывали без четверти двенадцать. Она опять положила его на бок.

— На час двадцать пять минут, — сказала она. — По настоящему сейчас двадцать минут одиннадцатого. Ты мог бы и не пропускать своих лекций.

— Устройте мне место для мытья, — сказал Стивен.

— Кэти, устрой Стивену место для мытья.

— Буди, устрой Стивену место для мытья.

— Я не могу. Я иду за синькой. Устрой ты, Мэгги.

Когда эмалированный таз был вставлен в кухонную раковину и на край его брошена старая мочалка, Стивен разрешил матери вымыть ему затылок и протереть раковины ушей и складки кожи у ноздрей.

— Позор, — сказала она. — Студент, а такой замарашка, что матери приходится его мыть.

— Но ведь тебе это доставляет удовольствие, — хладнокровно сказал Стивен.

Пронзительный свист донесся сверху; мать сунула ему в руки сырой халат и сказала:

— Вот. Вытрись и убирайся, ради Бога.

Второй резкий свист, на этот раз сердитый, заставил одну из девочек подойти к лестнице.

— Да, папа?

— Что эта ленивая сука, твой братец, соизволил уйти?

— Да, папа.

— А ты не врешь?

— Нет, папа.

— Гм!

Девочка вернулась, делая знаки Стивену, чтобы он поторопился уйти через черный ход. Стивен рассмеялся и сказал:

— Странное у него представление о грамматике, если он думает, что сука — мужского рода.

— Ах, Стивен, стыдно тебе, — сказала мать. — Ты еще пожалеешь, что переступил порог этого учреждения. Я-то знаю, как ты с тех пор изменился.

— До свидания, семейство, — сказал Стивен, улыбаясь и целуя кончики своих пальцев.

Тропинка за крыльцом утопала в жидкой грязи, и когда Стивен медленно пошел по ней, тщательно выискивая сухие места среди мокрых отбросов, из монастырского дома для умалишенных за стеной до него донесся вопль полоумной монашенки:

— Иисусе! О, Иисусе! Иисусе!

Он вытряс звук из своих ушей, гневно помотав головой, и зашагал дальше, спотыкаясь среди гниющих отбросов, с сердцем, уязвленным отвращением и горечью. Отцовский свист, материнское

ворчанье, вопли помешанной невидимки — все эти звуки оскорбляли и унижали его юношеское самолюбие. С проклятиями он изгонял их эхо из своего сердца; но когда он вышел на бульвар, когда увидел, как серый утренний свет прорезывается сквозь капающую листву, когда почуял таинственный, лесной запах сырых листьев и сырой коры, его душа забыла о своих напастях.

Набухшие от дождя деревья на бульваре всегда связывались в его сознании с женскими персонажами в пьесах Гауптмана. Память об их туманных горестях смешивалась с ароматом мокрых веток, вызывая в нем чувство радости. Итак, опять эта утренняя прогулка по городу. Он знал, что, проходя мимо покрытых илом полей у Фэрвью, он вспомнит о монастырской, с серебристыми прожилками прозе Ньюмана; что, идя по Норт-Стрэнд-Роуд и заглядывая мимоходом в окна гастрономических магазинов, он вспомнит сумрачный юмор Гвидо Кавальканти;¹ у каменоломни Бёрда на Толбот-Плэйс его осенит дух Ибсена — как бурный порыв ветра, как веяние своевольной отроческой красоты; а проходя мимо закопченного склада корабельных снастей по ту сторону Лиффи, он повторит про себя мадригал Бена Джонсона, начинающийся словами: «Не столь усталым я лежал . . .»

Когда он уставал от абстрактных определений красоты у Аристотеля и Аквината, он часто обра-

¹ Гвидо Кавальканти (1255?—1300), итальянский поэт.

щался к грациозным мадригалам поэтов елизаветинского века. Его разум, облаченный в одеяние неверного монаха, часто стоял в тени под окном этого века, прислушиваясь к музыке лютен, то цемремонной, то озорной и к бесстыдному смеху щеголей в шелковых кафтанах, пока какой-нибудь чересчур грубый взрыв хохота, какой-нибудь слишком старомодный оборот, отдающий распущенностью или дешевым тщеславием, не уязвлял его монашеской щепетильности и не гнал его из его засады.

Ученость, которой он будто бы уделял все свое время, и которая отрывала его от общества других молодых людей, состояла всего-навсего из нескольких лаконических фраз из аристотелевой поэтики и психологии, да из *Synopsis Philosophiae Scholasticae ad mentem divi Thomae*.² Его мысль пребывала в сумерках, сотканых из сомнений и неуверенности, но временами осеняемых внезапными вспышками интуиции — вспышками столь ослепительно яркими, что в эти мгновения земля уходила у него из-под ног, будто поглощенная огнем. После них его речь замедлялась, и он глядел на всех невидящими глазами, ибо чувствовал, что дух красоты облекает его, как мантия, и что — по меньшей мере в мечтах — он познаёт подлинное величие. Но когда это быстротечное горделивое молчание кончалось, он с облегчением возвращал-

² Свод схоластической философии по учению Св. Фомы.

ся к круговороту обыденщины, безболезненно и бесстрашно примирялся с городской нищетой и суетой.

У реки ему повстречался чахоточный с кукольным личиком и в шляпе без полей; он шел навстречу ему, спускаясь с моста маленькими шажками, в плотно застегнутом пальто шоколадного цвета и держа перед собой свернутый зонтик, как прут для обнаружения подземной воды. Значит, уже одиннадцать, подумал Стивен, и заглянул в молочную, чтобы посмотреть на часы. Часы в молочной показывали без пяти пять. Но как только он отвернулся, какие-то невидимые ему башенные часы быстро и точно пробили одиннадцать. Он рассмеялся: бой часов напомнил ему Мак Канна. Широкоплечий, в егерской куртке, со светлой, острой бородкой, Мак Канн стоял у углового магазина Гопкинса и говорил:

— Дедалус, ты — антисоциальное существо, поглощенное самим собой. А я — демократ, отдающий все свои силы на благо общественной свободы и классового и полового равноправия в будущих Соединенных Штатах Европы.

Одиннадцать! Значит, он и эту лекцию пропустил. Какой сегодня день? Он остановился у газетного киоска, чтобы прочесть заголовок газеты. Четверг. С десяти до одиннадцати — английский; с одиннадцати до двенадцати — французский; с двенадцати до часу — физика. Он мысленно представил себе лекцию по истории английской литературы, и ему стало тошно от беспомощного раз-

дражения. Он видел покорно наклоненные над блокнотами головы своих товарищей, записывающих формальные определения, определения по существу, даты рождения и смерти, положительные и отрицательные оценки. Его собственная голова не склонялась потому, что мысли его блуждали. Смотрел ли он на горсточку студентов, глядел ли из окна на запущенный университетский сад, его мутило от запаха подвальной сырости и гнили. Среди согнувшихся в три погибели студентов возвышалась еще одна голова — будто голова священника, молящегося безо всякого смирения перед престолом за окружающих его смиренных прихожан. Почему, думая о Крэнли, он никогда не видел перед собой всю его фигуру, а только его голову и лицо? Вот и теперь, на фоне хмурого утра, он видел перед собой как во сне только отрубленную голову или снятую после смерти маску, лицо, увенчанное, как железной короной, жесткими, черными, топорщащимися волосами. Лицо аскетически бледное, напоминало монаха раздутым носом, тенями под глазами и вдоль скул, длинными, бескровными, слегка улыбающимися губами. Стивен вспомнил, как он — ежедневно, ежевечерне — рассказывал Крэнли обо всем том, что будоражило, тревожило и манило его душу, и как единственной реакцией его друга на все это было внимательное молчание. Он сказал бы, что у Крэнли лицо грешного иерея, выслушивающего исповеди, но потерявшего право отпускать грехи, ес-

ли бы не внимательный взор его темных, женственных глаз.

Вглядываясь в этот образ Стивен вдруг увидел таинственную, темную пещеру; он отвернулся от нее, зная, что время войти в нее еще не наступило. Но одурь, которую наводила на него апатия его друга, казалось, распространяла в воздухе гнилостные, мертвящие миазмы; он поймал себя на том, что глядя направо и налево, он читает первые попавшиеся слова, тупо удивляясь тому, как они внезапно опорожняются и обесмысливаются, пока каждая вывеска не начала овладевать его сознанием как какое-то заклинание, и пока его тоскующая душа не начала ссыхаться от старости, в то время как он шел по переулку среди изречений, написанных на мертвом языке. Его собственное чувство речи утекало из его сознания капля за каплей в отдельные слова, которые начинали сплетаться и расплетаться в произвольном ритме.

А плющ все плачет на валу,
Ползет и плачет на валу,
Желтый плющ на валу,
Плющ да плющ на валу.

Господи Боже, какая несусветная белиберда! Где и когда плющ плакал на валу? Желтый плющ — это еще туда сюда. Желтая слоновая кость тоже. А разве плющ цвета слоновой кости? ³

Слово это вспыхнуло в его сознании, яснее и ярче, чем настоящая слоновая кость, выпиленная из

³ По-английски — плющ — ivy; слоновая кость — ivory.

крапчатых клыков. Ivory, ivoire, avorio. ebur.⁴ Одним из первых примеров, которые он выучил наизусть по латыни, была фраза: India mittit ebur.⁵ Он вспомнил умное, северное⁶ лицо ректора, который учил его грамматическому разбору Овидиевых «Метаморфоз» и переводил их на чинный английский язык, тем более причудливый, что в нем попадались такие слова, как «хряк», «черепья» и «стегница». Тем немногим, что он знал о латинском стихосложении, он был обязан растрепанному учебнику, составленному каким-то португальским священником: „Contrahit orator, variant in caraine vates“.⁷

Кризисы, победы и смуты римской истории доходили до него в пошлом изложении in tanto discrimine;⁸ он пытался разобраться в общественной жизни города городов через призму слов: implere ollam denariorum, фразу, которую ректор смачно переводил: «набить горшок динариями». Но страницы его потрепанного томика Горация никогда не были на ощупь холодными, даже когда он держал книгу коченеющими пальцами. Это были живые страницы, а пятьдесят лет тому назад эти

⁴ Слоновая кость, соответственно по-английски, по-французски, по-итальянски и по-латыни.

⁵ Лат.: Индия вывозит слоновую кость.

⁶ На севере Ирландии живут выходцы из Шотландии и Англии.

⁷ Лат.: Оратор сокращает, но поэты в стихах не связаны правилами.

⁸ Лат.: В столь опасный час.

страницы переворачивались живыми же пальцами Джона Данкана Инверарити и его брата Вильяма Малькольма Инверарити. Да, на пожелтевшей обложке еще красовались эти благородные имена, и даже для такого невежды, как он, пожелтевшие строки стихов были ароматными, как если бы они пролежали все эти годы в мирте, лаванде и вербене; но его удручало сознание, что он навсегда останется лишь робким гостем на пиру мировой культуры, и что монашеская премудрость, в категориях которой он пытался выковать свою философию эстетики, расценивается его веком не выше хитроумных и курьезных жаргонов геральдики или соколиной охоты.

Серая громада колледжа Пресвятой Троицы⁹ с левой стороны, грузно вдвинутая в невежественный город, словно тусклый камень в тяжеловесное кольцо, начала давить его сознание, и пока он лавировал в ту и в другую сторону, чтобы высвободиться от пут протестантского мировоззрения, он наткнулся на нелепый памятник «национальному поэту Ирландии».¹⁰

Он взглянул на него без раздражения; ибо, хотя неряшество тела и души ползло по памятнику, как невидимое сборище вшей, по шаркающим ногам, вверх, по складкам мантии, и вокруг холопской головы, памятник, казалось, смиренно созна-

⁹ Протестантский университет в Дублине, академически гораздо выше стоящий, чем иезуитский университет, в котором учится Стивен.

¹⁰ Томасу Муру (1779—1852).

вал свою неполноценность. Это был Фирболг¹¹ во взятой напрокат мантии милезийца.¹² И он вспомнил своего приятеля Дэвина, студента из крестьянской семьи. «Фирболг» был привычной шуточной кличкой в их беседах, но молодой мужичок не обижался:

— Валяй, Стиви, у меня башка крепкая. Называй меня, как хочешь.

Ласкательная форма его имени в устах его приятеля тронула Стивена, когда он впервые ее услышал: как правило, он был столь же церемонен в обращении с другими, как и они с ним. Часто, когда Стивен сидел на квартире Дэвина на Грантам-Стрит, дивясь крепко слатанным сапогам, церемонно уставленным вдоль стены, он читал своему простодушному приятелю стихотворения разных поэтов, — его чаяния, его сомнения повторялись в их поэзии, — а примитивный «фирболгский» дух Дэвина и притягивал, и отталкивал Стивена; притягивал спокойной, прирожденной приветливостью, причудливыми оборотами старинной английской речи, наивным восторгом перед физической ловкостью (Дэвин был учеником гэльского энтузиаста Майкла Кузака); отталкивал — быстро и внезапно — примитивностью суждений, медленностью восприятия, тупым взглядом, пол-

¹¹ В русском контексте мы бы сказали: «Скиф». Фирболги — полулегендарное племя смуглолицых карликов, населявшее Ирландию.

¹² Милезий, мифический король Испании, сыновья которого будто бы завоевали Ирландию в XIV веке до Р. Х.

ным паники, паники голодной ирландской деревни, для которой комендантский час все еще был ежевечерним пугалом.

Наряду с подвигами своего дяди, спортсмена Мэта Дэвина, молодой мужичок боготворил печальные сказания Ирландии. Другие студенты, которые любой ценой старались придать значимость нудной жизни колледжа, говорили, что Дэвин — фенианец.¹³ Нянька Дэвина научила его в детстве гэльскому языку и озарила его наивное воображение зыбким светом ирландской мифологии. Дэвин относился к этой мифологии, из которой еще никто никогда не извлек ни единой крупицы красоты, и к ее неуклюжим, бесформенным былинам, как к католической религии, с тупой верностью холопа. Любую мысль, любое чувство, приходившее к нему из Англии или через посредство английской культуры, он, подчиняясь паролю, принимал в штыки. А что касается мира за пределами Англии, он знал только о французском иностранном легионе, в который собирался поступить.

Сопоставляя эти мечтания с характером своего приятеля, Стивен иногда называл его ручным гусачком: это прозвище отражало раздражение, которое вызывала у Стивена медлительность его приятеля в словах и делах — медлительность, которая всегда восстанавливала интеллект Стивена,

¹³ Фенианцы — лига, основанная среди ирландцев в США, ставившая себе целью насильственное свержение английского правления в Ирландии.

страстно предававшийся мысли, против ирландского быта.

Как-то вечером молодой мужичок, взбудораженный резкими и высокопарными тирадами, в которых Стивен искал спасения от ледяного молчания своего интеллектуального бунта, создал перед воображением Стивена странное видение. Они брели по направлению к Дэвиновой квартире по темным, узким улицам бедного еврейского квартала, и Дэвин сказал:

— Странная история со мной приключилась, Стиви, прошлой осенью; дело уже шло к зиме. Я ни одной живой душе о ней еще не поведал: ты первый. Запомнил только — то ли в октябре, то ли в ноябре это было. Нет, в октябре — я еще не попал сюда на первый курс.

Стивен, улыбаясь, взглянул на своего приятеля: он был польщен его доверием, тронут его простым разговором.

— Так вот. Весь тот день я был в Баттеванте: не знаю, ведомо ли тебе, где это. Я был на хоккейном матче ¹⁴ между городской сборной Крока и Бесстрашными Тёрлсами из Лимерика. Видит Бог, Стиви, игра была горячая. Мой братан, Фонзи Дэвин, даже рубашку скинул. Он был вратарем в команде Лимерика, но половину игры провел среди нападающих и вопил как оголтелый. Никогда я этого дня не забуду. Раз один из кроковских ребят

¹⁴ Собственно, «хёрлинг» — ирландская форма травяного хоккея.

замахнулся на него своей клюшкой. Угоди он ему в висок, и, видит Бог, моему Фонзи пришел бы конец.

— Я рад, что он вышел целым из игры, — сказал Стивен, рассмеявшись, — но ведь не об этом странном происшествии ты хочешь рассказать.

— Ну что ж, тебя все это, верно, не занимает, но после игры был такой ералаш, что я пропустил поезд и не мог найти никого, кто бы меня подвез. В этот самый день в Кастлтаунроше был массовый митинг, и экипажи съехались туда отовсюду. Оставалось либо ночевать, либо двигаться пешечком. Я пошел. Иду, иду. К ночи добрал до Баллихурских холмов — это миль десять за Килмаллоком, а за холмами начинается длинная-длинная дорога через пустынную местность. Вдоль нее не увидишь ни одного христианского дома, не услышишь ни звука. Тьма: ни зги не видать. Раз или два я остановился, чтобы разжечь трубочку в кустах: не будь трава сырой от росы, я бы там же разлегся и уснул. Но вот, за поворотом дороги я увидел маленький домик, в окне был свет. Я подошел и постучался. Голос изнутри спросил: «Кто там?» Я ответил, что был на матче в Баттеванте, бреду домой и был бы рад кружке воды. Немного погодя, дверь открыла молодая женщина и вынесла мне большую кринку молока. Она была полуодета, вероятно собиралась ложиться спать, когда я постучался; волосы ее падали на плечи. Мне показалось — по ее телу и по глазам, — что она ждет ребенка. Она долго калякала со мной в две-

рях, и мне показалось чудным, что ее грудь и плечи полуобнажены. Она спросила меня, не устал ли я, не хочу ли переночевать. Она сказала, что одна в доме, муж де уехал утром в Квинстаун проводить сестру. И пока она все это говорила, Стиви, она, не отрываясь, смотрела мне в лицо и стояла так близко, что я слышал ее дыхание. Когда я вернул ей крынку, она взяла меня за руку, чтобы перевести меня через порог, и сказала: «Войди и проведи со мной ночь. В доме никого нет, только мы с тобой . . .» Я не вошел, Стиви. Я поблагодарил ее и пошел своей дорогой; меня лихорадило. У поворота я оглянулся: она все еще стояла в дверях.

Последние слова Дэвина запели в его памяти, и облик женщины из рассказа нашел свое отражение в облике крестьянок, которых он видел в дверях домов в Клейне, когда проезжал мимо них в школьном экипаже. Она казалась ему символом ее и его народа, душой подобной летучей мыши, пробуждающейся лишь в темноте, в скрытности, в одиночестве, душой, глазами, голосом и жестом бесхитростной женщины приглашающей странника разделить с ней ложе.

Кто-то тронул его руку, и молодой голос воскликнул:

— Барин! Пожалейте бедную девушку! Первый пучок сегодня, барин! Купите букетик! Пожалуйста, барин!

Голубые цветы, которые она ему протягивала, и ее молодые голубые глаза показались ему в это мгновение олицетворением невинности; он подо-

ждал, пока это впечатление не рассеялось, пока он не рассмотрел ее лохмотья, сальные, грубые волосы и наглое лицо.

— Пожалуйста, барин! Пожалейте бедную девушку!

— У меня нет денег, — сказал Стивен.

— Купите цветочки, пожалуйста, барин. Только одно пенни.

— Ты слышала, что я сказал? — спросил Стивен. — Я тебе сказал, что у меня нет денег. Поняла?

— Ну что ж, со временем, даст Бог, разбогатеете, — сказала девушка.

— Возможно, — сказал Стивен, — но мало вероятно.

Он быстро пошел дальше, опасаясь, как бы ее фамильярность не обернулась издевательством, и стремясь убраться восвояси, пока она не предложит свой товар еще кому-нибудь — туристу из Англии или студенту Троицкого колледжа. На Графтон-Стрит,¹⁵ по которой он шел, горькое сознание его нищеты еще обострилось. На мостовой в конце улицы была вделана мемориальная доска памяти Вульфа Тона,¹⁶ и он вспомнил, как присутствовал с отцом на ее торжественном открытии. Он с горечью вспомнил это жалкое торжество. В нем участвовало четыре французских делегата; один из них, плотный, улыбающийся молодой че-

¹⁵ Главная торговая магистраль Дублина.

¹⁶ Вульф Тон (1763—1798), вождь ирландских повстанцев в 1798 г.

ловек, держал прикрепленный к шесту плакат с отпечатанными на нем словами: *Vive l'Irlande!*¹⁷

Но деревья на Стефановом лугу¹⁸ пахли дождем, а от насыщенной дождями земли исходил запах тления, как чуть слышный аромат ладана, поднимающийся сквозь гниющую листву из множества сердец. Все, что осталось от нарядного, продажного города, о котором рассказывали ему старшие, был легкий запах тления, поднимающийся с земли; и Стивен знал, что как только он переступит порог мрачного здания колледжа, он ощутит иной разврат, непохожий на разврат Така Эгана и Бернчепеля Уэли.¹⁹

Идти наверх, на лекцию по французской литературе, было слишком поздно. Он пересек входную залу и пошел влево по коридору, ведущему к физической лаборатории. В коридоре было темно и тихо, но ощущалось присутствие какого-то соглядатая. Почему? Не потому ли, что, по слухам, во времена Бака Уэли оттуда вела потайная лестница? Или потому, что иезуитский колледж был экстерриториален, и он оказался среди иноземцев? Ирландия Тона и Парнелля, казалась, куда-то улетучилась.

¹⁷ Франц. Да здравствует Ирландия!

¹⁸ Парк в центре Дублина.

¹⁹ Дублинцы анти-католики конца XVIII века. Ричард Уэли заслужил прозвище «Бернчепеля» (т. е. «Часовне-сжигателя») за массовое разрушение католических часовен в 1798 г. Его сын, Бак Уэли, кутила и эксцентрик (1766—1800). В особняке, когда-то ему принадлежавшем, позднее разместился католический университет, в котором учится Стивен.

Он открыл дверь лаборатории и остановился в холодном, сером свете, пробивающемся сквозь пыльные окна. Перед камином сидел на корточках какой-то худой и серый человек. Стивен узнал зрителя, старавшегося разжечь огонь. Он тихо прикрыл дверь и подошел к камину.

— Доброе утро, сэр. Можно вам пособить?

Священник быстро взглянул на него и сказал:

— Одну минуту, мистер Дедалус, и дело будет сделано. Разжигание огня — тоже искусство. Есть искусства свободные, и есть искусства полезные. Так вот, это одно из полезных искусств.

— Постараюсь ему научиться, — сказал Стивен.

— Поменьше угля, — сказал зритель, проворно взясь над своим делом. — Вот первое правило.

Он достал из боковых карманов сутаны четыре огарка и ловко расставил их среди угольев и свернутых жгутами газет. Стивен молча наблюдал за ним. Стоя на коленях на каменном полу перед камином, разжигая огонь и размещая жгуты и огарки, зритель больше чем когда-либо казался ему смиренным прислужником, уготовляющим жертвенник в пустом храме, левитом Господним.²⁰ Как левитское одеяние из некрашенного полотна, полинявшая, потрепанная сутана облакала коленопреклоненного человека, которого смущали и тревожили бы полное священническое

²⁰ Левиты — наследственная каста в законе Моисеевом, обязанность которой состояла в уходе за скинией (храмом).

одеяние и окаймленный бубенцами ефод.²¹ Тело его одряхлело, смиренно услужая Господу, подерживая огонь на жертвеннике, выполняя тайные поручения, заботясь о детях мира сего, если нужно, быстро карая их — одряхлело, но не просияло благостной красотой святости или иерейского сана. Да и душа его одряхлела на этом служении, не приобщившись ни к свету, ни к красоте, не приобретя благоухания святости. А его умерщвленная воля откликалась на приказы свыше столь же автоматически, как откликалось на зов милосердия или брани его стареющее тело — худое, жилистое, с головой, увенчанной седым пухом.

Смотритель опять присел на корточки, следя за тем, как постепенно разгораются щепки. Чтобы как-нибудь заполнить молчание, Стивен сказал:

— Я бы огня разжечь не смог.

— Вы художник, не правда ли, мистер Дедалус? — сказал смотритель, глядя вверх и мигая своими белесыми глазами. — Цель художника — творить прекрасное. Но что именно прекрасно, это — другой вопрос.

И он медленно развел своими сухими руками, дивясь этой трудности.

— Аквинат, — ответил Стивен, — пишет: *Pulcrum sunt quae visa placent.*²²

²¹ Ефод — короткая верхняя одежда священника в Ветхом Завете. Подол ефода был обшит золотыми бубенцами. См. Исход, 28, 33—35 и 39, 25—27.

²² Л а т.: Прекрасно то, что радует зрение.

— Вот это пламя, — сказал смотритель, — радует наше зрение. Что ж, разве оно поэтому прекрасно?

— Да. Поскольку оно воспринимается зрением, что в данной связи, вероятно, означает эстетическое разумение, оно прекрасно. Но Аквинат также пишет: *Bonum est quod tendit appetitus.*²³ Поскольку оно удовлетворяет животную потребность в тепле, оно — добро. Но в аду оно — зло.

— Вот именно, — сказал смотритель. — Можно сказать: не в бровь, а в глаз.

Он проворно поднялся, подошел к двери, открыл ее и сказал:

— Говорят, в этом деле помогает сквозняк.

Когда он, прихрамывая, но быстро шагая, шел обратно к камину, Стивен увидел смотревшую через бледные, не знающие любви глаза души иезуита. Как Игнатий,²⁴ он был хром, но в глазах его не светилось и искры Игнатьева энтузиазма. Даже пресловутое хитроумие ордена — более тонкое, более сокровенное, чем иезуитские книги, исполненные тайной, тончайшей мудрости — не воспламеняло его души апостольским рвением. Казалось, что подчиняясь предписаниям, он использует все ухищрения, всю ученость, все коварство мира сего ради вящей славы Господней, но делает это безо всякой радости, безо всякой ненависти к заложенному в них злу, а лояльно повинуюсь при-

²³ Л а т. Добро то, к чему стремится желание.

²⁴ Святой Игнатий Лойола (1491—1556), основатель иезуитского ордена.

казу начальства и пользуясь ими в мирских же целях. Казалось также, что несмотря на все свое послушание, он не любит Учителя и даже не любит цели, которой служит. Similiter atque senis baculus; по замыслу основателя ордена, он был «подобен посоху в руке старца», посоху, на который можно опереться в пути ночью или в непогоду, который может лежать на садовой скамье рядом с девичьим букетом, и который может быть также стать угрозой противнику.

Смотритель вернулся к камину и потер подбородок.

— Когда же вы выскажетесь по вопросам эстетики? — спросил он.

— Я?! — сказал удивленный Стивен. — Добро, если у меня раз в две недели ненароком мелькнет свежая мысль.

— Всё это проблемы очень глубокие, мистер Дедалус, — сказал смотритель. — Как пучина морская у Мохэровских скал. Многие ныряют в эту пучину и в ней же погибают. Только опытный водолаз может спуститься на ее дно и вернуться невредимым.

— Если вы имеете в виду философские рассуждения, сэр, — сказал Стивен, — то я считаю, что подлинно свободной мысли вообще нет, поскольку всякая мысль ограничена своими же собственными законами.

— Ага!

— Сейчас я размышляю над этими проблемами в свете одной-двух идей Аристотеля и Аквината.

— Ага. Понимаю.

— Мне они нужны только в практических целях и для ориентировки, пока я сам чего-нибудь не сотворю в их свете. Если лампа начнет коптить или дурно пахнуть, я подстригу фитиль. Если она не будет давать достаточно света, я продам ее и куплю новую.

— У Эпиктета тоже была лампа, — сказал смотритель, — за которую после его смерти выручили баснословную цену. Это была лампа, при свете которой он писал свои философские труды. Вам известен Эпиктет?

— Старик, который сравнивал душу с ведром воды, — резко ответил Стивен.

— Он рассказывает нам попросту, — продолжал смотритель, — как однажды поставил свою металлическую лампу перед статуей одного из богов, и как вор украл эту лампу. Что же сделал философ? Уразумев, что в природе вора — красть, он на следующий день решил купить глиняную лампу взамен металлической.

Запах тающего сала поднялся от огарков и смешался в сознании Стивена с позвякиванием слов «ведро» и «лампа», «лампа» и «ведро». Да и сам голос священника позвякивал, как побрякушка. Мысль Стивена приостановилась, подчиняясь инстинкту, сбитая с толку странным тоном, системой образов и лицом священника, которое казалось ему незажженной лампой или рефлектором, повешенным под неправильным углом. Что крылось за этим лицом или в нем самом? Тусклая ту-

пость души или тусклость громовой тучи, насыщенной разумением и гневом Господним?

— Я имел в виду другую лампу, сэр, — сказал Стивен.

— Не сомневаюсь, — ответил смотритель.

— Одна из трудностей, — сказал Стивен, — в любом споре по эстетике состоит в распознавании того, применяются ли слова согласно литературной или бытовой традиции. Ньюман где-то говорит, что Пресвятая Дева была «задержана» в сообществе святых. Смысл того же самого слова в быту совсем иной: «Надеюсь, что я вас не задерживаю».

— Нисколько, — сказал вежливо смотритель.

— Нет, нет, — сказал Стивен, улыбаясь, — я имею в виду . . .

— Ах, да, да, — согласился сразу же смотритель, — понимаю: что значит «задержать»?

Он выставил вперед челюсть и коротко, сухо кашлянул.

— Но вернемся к лампе, — сказал он. — Заправка ее — тоже важное дело. Вы должны вынуть чистое масло, вы должны осторожно вливать его, чтобы не перелить через край и не влить больше того, что вмещает воронка.

— Какая воронка? — спросил Стивен.

— Воронка, через которую вливают масло в лампу.

— Вот это? — спросил Стивен. — Разве это называется воронкой? Разве это не тандиш?

— Что такое тандиш?

— Ну, вот это — . . . воронка.

— Это называется «тандиш» в Ирландии? — спросил смотритель. — Никогда не слышал этого слова.

— Это называется «тандиш» в Нижней Драмкондре, — засмеялся Стивен, — а там говорят на чистейшем английском языке.

— «Тандиш», — повторил смотритель задумчиво. — Курьезное слово. Надо было бы заглянуть в словарь. Непременно!

Его любезность звучала несколько деланно, и Стивен взглянул на перешедшего в католичество англичанина глазами, которыми, вероятно, старший брат в Евангельской притче глядел на блудного. Смиранный эпигон когда-то нашумевших обращений,²⁵ бедствующий англичанин в Ирландии, он, казалось, явился в роли запоздалого гостя на ту сцену из истории иезуитов, когда эта странная историческая пьеса, исполненная интриг, преследований, зависти, борьбы и унижений, уже почти подходит к концу. Откуда он взялся? Может быть, он родился и вырос в среде угрюмых сектантов, взыскующих спасения только в одном Иисусе и отвергающих тщету и пышность огосударственной англиканской церкви. Почуял ли он потребность во вселенской религии посреди путаницы раскола и жаргона беспокойных сект — всех этих

²⁵ В 1845 г. знаменитый англиканский богослов, Джон Генри Ньюман (1801—1890), впоследствии кардинал Ньюман, перешел в католичество. За ним последовало много других англикан.

шестиглавцев, людей особого племени, баптистов семени и баптистов змеи, супралапсарианских начетчиков? ²⁶ Нашел ли он истинную церковь внезапно, раскрутив до конца, как катушку, нить хитроумных размышлений о значении дуновения при рукоположении или об исхождении Святого Духа? Или же Христос коснулся его и призвал его следовать за Собой, когда он сидел у дверей какой-нибудь часовенки с жестяной крышей, подсчитывая церковные гроши, как Он когда-то призвал ученика, сидевшего у сбора пошлин?

Смотритель еще раз повторил это слово:

— «Тандиш». Очень, очень интересно.

— Вопрос, который вы мне только что задали, кажется мне более интересным: что такое та красота, которую художник пытается создать из земляных глыб? — сказал Стивен холодно.

Словечко, о котором шла речь, казалось, отклонило острие его шпаги, направленное на его вежливого, зоркого противника. С болезненным унынием он сознавал, что его собеседник — соотечественник Бена Джонсона. Он думал: «Язык, на котором мы говорим, был его языком, прежде чем стал моим. Как по разному звучат слова «родина», «Христос», «пиво», «учитель» на его устах и на моих! Я не могу произносить или писать этих слов без внутренней тревоги. Его язык, столь мне близ-

²⁶ «Супралапсарианство» — учение, согласно которому Божьи решения об избранных и навеки осужденных душах не являются последствием грехопадения, а предшествовали ему.

кий и столь чужой, останется для меня всегда языком благоприобретенным. Я не сотворил и не принял слов этого языка. И никогда они не станут вполне моими. Моя душа трепещет в тени этого языка».

— Следует также отличать прекрасное от возвышенного, — добавил смотритель, — красоту моральную от красоты материальной. Следует также разобраться в том, какая красота свойственна каждому отдельному искусству. Все это весьма интересные вопросы, которыми можно было бы заняться.

Внезапно обескураженный твердым, сухим тоном смотрителя, Стивен молчал. В наступившей тишине он услышал вдали топот сапогов и шум голосов на лестнице.

— Занимаясь этими вопросами, однако, — заключил смотритель, — можно умереть с голоду. Прежде всего вам следует получить диплом. Поставьте это себе первой задачей. А потом, шаг за шагом, вы начнете находить свою дорогу. Я имею в виду дорогу в любом смысле — и жизненный путь и путь мысли. Сначала это будет делом трудным — как взбираться на гору на велосипеде. Но вспомните о мистере Мунене.²⁷ Он не сразу добрался до вершины. Но в конце концов ему это удалось.

²⁷ Старый товарищ Стивена по Клонгозской школе.

— Может быть, у меня нет его талантов, — сказал Стивен вполголоса.

— А, этого мы никогда не знаем, — сказал зритель бодрим тоном. — Мы не знаем, на что мы способны. Нет, унывать не следует. *Per aspera ad astra.*²⁸

Он быстро отошел от камина и вышел на лестницу, чтобы встретить студентов первого гуманитарного курса.

Прислонясь к камину, Стивен слышал, как он бодро и безлично приветствовал каждого отдельного студента, и, казалось, видел еле сдерживаемую иронию на лицах более грубых студентов. Жалость, словно роса, освежила его легко ожесточающееся сердце — жалость к этому верному оруженосцу рыцаря Лойолы, к этому сводному брату священнослужителей, более обмирщенному чем они в своих речах, но и более крепкому чем они в своей душе, к человеку, которого он, Стивен, никогда не назовет своим духовным отцом. Он думал также о том, как этот человек и его сотоварищи по ордену заслужили прозвище людей, поглощенных мирскими интересами: — так к ним относились не только священники, но и миряне, — и только потому, что на протяжении всей своей истории они ратовали перед Богом за ленивые, боязливо прохладные и осмотрительные души.

Профессора физики встретил грохот тяжелых сапогов студентов, сидевших на верхнем ярусе

²⁸ Л а т. Через бури — к звездам.

мрачной лаборатории под серыми, заросшими паутиной окнами. Началась переключка, ответы на которую произносились на самые разные лады, пока дело не дошло до имени Питера Бёрнса.

— Здесь!

Низкая басовая нота раздалась в ответ с верхнего яруса, а за ней последовал протестующий кашель с других скамей.

Профессор выждал несколько секунд и выкликнул следующее имя:

— Крэнли!

Ответа не последовало.

— Мистер Крэнли!

Улыбка пронеслась по лицу Стивена, когда он вспомнил о занятиях своего приятеля.

— Поищите его в Лепардстауне!²⁹ — сказал чей-то голос со скамьи за ним.

Стивен быстро обернулся, но рылообразное лицо Мойнихана, выделяющееся на фоне серого света, было невозмутимым. Профессор продиктовал формулу. Тетради зашуршали; Стивен опять оглянулся и сказал:

— Ради Бога, дай мне бумаги.

— Так тебе приспичило? — спросил Мойнихан, широко ухмыляясь.

Он вырвал страницу из своего блокнота и передал ее, шепча:

— В случае необходимости любой мирянин имеет право совершить обряд.

²⁹ Дублинский ипподром.

Формула, которую Стивен послушно записал на клочке бумаги — профессорские расчеты наматывания и разматывания проволоки, призрачные символы силы и скорости — и завораживала и изнуряла Стивена. Говорят, будто старик профессор — атеист и масон. О, какой сегодня серый и тусклый день! Как будто сознание безболезненно и терпеливо погружается в лимб,³⁰ по которому бродят души математиков в дымчатых сумерках, перемещая длинные, стройные шлейфы из одной плоскости в другую и вызывая быстрые вихревые токи, несущиеся к крайним пределам вселенной — огромной, необъятной, недоступной.

— Таким образом, мы должны различать эллипс от эллипсоида. Вероятно, кое-кто из вас, господа, знаком с сочинениями мистера Гилберта.³¹ В одной из его арий он описывает бильярдного шулера, обреченного на том свете играть веки вечные «на неровном сукне, изогнутым кием, яйцеобразными шарами». Он имеет в виду шары, обладающие формой эллипсоида по главным осям, о котором я только что говорил.

Мойнихан пригнулся и шепнул Стивену на ухо:

³⁰ Лимб — согласно схоластическому учению — преддверие ада, куда попадают после смерти души нехристианских праведников и некрещенных детей.

³¹ Вильям Швенк Гилберт (1838—1911), знаменитый английский либреттист, который совместно с композитором Салливаном, создал огромный репертуар опереток.

— «Яйцеобразные шары»? Дай мне шарообразные яйца! Догоняйте меня, барыни, я — из гусаров.

Грубоватая острота пронеслась как буря вдоль монастырских сводов сознания Стивена, срывая священнические облачения, вяло висящие по стенам, заставляя их мотаться и выделявать антраша как на шабаше ведьм. Лица отдельных членов общины выглядывали из-под мотающихся на ветру ряс — смотритель; дородный, румяный казначей с седой шевелюрой, напоминающей ермолку; ректор; маленький попик с пухообразными волосами, сочиняющий благочестивые стишки; широкоплечий мужиковатый профессор политической экономии; молодой верзила, профессор морального богословия, обсуждающий на площадке лестницы сложные проблемы совести со своими студентами, похожими на стадо антилоп, сам он на жирафа, срывающего листву с высокого дерева; серьезный, чем-то озабоченный префект братства; толстый, круглоголовый профессор итальянского языка с жуликоватыми глазами — все они мчались, семеня ногами, спотыкаясь, кувыркаясь, выделявая антраша, подбирая рясы для чехарды, удерживая друг друга, трясясь от низкого, деланного хохота, шлепая друг друга по задницам, хихикая над своими грубыми проказами, называя друг друга фамильярными прозвищами, иногда вдруг обижаясь на какую-нибудь слишком уж грубую выходку, о чем то шепчась и прикрывая рот ладонями . . .

Профессор подошел к стеклянному шкафу у

стены, достал с одной полки подбор катушек, сдул с него пыль и бережно поставил его на стол, держа указательный палец на одной катушке. Он объяснил, что проволока на современных катушках изготавливается теперь из амальгамы называющейся платиноидом, недавно изобретенной Ф. В. Мартино.

Он четко произнес инициалы и фамилию изобретателя. Мойнихан шепнул сзади:

— Милашка водяная ласточка!³²

— Спроси его, — ответил ему шепотом же Стивен с висельным юмором, — не нужен ли ему подопытный субъект для электрического стула. Если да, то я в его распоряжении.

Мойнихан, улучив минуту, когда профессор наклонился над катушками, привстал со скамьи и, беззвучно щелкая пальцами правой руки, стал кричать как сопливый уличный мальчишка:

— Господин учитель! Тут один мальчик неприличные слова говорит! Господин учитель!

— Платиноиду, — сказал профессор торжественно, — отдается предпочтение перед нейзильбером, потому что он обладает более низким коэффициентом сопротивления при изменении температуры. Платиноидная проволока изолирована, и шелковая ткань, изолирующая ее, намотана на эбонитовую bobину — вот тут, где мой палец. Если бы она была намотана без изоляции, то в катушке образовался бы паразитный ток. Сама bobина питана горячим парафином...

³² F. W. Martino — Fresh water Martin: водяная ласточка.

Со скамьи пониже Стивена раздался скрипучий ульстеровский³³ голос:

— Разве нам будут задавать вопросы по прикладной науке?

Профессор начал глубокомысленно жонглировать понятиями чистой и прикладной науки. Коренастый студент в золотых очках озадаченно взглянул на спрашивающего. Мойнихан пробормотал сзади нормальным голосом:

— Этот Макалистер не мытьем, так катаньем добывается своего фунта мяса.

Стивен холодно взглянул сверху на продолговатый череп, покрытый взлохмаченной, двухцветной шевелюрой. Голос, выговор, психология — всё претило ему и вызывало в нем отвращение, доходившее до ярости, до мысли, что отцу студента следовало бы отправить сына учиться в Бельфаст,³⁴ сэкономив таким образом деньги на проезд. Студент с продолговатым черепом не оглянулся, и пущенная в него стрела раздраженного Стивена не долетела до него, а вернулась на свою тетиву. Только на секунду мелькнуло сметанно-белое лицо студента.

«Это не моя мысль, — сказал Стивен в уме поспешно. — Ее внушил мне этот опереточный ирландец позади меня. Но не торопись! Разве ты можешь с уверенностью сказать, кто разбазарил

³³ Ульстер — Северная Ирландия. См. примечание на стр. 256.

³⁴ Главный город Северной Ирландии, центр воинствующего протестантизма.

честь твоей страны, кто предал ее избранников — тот, кто задал вопрос, или тот, кто теперь над ним издевается? Не торопись! Вспомни Эпиктета. Вероятно в характере Макалистера задавать такой вопрос в такой момент и произносить слово «сай-энс»,³⁵ как односложное».

Бубнящий голос профессора продолжал медленно наматываться на катушки, о которых он говорил, удваивая, утраивая, учетверяя снотворную энергию, как катушки умножали омы сопротивления.

Голос Мойнихана выкрикнул в ответ на далекий звонок:

— Кабак закрывается, господа хорошие!

Передняя зала была битком набита и гудела разговорами. На столе у дверей стояли две фотографии в рамках, а перед ними лежал длинный свиток бумаги с изогнутым шлейфом подписей. Мак Канн проворно лавировал среди толпы, скороговоркой отвечая на возражения и подводя одного студента за другим к столу. В смежной, внутренней зале смотритель разговаривал с молодым профессором, сосредоточенно потирая подбородок и кивая головой.

Стивен, которого задерживала толпа, остановился в нерешительности. Темные глаза Крэнли следили за ним из-под свисающих лопухом полей мягкой фетровой шляпы.

³⁵ Наука. (Макалистер выговаривает слово как «санс»).

— Ты подписал? — спросил Стивен.

Крэнли сжал свои тонкие, бескровные губы, погрузился в короткое созерцание и потом ответил:

— Ego habeo.³⁶

— Для чего все это?

— Quod?³⁷

— Для чего все это?

Крэнли повернулся своим бледным лицом к Стивену и сказал с горькой иронией:

— Per per universalis.³⁸

Стивен указал на фотографию царя и сказал:

— У него лицо пьяного Христа.

Раздражение и горечь, звучавшие в его голосе, заставили Крэнли, спокойно рассматривавшего стены залы, опять взглянуть на Стивена.

— Ты что? Чем-то раздражен? — спросил он.

— Нет, — ответил Стивен.

— В дурном настроении?

— Нет.

— Credo, ut vos sanguinarius mendax estis, — сказал Крэнли, — quia facies vostra monstrat, ut vos in damno humore estis.³⁹

³⁶ Д а т. Да, подписал. — Здесь и в дальнейшем Крэнли и Стивен говорят друг с другом на шутовском латинском языке, переводя буквально с английского.

³⁷ Что?

³⁸ Для мира во всем мире. — В августе 1898 г. император Николай II обратился к главам других государств с предложением созвать конференцию по разоружению и по мирному урегулированию международных конфликтов.

³⁹ По-моему, ты бесстыдно врешь: по твоей физиономии видно, что ты в отвратительном настроении.

Мойнихан, пробираясь к столу, сказал Стивену на ухо:

— Мак Канн сегодня во всем своем блеске: готов до последней капли. Новенький, чистенький мир — никаких наркотиков и право голоса для баб.

Стивена позабавила формулировка этого доверительного сообщения. Он улыбнулся, а когда Мойнихан прошел, поймал взгляд Крэнли.

— Объясни мне, пожалуйста, — сказал он, — почему он с такой охотой изливает мне душу в самое ухо?

Крэнли нахмурился. Он взглянул на стол, над которым нагнулся Мойнихан, чтобы подписаться на полосе бумаги, потом сухо сказал:

— Пончик!

— *Quis est in malo humore*, — сказал Стивен, — *ego aut vos?*⁴⁰

Крэнли оставил упрек без ответа. Он поразмыслил над вынесенным им приговором и сказал еще раз с той же сухой энергией:

— Хреновый, сволочной пончик: вот он что такое.

Это было его обычной эпитафией на могилах всех закончившихся приятельских отношений, и Стивен спросил себя, не будут ли те же самые слова когда-нибудь произнесены и в его память. Нескладное, тяжеловесное выражение медленно угасало в его слуховой памяти, как булыжник, погру-

⁴⁰ Кто в дурном настроении — я или ты?

жающийся в болото. Стивен видел, как оно погружалось — как уже не раз в прошлом, — и чувствовал, как его тяжесть гнетет его сердце. Не в пример языку Дэвина, язык Крэнли не был отмечен ни причудливыми староанглийскими оборотами, ни курьезно переделанными на английский лад ирландскими выражениями. Тягучий говор Крэнли был откликом дублинских набережных и запущенной гавани; его энергия была откликом церковного дублинского красноречия, исходящего с провинциального амвона в Виклоу.

Крэнли перестал хмуриться, когда с другого конца залы к ним быстрым шагом подошел Мак Канн.

— Вот и ты! — сказал Мак Канн бодрым тоном.

— Вот и я! — сказал Стивен.

— Как всегда с опозданием. Ты не способен совместить прогрессивные принципы с уважением к пунктуальности?

— Этого вопроса на повестке дня нет, — сказал Стивен. — Следующий пункт?

Его улыбающиеся глаза были направлены на завернутую в серебряную бумагу плитку молочного шоколада, торчавшую из верхнего кармана тужурки пропагандиста. Небольшой круг слушателей образовался вокруг них, чтобы послушать поединок в остроумии. Худой студент с оливковым цветом лица и грубыми черными волосами просунул свою голову между оппонентами, при каждой фразе поглядывая то на одного, то на другого; казалось, что своим открытым, влажным

ртом он пытается поймать каждую летящую мимо него фразу. Крэнли вынул серый мячик из кармана и начал внимательно его рассматривать, крутя его во все стороны.

— Следующий пункт? — сказал Мак Канн.
— Гм!

Он не то закашлялся, не то рассмеялся и дважды дернул себя за узкую соломенную бородку, свисавшую с его квадратного подбородка.

— Следующий пункт состоит в том, чтобы подписать приветственный адрес.

— Ты мне что-нибудь заплатишь, если я подпишу? — спросил Стивен.

— Я думал, что ты — идеалист, — сказал Мак Канн.

Студент цыганского вида огляделся вокруг и обратился к зрителям, невнятно заблеяв:

— Черт побери, какая странная мысль! По-моему, это корыстная мысль.

Его голос замер. Никто не обратил ни малейшего внимания на его слова. Он повернул свое оливковое, лошадиное лицо к Стивену, как бы предлагая ему снова высказаться.

Мак Канн заговорил с бойким красноречием о царском рескрипте, о Стэде,⁴¹ о коллективном арбитраже в случае международных конфликтов, о знамениях времени, о новом гуманизме, о новой

⁴¹ Вильям Томас Стэд (1849—1912), английский журналист и писатель; в 90-х годах был приверженцем движения за мир и замысла Объединенных Штатов Европы.

этике, которая возложит на общество обязанность обеспечить самым безболезненным путем максимальное счастье для максимального числа людей.

Студент, похожий на цыгана, откликнулся на завершение этого периода возгласом:

— Да здравствует всемирное братство!

— Валяй, валяй, Темпл, — сказал коренастый, румяный студент, стоявший рядом. — Я тебе потом кружку пива поставлю.

— Я верю во всемирное братство, — сказал Темпл, поглядывая вокруг себя своими темными, овальными глазами. — Ведь Маркс выеденного яйца не стоит.

Крэнли, натянуто улыбаясь, схватил его крепко выше локтя, чтобы приостановить его болтовню, и сказал:

— Перестань трепаться, хватит!

Темпл, пытаясь высвободить руку, продолжал говорить; губы его покрылись тонким слоем пены:

— Социализм был основан ирландцем. Первым человеком в Европе, который проповедовал свободу мысли, был Коллинс.⁴² Двести лет тому назад он разоблачил духовенство, этот философ из Миддлсекса. Да здравствует Джон Антони Коллинс!

Тоненький голосок из задних рядов ответил:

— Пип, пип!

Мойнихан пробормотал Стивену на ухо:

⁴² Антони Коллинс (1676—1729), английский деист и вольнодумец. Его не звали Джон, и он не был ирландцем. Все, что говорит Темпл — сплошная выдумка.

— А как нам быть с бедной сестренкой Джона Антони?

Лотти Коллинс без штанишек:
Одолжите ей свои!

Стивен засмеялся, и Мойнихан, польщенный успехом своей остроты, шепнул опять:

— Поставим пять шиллингов на Джона Антони Коллинса, в ординаре и в двойном. Ладно?

— Жду твоего ответа, — сказал Мак Канн лаконически.

— Все это дело меня несколько не интересует, — устало сказал Стивен. — Тебе это превосходно известно. Зачем устраивать сцену по этому поводу?

— Ладно, — сказал Мак Канн, чмокнув губами. — Значит, ты — реакционер?

— Ты думаешь, — сказал Стивен, — что импонируешь мне, размахивая своим деревянным мечом?

— Метафоры! — сказал Мак Канн резко. — Дай мне факты.

Стивен покраснел и отвернулся. Мак Канн устоял и сказал с неприязненной иронией:

— Ну что ж, посредственные поэты вероятно стоят выше таких мелких вопросов, как вопрос мира во всем мире.

Крэнли поднял голову, протянул мяч между оппонентами, как приносимую миру жертву, и сказал:

— Pax super totum sanguinarium globum.⁴³

Стивен отстранил зрителей, повел плечом в сторону царского портрета и сказал:

— Ну тебя с твоей иконой! Если уж нужен Иисус, то пусть это по меньшей мере будет Иисус истинный.

— Черта с два, ловко сказано! — сказал студент цыганского вида. — Здорово сказано. Мне это выражение очень нравится.

Он проглотил слюну, будто проглатывая понравившееся ему выражение, и, теребя козырек своего шерстяного картуза, обратился к Стивену:

— Извините, сэр, что вы имели в виду, когда только что употребили это выражение?

Чувствуя, что его толкают окружавшие его студенты, он сказал им:

— Мне хочется понять, что он имел в виду, когда употребил это выражение.

Он опять повернулся к Стивену и зашептал:

— Вы верите в Иисуса? А я верю в человека. Конечно, я не знаю, верите ли вы в человека. Я восхищаюсь вами, сэр. Я восхищаюсь разумом человека, независимого от всех религий. Вы думаете то же самое о разуме самого Иисуса?

— Валяй, валяй, Темпл, — сказал коренастый, румяный студент, возвращаясь, как обычно, к своей первоначальной мысли. — Кружка пива за мной.

⁴³ Мир во всем хреновом мире!

— Он думает, что я — кретин, — объяснил Темпл Стивену, — потому что я верю в силу разума.

Крэнли взял Стивена и его поклонника под руки и сказал:

— *Nos ad manum ballum jocabimus.*⁴⁴

Выходя из зала, Стивен взглянул на раскрасневшееся, грубоватое лицо Мак Канна.

— Моя подпись не имеет никакого значения, — сказал он вежливо. — Ты прав, следуя своему пути. Разрешите же мне идти своим.

— Дедалус, — сказал Мак Канн бодрым голосом, — я уверен, что ты — честный человек, но тебе не хватает альтруизма и личной ответственности.

Чей-то голос сказал:

— Интеллигентскому чудачеству нет места в этом движении.

Стивен, узнав скрипучий тон Макалистера, не обернулся туда, откуда исходил голос. Крэнли торжественно проталкивался через толпу, держа под руки Стивена и Темпла, как служащий литургию иерей идет к престолу, сопровождаемый сослужащими ему священниками.

Темпл перегнулся через Крэнли и сказал:

— Вы слышали, что сказал Макалистер? Этот юноша вам завидует. Вы видели? Бьюсь об заклад,

⁴⁴ Давайте сыграем в хэндбол. (В данном случае — игра вроде тенниса, но без ракеток).

что Крэнли этого не заметил. Черта с два, я сразу заметил.

Когда они проходили по внутреннему залу, смотритель как раз пытался отделаться от разговаривавшего с ним студента. Он стоял у подножия лестницы, поставив ногу на первую ступеньку, подобрав с женской щепетильностью полы своей потрепанной сутаны, часто кивая головой и повторяя:

— Совершенно верно, мистер Хеккет! Да, да! Совершенно верно!

Посреди залы префект братства серьезным, тихим, жалобным голосом разговаривал с одним из пансионеров. В ходе разговора он хмурил свой веснушчатый лоб и грыз огрызок костяного карандаша.

— Надеюсь, что придут все первокурсники. На второкурсников мы можем рассчитывать. На третькурсников тоже. Но надо позаботиться о новичках.

Темпл опять перегнулся через Крэнли и торопливо зашептал:

— Вы знаете, что у него семья? Он был женат, когда перешел в католичество. У него где-то жена и дети. Черта с два, курьезная история, а?

Его шепот перешел в хитрое, кудахтающее хихиканье. Как только они переступили порог, Крэнли грубо схватил его за шиворот и стал трясти, повторяя:

— Стоеросовый дурак! Сволочь! Я бы на Библии поклялся в мой смертный час: нет на всем хреновом свете такой сволочи, как ты!

Темпл извивался под его хваткой, все еще смеясь с хитрым, самодовольным видом, а Крэнли продолжал трясти его, сухо повторяя:

— Стоеросовый дурак! Сволочь!

Они пересекли заросший сорняками сад. На одной из дорожек им повстречался закутанный в тяжелый, теплый плащ ректор, читавший молитвенник. В конце дорожки он остановился и, прежде чем повернуть обратно, поднял глаза. Студенты поздоровались с ним, а Темпл опять потербил козырек своего картуза. Когда они подошли к аллее, Стивен услышал влажное шлепанье мячей о ладони игроков и голос Дэвина, взволнованно вскрикивающего при каждом ударе.

Все трое остановились у ящика, на котором восседал наблюдавший за игрой Дэвин. Через несколько секунд Темпл подошел к Стивену и сказал:

— Извините меня, у меня такой вопрос: как по вашему, Жан-Жак Руссо был искренний человек?

Не удержавшись, Стивен рассмеялся. Крэнли схватил лежащую у него под ногами в траве боcharную клепку, быстро повернулся и строго сказал:

— Темпл, клянусь Богом живым, если ты скажешь еще одно единственное слово, понимаешь,

все равно кому, все равно о чем, я тебя убью super spottum.⁴⁵

— Вероятно, — сказал Стивен, — он, как вы, был эмоциональный человек.

— Да ну его к чертовой матери, ну его в болото, — рассердился Крэнли. — Брось ты с ним разговаривать! Разговаривать с Темплом все равно, что разговаривать с ночным горшком. Катись домой, Темпл! Ради Бога, катись домой!

— Мне на тебя наплевать, Крэнли, — ответил Темпл, уклоняясь от занесенной над ним доски и указывая на Стивена. — Вот — единственный человек во всем учреждении, у которого индивидуальный образ мышления.

— «Учреждение!»! «Индивидуальный!»! — вскричал Крэнли. — Катись домой, черт тебя побери; ты безнадежный идиот!

— Я эмоциональная личность, — сказал Темпл. — Это очень тонко подмечено. И я горжусь тем, что я эмоционалист.

Он пошел по аллее, хитро улыбаясь. Крэнли посмотрел ему вслед пустым, бесстрастным взглядом.

— Видал? — сказал он. — Разве не сопляк?

Это замечание было встречено странным смехом стоявшего у стены студента в надвинутом на глаза картузе. Визгливый смех, исходивший из такого огромного тела, казался гоготом слона. Все

⁴⁵ На месте.

тело студента сотрясилось, и чтобы утихомирить свое веселье, он начал растирать пах.

— Линч проснулся, — сказал Крэнли.

Вместо ответа Линч выпрямился и выпятил грудь.

— Линч выпячивает грудь, — сказал Стивен, — такова его критическая оценка жизни.

Линч гулко ударил кулаком по груди и сказал:

— Есть возражения против моей фигуры?

Крэнли поймал его на слове, и они начали бороться. Когда их лица налились кровью от напряжения, они разошлись, тяжело дыша. Стивен наклонился к Дэвину, который, поглощенный игрой, не обращал внимания на разговоры.

— А как мой ручной гусачек? — спросил Стивен. — Тоже подписал?

Дэвин кивнул головой и сказал:

— А ты, Стиви?

Стивен отрицательно покачал головой.

— Ты страшный человек, Стиви, — сказал Дэвин, вынимая трубочку изо рта. — всегда ты сам по себе.

— Вот ты подписал воззвание за мир во всем мире, — сказал Стивен. — Теперь ты верно сожжешь тетрадку, которую я видел у тебя в комнате.

Так как Дэвин промолчал, Стивен начал цитировать:

— Фианна,⁴⁶ быстрым шагом марш! Фианна,

⁴⁶ Фианна — по-гэльски «дружина», название подпольных антианглийских боевых отрядов.

правое плечо вперед, шагом марш! Фианна, на первый-второй рассчитайсь!

— Это другое дело, — сказал Дэвин. — Прежде всего я ирландский националист. Но это так на тебя похоже. Ты прирожденный насмешник, Стиви.

— Когда вы устроите очередное восстание с клюшками, — сказал Стивен, — и вам потребуется неперменный доносчик, обратись ко мне. Я тебе найду нескольких в нашем университете.

— Не пойму я тебя, — сказал Дэвин. — То ты против английской литературы, то против ирландцев-доносчиков. И имя у тебя странное, и идеи странные. Ирландец ли ты вообще?

— Пойдем со мной в архив, и я покажу тебе родословную моей семьи, — сказал Стивен.

— Тогда примкни к нам, — сказал Дэвин. — Почему ты не учишься гэльскому языку? Почему ты бросил лигу после первой же лекции?

— Одну из причин ты знаешь, — ответил Стивен.

Дэвин поднял голову и засмеялся.

— А, брось, — сказал он. — Все это из-за какой-то девицы и отца Морана? Да ведь всё это твоя фантазия, Стиви. Они только разговаривали и смеялись.

Стивен помолчал и по-дружески положил руку на Дэвиново плечо.

— Помнишь, — сказал он, — как мы с тобой познакомились? В то первое утро, когда мы встретились, ты спросил меня, как пройти в матрику-

ляционный класс, и сделал ударение на первом слогe. Помнишь? Еще ты всех иезуитов величал «отцами». Помнишь? И я спрашиваю себя: «Так ли он простодушен, как его говор?»

— Я человек простой, — сказал Дэвин. — Ты это знаешь. Когда ты мне как-то вечером на Гаркорт-Стрит рассказал о своей личной жизни, вот тебе Господь, я куска не мог проглотить за ужином. Так мне дурно было. И ночью я заснуть не мог. И далось тебе все это рассказывать!

— Так, — сказал Стивен. — Значит, по твоему я — чудовище?

— Нет, — сказал Дэвин. — Но не надо было этого рассказывать.

Под внешним спокойным дружелюбием Стивена начала собираться буря.

— Меня породили этот народ, эта страна, эта жизнь, — сказал он. — И я буду выражать себя таким, какой я есть.

— Попробуй стать одним из нас, — повторил Дэвин. — В душе ты — ирландец, но уж очень гордыня тебя одолевает.

— Мои предки перестали говорить на своем языке и переняли другой, — сказал Стивен. — Они дали кучке иноземцев поработить себя. Что ж, прикажешь мне расплачиваться моей жизнью, мной самим, за долги, в которые они влезли? Ради чего?

— Ради нашей свободы, — сказал Дэвин.

— Не было еще ни одного честного и искреннего человека, — сказал Стивен, — отдавшего вам

свою жизнь, свою молодость, свою любовь — со времен Тона и до времен Парнеля — которого вы бы не предали, не бросили бы в час нужды, не облили бы помоями, которому вы бы не изменили. И ты мне предлагаешь стать одним из вас? Да идите вы к дьяволу!

— Они умерли за свои идеалы, Стиви, — сказал Дэвин. — Будет и на нашей улице праздник, поверь мне.

Стивен, который следовал ходу собственной мысли, помолчал.

— Душа рождается, — сказал он мечтательно, — прежде всего в те минуты, о которых я тебе говорил. Рождается она медленно и скрытно, и ее рождение таинственнее рождения тела. Когда человеческая душа рождается в этой стране, на нее набрасываются сети, чтобы помешать ей взлететь. Не говори мне о народности, об языке, о религии. Я попытаюсь увильнуть от этих сетей.

Дэвин вытряхнул пепел из своей трубочки.

— Слишком глубокомысленно это для меня, Стиви, — сказал он. — Для человека на первом месте должна стоять его родина. Ирландия превыше всего, Стиви. Поэтом или мистиком ты можешь быть потом.

— Ты знаешь, что такое Ирландия? — спросил Стивен с холодной яростью. — Ирландия — старая хавронья, пожирающая собственных поросят.

Дэвин поднялся с ящика и пошел по направлению к играющим, скорбно покачивая головой. Но скорбь оставила его через мгновение, когда он

ожесточенно заспорил с Крэнли и с двумя участниками только что окончившейся игры. Они согласились на матче вчетвером, но Крэнли настаивал, чтобы играли его мячом. Он раза два-три дал мячу отпрыгнуть от земли, а потом сильным ударом пустил его по аллее, крикнув в ответ на удар:

— Ставь в заклад свою душу!

Стивен постоял с Линчем, пока счет не начал нарастать, а потом дернул его за рукав, приглашая его идти. Линч согласился и сказал:

— Пойдем, пожалуй, как выражается Крэнли.

Стивен улыбнулся этой шпильке. Они прошли обратно через сад и через залу, где старикашка-швейцар прикалывал какое-то объявление на черную доску. У подножья лестницы они остановились; Стивен вынул пачку сигарет и протянул ее своему спутнику:

— Я знаю, что ты нищий, — сказал он.

— А ну тебя в болото с твоим желтым нахальством, — сказал Линч.

Это доказательство культурности Линча заставило Стивена улыбнуться.

— Великий это был день для европейской культуры, — сказал он, — когда ты решил ругаться желтым цветом.

Они закурили и повернули направо. После небольшой паузы Стивен начал:

— Аристотель не дает определений сострадания и ужаса. Я их даю. Я говорю . . .

Линч остановился и грубо его перебил:

— Стой! Я тебя не слушаю. Меня тошнит. Вчера вечером я по-желтому надрался с Хораном и Гоггинсом.

Стивен продолжал:

— Сострадание — это чувство, которое приковывает наше сознание к невыносимому и неизменному человеческому страданию и отождествляет наше сознание с сознанием страдающего. Ужас — это чувство, которое останавливает сознание перед всем тяжким и неизменным в человеческих страданиях и заставляет думать о тайной причине страданий.

— Повтори, — сказал Линч.

Стивен медленно повторил свои определения.

— На днях в Лондоне девушка села в экипаж, — продолжал он. — Она ехала встретить мать, которой не видела много лет. На перекрестке оглобля ломовика раздробила оконное стекло. Длинная тонкая игла раздробленного стекла пронзила ей сердце. Она умерла в одно мгновение. Репортер назвал это трагической смертью. Это неверно. Это происшествие не имеет отношения к ужасу и состраданию так, как я их определяю.

Чувство трагического, по сути дела, — это лицо, обращенное в две стороны, к ужасу и к состраданию; эти направления — его фазы. Заметь, что я пользуюсь глаголом «останавливать». Я подразумеваю под этим, что ощущение трагического статично. Или, вернее, статично ощущение драмы. Чувства же, возбуждаемые искусством неполноценным, — кинетичны: это похоть и отвращение.

Похоть побуждает нас овладевать чем-то; отвращение побуждает нас что-то откинуть, что-то отбросить. Поэтому искусства, которые возбуждают их — порнография и дидактика — неполноценны. Эстетическое же чувство (я пользуюсь общим термином) — статично. Сознание останавливается и подымается поверх похоти и отвращения.

— Ты говоришь, что искусство не должно вызывать похоти, — сказал Линч. — Я тебе рассказывал, как однажды я расписался карандашом на задку Венеры Милосской в музее. Разве это не похоть?

— Я говорю о нормальных натурах, — сказал Стивен. — Ты ведь тоже рассказывал, как мальчиком в той превосходной кармелитской школе ты на пари ел куски сухого коровьего навоза.

Линч опять завизжал своим ржащим хохотом и потер пах руками, не вынимая их на этот раз из карманов.

— Да! Было такое дело! Было! — воскликнул он.

Стивен обернулся к своему спутнику и в течение нескольких секунд внимательно смотрел ему в глаза. Глаза оправившегося от приступа хохота Линча униженно встретили его взгляд. Длинный, узкий, сплюснутый череп под картузом с узким козырьком напомнил Стивену какое-то пресмыкающееся. Да и сами глаза своим мертвым блеском и неподвижностью напоминали глаза пресмыкающегося. Но теперь, в них — униженных и живых — светилась крохотная человеческая точка,

— окошечко для ссохшейся души, души несчастной и ожесточенной.

— Что до этого, — сказал Стивен вежливо в скобках, — все мы животные. Я тоже животное.

— Что верно, то верно, — сказал Линч.

— Но в настоящее время мы пребываем в мире духовного, — продолжал Стивен. — Похоть и отвращение, возбуждаемые неполноценными эстетическими средствами, — чувства не эстетические не только потому, что они кинетичны, но и потому, что они остаются в пределах физиологии. Наша плоть отвергает все то, чего она страшится, и стимулируется тем, чего она желает, чисто рефлекторными движениями нервной системы. Веко опускается, прежде чем мы осознаем, что мошка собирается коснуться глаза.

— Не всегда, — сказал Линч критически.

— Точно так же, — сказал Стивен, — твою плоть стимулировала обнаженная статуя, но, повторяю, это было чисто нервным рефлексом. Красота, выраженная художником, не может возбуждать в нас кинетического чувства или чисто физиологического ощущения. Она пробуждает или вызывает или должна вызывать эстетический стасис, идеальное сострадание или идеальный ужас, стасис, создаваемый, продлеваемый и в конечном итоге растворяемый тем, что я называю ритмом красоты.

— А это что такое? — спросил Линч.

— Ритм, — сказал Стивен, — это формально-эстетическое отношение одной части к другой в

любом эстетическом целом, или отношение эстетического целого к его части или частям, или отношение отдельной части к эстетическому целому, в которое оно входит.

— Если это ритм, — сказал Линч, — то объясни мне, что ты называешь красотой. И помни, что хотя я и жрал коровий навоз, я преклоняюсь только перед красотой.

Стивен отдал салют, приподняв картуз. Потом, покраснев, он положил руку на скроенный из прочного твида рукав Линча.

— Мы правы, а другие неправы, — сказал он. — Говорить об этих предметах, пытаться осознать их природу и, осознав ее, пытаться медленно, смиренно, неустанно выражать или выжимать из грубой земли и из всего того, что из нее происходит, из звуков, форм и красок, этих тюремных стен нашей души, образ осознанной нами красоты — вот это и есть искусство.

Они подошли к мосту через канал и, свернув в сторону, пошли по аллее вдоль набережной. Тусклый, серый свет, отражавшийся в мутной воде, и запах мокрых веток над их головами, казалось, опровергали все построения Стивена.

— Ты все еще не ответил на мой вопрос, — сказал Линч: — что такое искусство? Что такое та красота, которую оно выражает?

— Это было первым определением, которое я тебе дал, жалкий разиня, — сказал Стивен, — когда я начал продумывать весь этот вопрос. Пом-

нишь тот вечер? Еще Крэнли разозлился и начал говорить о викловском бэконе?

— Помню, — сказал Линч. — Он рассказывал нам о «чертовски разжиревших хреновых свинях».

— Искусство, — сказал Стивен, — это перераспределение человеком в эстетических целях действительности, воспринимаемой чувствами или разумом. Свиней ты помнишь, а определение ты забыл. Хорошая парочка, ты с Крэнли.

Линч посмотрел с гримасой на сырое, серое небо и сказал:

— Если ты хочешь, чтобы я слушал твою философию эстетики, дай мне хотя бы еще одну сигарету. К черту тебя, к черту вообще всё! Мне не плевать. Наплевать даже на баб. Мне нужно место на пятьсот фунтов в год. А ты мне его не устроишь.

Стивен протянул ему пачку сигарет. Линч взял последнюю, остававшуюся сигарету и сказал просто:

— Продолжай!

— Аквинат, — сказал Стивен, — пишет, что прекрасно то, что при восприятии радуется зрение.

Линч кивнул головой.

— Это я помню, — сказал он: — „Pulcra sunt quae visa placent“.

— Он пользуется словом *visa*, — сказал Стивен, — подразумевая все виды эстетического восприятия — зрение, слух, любые иные средства восприятия. Даже будучи несколько туманным,

это слово достаточно ясно для того, чтобы исключить категории добра и зла, которые возбуждают похоть и отвращение. И оно очевидно означает стасис, а не кинесис. А истина? Она тоже вызывает статическое состояние сознания. Ты не распишешься карандашом поперек гипотенузы прямоугольного треугольника.

— Нет, — сказал Линч, — дай мне гипотенузу Венеры Милосской.

— Поэтому истина тоже статична, — сказал Стивен. — Кажется, Платон сказал, что красота это излучение истины. Я не совсем это понимаю, но несомненно истина и красота сродни друг другу. Истина познается разумом, который радуют наиболее совершенные соотношения в воспринимаемой им действительности. Красота воспринимается воображением, которое радуют наиболее совершенные соотношения в воспринимаемой *им* действительности. Первый шаг на пути к истине состоит в уразумении пределов и компетенции самого разума, в постижении самого акта познания. Вся Аристотелева философская система покоится на его трактате по психологии, а она, повидимому, покоится на его положении, что один и тот же атрибут не может в то же самое время и в том же самом контексте и быть и не быть свойственным тому же субъекту. Первый шаг на пути к красоте состоит в уразумении пределов и компетенции воображения, в постижении самого акта эстетического познания. Ясно?

— Но что такое красота? — сказал Линч нетерпеливо. — Дай мне другое определение. «То, что мы видим, и что нам нравится»: лучше этого вы с Аквинатом ничего придумать не могли?

— Возьмем женщину, — сказал Стивен.

— Возьмем, — поддержал Линч с жаром.

— Грек, турок, китаец, копт, готтентот, — сказал Стивен, — каждый из них восхищается своим идеалом женской красоты. Это кажется лабиринтом, из которого нет выхода. Но я вижу целых два. Первый выход — такая гипотеза: все физиологические качества женщины, которыми восхищаются мужчины, прямо соответствуют многообразным функциям женщин в деле воспроизведения рода человеческого. Может быть, это и так... Может быть, мир — учреждение еще более нудное, даже чем ты, Линч, это себе представляешь. Что до меня, этот выход мне не по душе. Он ведет к евгенике, а не к эстетике. Он выводит тебя из лабиринта в новенькую, безвкусно размалеванную аудиторию, где Мак Канн — с «Происхождением видов» в одной руке, с Новым Заветом в другой — объясняет тебе, что ты восторгаешься широкими бедрами Венеры, предвидя, что она наградит тебя здоровенными отпрысками, и восторгаешься ее грудями, предвидя, что они дадут достаточно молока вашим детям.

— В таком случае Мак Канн — сернисто-желтый брехун, — сказал Линч с убеждением.

— Остается второй выход, — сказал Стивен, смеясь.

— А именно? — спросил Линч.

— Следующая гипотеза, — начал Стивен.

Длинная подвода, груженная железным ломом, обогнула угол клиники памяти сэра Патрика Дана, заглушая конец Стивеновской лекции резким грохотом дребезжащего и громыхающего металла. Линч заткнул уши, изрыгая одно ругательство за другим, пока подвода не проехала. Потом он круто повернул обратно. Стивен тоже повернул и дождал несколько секунд, пока не улеглось раздражение его спутника.

— Эта гипотеза, — повторил Стивен, — утверждает обратное: хотя тот же самый предмет может казаться прекрасным не всем людям, все люди, восхищающиеся прекрасным предметом, находят в нем определенные соотношения, которые совпадают с самими фазами эстетического восприятия. Эти соотношения, видимые тебе через одну форму, а мне — через другую, должны поэтому быть необходимо присущими качествами красоты. А теперь мы можем вернуться к нашему старому приятелю, святому Фоме, авось он нам даст на пяточок премудрости.

Линч засмеялся.

— Меня забавляет, — сказал он, — что ты постоянно на него ссылаешься, как какой-то добродушный, разжиревший монах. Или ты в шутку?

— Макалистер, — ответил Стивен, — назвал бы мою теорию эстетики прикладным томизмом. Что касается этой стороны философии эстетики, то я безоговорочно следую Аквинату. Но когда

мы дойдем до явлений художественного замысла, художественного вынашивания, художественного воспроизведения, то мне понадобится новая терминология и новый личный опыт.

— Еще бы, — сказал Линч. — Ведь в конце концов Аквинат, несмотря на весь свой ум, сам — добродушный, разжиревший монах. Но о новом личном опыте и о новой терминологии ты мне расскажешь как-нибудь в другой раз. А сейчас заканчивай поскорей первую часть.

— Кто знает? — сказал Стивен с улыбкой. — Может быть Аквинат понял бы меня лучше чем ты. Он ведь сам был поэт. Это он сочинил гимн, который поют в Страстной Четверг, „Pangue, lingua, gloriosi“; ⁴⁷ он считается лучшим гимном во всем сборнике. Это очень сложный, но и очень успокаивающий гимн. Мне он нравится. Но несравненно ни с чем скорбно-величественное песнопение для крестного хода в Страстную Пятницу, *Vexilla Regis* Венантия Фортуната. ⁴⁸

Линч торжественно запел своим глубоким басом:

Impleta sunt, quae concinit
David fideli carmine,

⁴⁷ Л а т. *Pangue, lingua, gloriosi Corporis mysterium*, и т. д. Славы, мой язык, тайну Преславного Тела.

⁴⁸ Л а т. *Vexilla Regis prodeunt*: Се, грядут Царские хоругви.

Dicendo nationibus:
Regnavit a ligno Deus. ⁴⁹

— Здорово! — сказал он. — Музыка как надо!

Они завернули на Лоуер-Маунт-Стрит. В нескольких шагах от угла с ними поздоровался пухленький молодой человек в шелковом кашне.

— Слыхали результаты экзамена? — спросил он, остановившись. — Гриффин провалился. Галпин и О'Флин выдержали по отделению государственной службы. Мунэн вышел на пятое место по службе в Индии, О'Шонесси — на четырнадцатое. Вчера вечером ирландское землячество угощало их у Кларка. Они ели кэрри.

Его бледное, опухшее лицо носило выражение добродушного ехидства; пока он перечислял результаты, его крохотные, заплывшие жиром глазки постепенно исчезали, а слабый, сиплый голосок замирал.

Когда же он стал отвечать на вопросы Стивена, глаза и голос опять вынырнули на свет Божий из своих укромных убежищ.

— Да. Маккаллах и я, — сказал он. — Он выбрал чистую математику, а я — политическую историю. Двадцать предметов! Я и ботанику тоже выбрал. Ты ведь знаешь: я — член ботанического клуба.

⁴⁹ Лат. Сбылось пророчество Давида в преисполненном верности и обращении ко всем народам песнопении: с древа миром управляет Бог.

Он церемонно отошел от своих собеседников, положил толстую, покрытую шерстяной перчаткой ладонь на грудь, из которой вырвался сиплый, похожий на бормотанье, смешок.

— Когда ты в следующий раз отправишься на экскурсию, — сказал Стивен сухо, — принеси нам с Линчем репы и луку на похлебку.

Пухлый студент снисходительно рассмеялся и сказал:

— Мы в клубе народ солидный. В прошлую субботу мы всемером устроили экскурсию в Гленмор.

— С бабами, Донован? — сказал Линч.

Донован опять положил руку на грудь и сказал:

— Наша цель состоит в приобретении знаний.

Потом он быстро добавил:

— Говорят, ты что-то пишешь об эстетике?

Стивен сделал неопределенный отрицательный жест.

— Гете и Лессинг, — сказал Донован, — много писали по этому вопросу. Классическая школа, романтическая школа и все такое прочее. Меня очень заинтересовал «Лаокоон», когда я его читал. Конечно, все это идеализм, все это очень на немецкий лад глубокомысленно.

Никто ему не ответил. Донован вежливо раскланялся.

— Надо идти, — сказал он тихим, благосклонным голосом. — Я подозреваю, больше того, я по-

чти убежден, что сестра собирается сегодня жарить блинчики к ужину семейства Донованов.

— До свиданья! — сказал Стивен ему вдогонку. — Не забудь репы и лука для нас с Линчем.

Линч глядел ему вслед; губа его медленно, презрительно искривилась, пока лицо не стало похожим на дьявольскую маску.

— Подумать только: этот желтый стервец, пожирающий блинчики, получит хорошее место, а я курю грошевые сигареты!

— Чтобы закончить то, что я говорил о красоте, — сказал Стивен. — Наиболее удовлетворительные соотношения в чувственно постигаемой действительности соответствуют отдельным фазам художественного восприятия. Найди их, и ты найдешь свойства красоты вообще. Аквинат говорит: „Ad pulcritudinem tria requiruntur, integritas, consonantia, claritas“. Я перевожу это так: «Три качества потребны для красоты — целостность, гармония, лучезарность». Соответствуют ли они фазам восприятия? Ты следишь за моим ходом мысли?

— Конечно, слежу, — сказал Линч. — Меня даже подмывает побежать за Донованом и предложить этому стервцу послушать тебя.

Стивен указал на корзинку, которую нес, надев ее себе вверх дном на голову, рассыльный из булочной.

— Взгляни на эту корзинку, — сказал он.

— Вижу, — сказал Линч.

— Чтобы увидеть корзинку, — сказал Стивен, — твое сознание прежде всего выделяет ее из всего остального видимого мира, изо всего того, что не является корзинкой. Первая фаза восприятия состоит в проведении черты вокруг предмета, который ты собираешься воспринять. Эстетический образ дается нам либо в пространстве, либо во времени. То, что воспринимается слухом, дается во времени; то, что воспринимается зрением, дается в пространстве. Но — временный или пространственный — эстетический образ отчетливо воспринимается, как нечто самодовлеющее и ограниченное на необъятном фоне пространства или времени, фоне, который не есть образ. Ты воспринял корзинку, как отдельную вещь. Ты увидел ее, как нечто цельное. Вот это и есть *integritas*.

— В самую точку, — сказал Линч, рассмеявшись. — Продолжай.

— Затем, — сказал Стивен, — руководствуясь формальными признаками предмета, ты переходишь от одной точки к другой; ты воспринимаешь корзинку, как нечто, в пределах чего одна часть уравнивается другой; ты ощущаешь ритм его структуры. Другими словами, за синтезом непосредственного восприятия следует анализ постижения. Почувствовав сначала, что перед тобой одна вещь, ты теперь ощущаешь, что это — вещь. Ты постигаешь корзинку, как нечто сложное, делимое, состоящее из частей, как результат ее частей и их суммы, как нечто гармоничное. Это и есть *consonantia*.

— Еще раз в самую точку! — пошутил Линч.
— Теперь объясни мне, что такое *claritas*, и сигара твоя.

— Значение этого слова несколько туманно, — сказал Стивен. — Аквинат пользуется термином, который кажется неточным. Долгое время он меня сбивал с толку. Мне казалось, что Аквинат имеет в виду какой-то символизм или идеализм; что в его понимании самое существенное свойство красоты — это свет, исходящий из какого-то иного мира, идея; что реальность — всего лишь ее тень, материя — всего лишь ее символ. Мне казалось, что *claritas* в его понимании — это постижение и изображение художником божественного замысла в чем бы то ни было, что *claritas* — это сила обобщения, придающего эстетическому образу общее значение и заставляющего его проливать свет за положенные ему пределы. Но это литературщина. Теперь я понимаю это так: восприняв эту корзинку как определенную вещь, проанализировав ее в согласии с ее формой и постигнув ее как вещь, ты затем приходишь к единственному логически и эстетически допустимому синтезу. Ты видишь, что она именно та вещь, которая она есть, а не какая-нибудь другая. Лучезарность, о которой говорит Аквинат, это схоластическая *quidditas*, «чтойность» вещи. Это главенствующее свойство красоты ощущается художником, когда в его воображении впервые зарождается эстетический образ. Шелли прекрасно сравнивает сознание в это таинственное мгновение с тлеющим угольком. Мгно-

вание, в которое это главенствующее свойство красоты, это ясное сияние эстетического образа, четко воспринимается сознанием (пораженным его целостностью и восхищенным его гармонией) — это лучезарный, молчаливый стасис эстетического наслаждения; это — духовное состояние, очень близкое сердечному состоянию, которое итальянский физиолог Луиджи Гальвани почти так же прекрасно как Шелли, называет «заколдованностью сердца».

Стивен замолк и, хотя его спутник ничего не ответил, ощутил, что они пребывают в тишине, одухотворенной его мыслью.

— То, что я сказал, — начал он снова, — относится к красоте в более широком смысле слова, в том смысле, которым это слово обладает в литературной традиции. В быту оно обладает иным смыслом. Когда мы говорим о красоте в этом втором смысле, наше суждение определяется в первую очередь самим искусством и жанром этого искусства. Ясно, что образ связывает сознание и чувства самого художника с сознанием и чувствами других людей. Учти это, и ты поймешь, что искусство естественно делится на три восходящих жанра. Вот они: жанр лирический, в котором художник создает образ в прямом соотношении с самим собой; жанр эпический, в котором он подает образ в косвенном отношении с художником и его героями; жанр драматический, в котором он подает свой образ в прямом соотношении с действующими лицами.

— Это ты мне объяснял несколько дней тому назад, — сказал Линч, — и у нас с тобой разгорелся знаменитый спор.

— У меня дома есть тетрадь, — сказал Стивен, — в которую я заносу вопросы, еще более забавные, чем твои. Именно в поисках ответов на них я и нашел теорию эстетики, которую я пытаюсь объяснить. Вот несколько вопросов, поставленных мною самим: «Трагичен или комичен умело смастеренный стул? Хорош ли в моральном смысле портрет Монализы, только потому что мне хочется взглянуть на него? А если нет, то почему?»

— А правда, почему? — сказал Линч, смеясь.

— «Если человек, в ярости рубящий кусок дерева, — продолжал Стивен, — ненароком создаст изображение коровы, будет ли это изображение произведением искусства? И если нет, то почему?»

— Вот это здорово, — сказал Линч, опять рассмеявшись, — от этого действительно несет настоящей схоластикой.

— Лессингу, — сказал Стивен, — не следовало писать о скульптурной группе. Это искусство, будучи неполноценным, не выявляет в четко различимом виде те жанры, о которых я говорил. Даже в литературе, высшем и наиболее одухотворенном виде искусства, эти жанры часто смешаны. Лирический жанр — это, собственно, наипростейшее одевание эмоционального мгновения, ритмичный возглас, вроде того, который много тысячелетий тому назад подбодрял человека, когда он греб веслом или тащил камень в гору. Тот, кто из-

дает этот возглас, сознает скорее эмоциональное мгновение, чем самого себя, испытывающего эмоцию. Наипростейший эпический жанр произрастает из лирической литературы, когда художник видит себя средоточием эпического события; этот жанр развивается, пока центр эмоциональной тяжести не перемещается на равное расстояние между художником и другими. Повествование перестает быть чисто личным. Личность художника включается в само повествование, обдавая действующих лиц и их действия живой водой. Это развитие ясно видно, например, в старой английской балладе об «Удалом Терпине», повествование которой в начале ведется от первого лица, а к концу от третьего. Драматический жанр достигается, когда живая вода, которой были спрыснуты отдельные действующие лица, наполнила их такой животворящей силой, что они приобрели свое собственное, эстетическое бытие. Личность художника — сначала просто возглас, короткая фраза или настроенность, затем текучее, искрометное повествование — в конце концов очищает бытие от себя самого, так сказать, обезличивает себя. Эстетический образ в драматическом жанре — это очищенная в человеческом воображении и происшедшая из него жизнь. А сам художник, как Бог-Творец, остается внутри, позади, поверх или вне своего создания: бытие очищено от него, и он равнодушно подпиливает себе ногти.

— Пытаясь очистить бытие и от своих ногтей,
— сказал Линч.

С высокого, покрытого пеленой неба начал моросить дождь. Они свернули на газон, чтобы дойти до Национальной библиотеки, прежде чем начнется ливень.

— И приспичило тебе, — сказал Линч угрюмо, — трепаться о красоте и о воображении на этом поганом, заброшенном Богом острове. Не мудрено, что, натворив это безобразие, художник убрался восвояси.

Дождь усиливался. Когда они дошли до прохода у Килдэровского здания, они увидели группу студентов, укрывавшихся от дождя под аркой библиотеки. Крэнли, прислонившись к колонне, ковырял в зубах спичкой, прислушиваясь к товарищам. Несколько девушек стояло у входной двери. Линч шепнул Стивену:

— Здесь твоя возлюбленная.

Стивен молча стал ступенькой ниже группы студентов, не обращая внимания на ливший дождь и время от времени поглядывая на нее. Она тоже молча стояла среди своих подруг. При ней сейчас нет священника для флирта, с горечью подумал он и вспомнил, как он видел ее в последний раз. Линч прав. Как только его сознание отрывалось от теорий, оно теряло всякое мужество и вновь погружалось в апатию.

Он слышал болтовню студентов вокруг себя. Они говорили о двух товарищах, только что выдержавших выпускной экзамен по медицине, о возможности получить места на океанских пароходах, о доходной и недоходной практике.

— Это все фантазия. Практика в ирландской провинции куда вернее.

— Хайнс провел два года в Ливерпуле. Он то же самое говорит. Это жуткая дыра. Лафа для одних акушеров.

— Что ж, выходит, лучше практиковать в провинции, чем в большом городе? У меня есть приятель . . .

— Да ведь Хайнс набитый дурак. Он взял зубрежкой, чистой зубрежкой.

— Брось! Конечно в большом торговом городе легче хорошо заработать.

— Зависит от практики.

— *Ego credo ut vita pauperum est simpliciter atrox, simpliciter sanguinarius atrox in Liverpoolio.*⁵⁰

Их голоса доносились к нему откуда-то издали, в ритме прерывистого пульса. Она собралась уходить вместе с подругами.

Быстрый, легкий дождь прошел, задерживаясь пучками алмазов в окаймлявших газон кустах, где исходила испарениями почерневшая земля. Девушки пощелкивали каблучками: они стояли на ступеньках колоннады, спокойно и весело переговариваясь, поглядывая на облака, ловко подставляя зонтики под последние, косые капли дождя, опять их закрывая, церемонно приподнимая подолы юбок.

Не слишком ли строго он судил о ней? Если бы жизнь ее была невинной, как перебиравание четок,

⁵⁰ Жизнь бедноты, вероятно, ужасна в Ливерпуле, просто ужасна.

как птичья жизнь, радостная по утрам, усталая перед закатом! Если бы сердце ее было столь же невинным и своенравным, как сердце птицы!

**
*

Он проснулся на рассвете. О, какая сладостная музыка! Душа его вся увлажнена росой. Бледные, прохладные световые волны пробежали по его телу. Он лежит неподвижно, внимая тихой, сладостной музыке. Его сознание медленно пробуждается, готовое принять огромное утреннее знание, утреннее вдохновение. Его обвевает дух, чистый, как прозрачная вода, сладостный, как роса, волнующий, как музыка. Но как нежно, как безмятежно проникновение этого духа — как будто на него дышат сами серафимы. Душа его медленно пробуждается, боясь полного бдения. Это — то затишье перед восходом, когда пробуждается безумие, распускаются навстречу свету таинственные растения, улетают восвоеси ночные мотыльки.

«Околдованность сердца!» И впрямь ночь была колдовской. Во сне или наяву он изведаль серафический экстаз. Длилось ли это блаженство один колдовской миг или долгие часы, годы, века?

Миг вдохновения, казалось ему, отражается теперь сразу со всех сторон множеством неясных подробностей того, что было, или того, что могло бы быть. Миг этот вспыхивает, как световая точка, а теперь, перемещаясь от одного облака туманных подробностей к другому, неопределенная еще

форма медленно озаряется неярким сиянием. Слово становится плотью в девственной утробе воображения. Девичью келью посетил серафим Гавриил. Сияние усиливается в его духе, и из него исходит белое пламя, превращаясь в розоподобный, знойный свет. Этот розоподобный, знойный свет — ее таинственное, своевольное сердце: таинственное, непостижимое, своевольное испокон веков. Притягиваемые этим знойным, розоподобным светом, сонмы серафимов ниспадают с небес.

Изнемогла ль на огненных путях, —
Ты, серафима падшего любовь?
О, позабудь о тех волшебных днях!

Строки эти переходят из его сознания на его губы, и, бормоча их, он чувствует, как ритмичное движение виоланеллы⁵¹ проносится по ним. Розоподобное сияние высылаёт рифмовые лучи: путях, днях, прах, волнах, хвалах. Лучи эти сжигают мир, испепеляют мужские и ангельские сердца; лучи розы; лучи ее своевольного сердца . . .

Ты наше сердце обратила в прах, —
Владычица, волнующая кровь:
Изнемогла ль на огненных путях?

А как дальше? Ритм замирает, прерывается, потом опять начинает двигаться и пульсировать. Но как дальше? Дым, курение, вздымающееся с земных алтарей . . .

⁵¹ Стихотворение, построенное на двух рифмах.

И славословье дымом на волнах
Возносится к закату вновь.
О, позабудь о тех волшебных днях!

Дым курений возносится со всех концов земли, от дымящихся океанов, — фимиам во славу ее! Земля — качающееся кадило, шар благовонного курения, эллипсоидный водопад... Ритм внезапно замирает; голос его сердца обрывается. Его губы начинают повторять первые строки; потом, заикаясь, запинаясь, недоумевая, он бормочет незаконченные строки; но голос сердца опять обрывается.

Тайный, тихий час на исходе; за стеклами занавешенного окна брезжит утренний свет. Где-то вдалеке еле-еле слышно бьют часы. Чирикает птица — две-три. Потом часы и птицы замолкают, а тусклый, белесый свет расстилается на востоке и на западе, покрывая собой всю землю, застилая розоподобное сияние в его сердце.

Боясь потерять всё, он приподнимается, опираясь на локоть, чтобы найти бумагу и карандаш. На столе их нет; там только глубокая тарелка, из которой он ел рис за ужином, да подсвечник с огарком и с бумажной оберткой, опаленной последней вспышкой. Он устало протягивает руку; его пальцы шарят в карманах висящей в ногах кровати тужурки и нащупывают карандаш и пачку сигарет. Стивен опять ложится, кладет последнюю сигарету на подоконник и начинает записывать на жестком картоне четверостишия вилланеллы четким, мелким почерком.

Записав их, он откидывается на сбившуюся подушку, опять бормоча про себя стихи. Комки пуха под головой напоминают ему комки сбившегося конского волоса в кушетке в ее гостиной, где он часто сживал, то улыбаясь, то хмурясь, спрашивая себя, зачем он собственно пришел, недовольный ею и самим собой, смущенный литографией Святого Сердца Христова над буфетом. Вот разговор замолкает, и она подходит к нему и просит его спеть его забавные песенки. Он садится за старое пианино, подбирает тихие аккорды на пожелтевших клавишах и — на фоне вновь поднявшейся в комнате болтовни — поет ей, стоящей у камина, галантный мадригал елизаветинской эпохи, грустную и сладостную прощальную песню, победную песню в память битвы при Азенкуре, ликующую мелодию «Зеленые рукава». Пока он поет, и пока она слушает или делает вид, что слушает, его сердце спокойно, но когда он перестает петь причудливые старые песни, он опять слышит голоса в гостиной и вспоминает свою собственную остроту: в этом доме молодых людей слишком рано начинают называть по имени.

Бывают мгновения, когда ее глаза, кажется, вот-вот начнут доверять ему, но он тщетно ждет этого. Вот она проносится в его памяти в легком танце, как в ту ночь на карнавальном балу: ее белое платье развевается, белая веточка с цветком в ее волосах кивает. Она легко идет по кругу. Танцуя, она приближается к нему. Ее глаза смотрят в сторону, а щеки покрылись легким румянцем.

Когда цепь сомкнутых рук разрывается, ее рука на мгновение задерживается в его руке, как мягкая ткань.

— Вас давно нигде не видно.

— Я от природы монах.

— Но не еретик?

— Вас это очень волнует?

Вместо ответа она, танцуя, отходит от него вдоль цепи, составленной из рук, танцуя легко, сдержанно, не оказывая никому предпочтения. Белая веточка кивает в такт, а когда она сама попадает в тень, то румянец на ее щеках темнеет.

Монах! Образ этот перерастает в образ осквернителя монашеской жизни, францисканца-еретика, желающего и отказывающегося служить, ткущего тонкую паутину софизмов, как Герардино да Борго Сан-Доннино,⁵² нашептывающего ей что-то на ухо.

Нет, он не таков. На Герардино скорее походит тот молодой священник, в обществе которого он видел ее в последний раз. Она глядела на него глазами голубки и перебирала страницы гэльского учебника.

— Да, да! Дамы ходят нас слушать. Я отмечаю это ежедневно. Дамы теперь с нами. Они самые надежные союзницы гэльского языка.

⁵² Герардино да Борго сан-Доннино, умер в 1276 г. Писания его были осуждены, как ерегические, но в жизни он был строгий аскет и ратовал за более строгий устав для ордена. Некоторые комментаторы полагают, что Джойс упоминает его только потому, что его восхитило звучное имя этого итальянского францисканца.

— А церковь, отец Моран?

— И церковь. Тоже, тоже. В церкви идет хорошая работа. Не тревожьтесь о церкви.

Тыфу! Он был прав, выйдя с презрением из аудитории; прав, не поздоровавшись с ней на ступеньках библиотеки; прав, предоставив ей вволю кокетничать с тем попом, заигрывать с церковью, ставшей прислужницей христианского мира.

Грубый, бешеный гнев развеивает последнее, медлившее еще в его душе мгновение экстаза. Гнев вдребезги разбивает ее прекрасный образ. Со всех сторон искаженные отражения ее образа начинают являться ему: цветочница в лохмотьях, с сальными, грубыми волосами, которая приставала к нему, упрашивая его купить букетик; судомойка в соседнем доме, поющая поверх дребезжания посуды тягучим голосом деревенской бабы первые строки баллады «У озер и холмов Килларни»; девушка, рассмеявшаяся, когда он споткнулся, зацепившись своей разорванной подошвой о железную решетку на тропинке у Корк-Хилля; работница, на которую он взглянул, привлеченный ее небольшим спелым ртом, когда она выходила из ворот кондитерской фабрики Джекобса, и которая крикнула ему через плечо:

— Аль не хороша? Правятся тебе небось мои прямые волосы и пушистые брови?

И все же Стивен знает, что как бы он ни глумился и ни издевался над ее обликом, даже его гнев — своего рода дань, приносимая ей. Он вышел тогда из аудитории, исполненный презрени-

ем; но презрение это не было до конца искренним. Он чувствовал, что за ее черными глазами, окаймленными длинными ресницами, кроется тайна ее народа. Он с горечью твердил, бродя тогда по улицам, что она — прообраз женщин ее страны, что ее душа, подобная летучей мыши, оживает только в темноте, в скрытности, в одиночестве, а что до этого, безлюбовная и безгрешная, она проводит время со своим смиренным поклонником и бросает его, чтобы шепотом поведать о своих безобидных провинностях на ухо священнику, скрытому от нее решеткой в исповедальне. Его гнев вылился тогда в грубую брань по адресу ее кавалера, самое имя, голос и черты которого уязвляли его недоуменное самолюбие: поп из мужиков, один брат которого — полицейский в Дублине, а другой — лакей в кабаке в Мойхаллене! И вот *ему* она открывает трепетную наготу своей души, только потому, что его выучили совершать обряды! Почему ему, а не Стивену, этому жрецу бессмертного воображения, преосуществляющему хлеб обиденщины в лучезарное тело вечной жизни?

Лучезарный образ евхаристии ⁵⁸ опять мгновенно спаивает воедино его горькие, отчаянные мысли: и их возгласы вздымаются цельным гимном благодарения:

И всё сливается в хвалах

Надломленных печалью голосов.

Изнемогла ль на огненных путях?

⁵⁸ Евхаристия — литургия; по-гречески буквально «благодарение».

И чаша евхаристии в руках,
Наполненная кровью до краев.
О, позабудь о тех волшебных днях!

Он читает вслух стихи, начиная с первых строк, пока их музыка и ритм не пропитывают его сознания и не приводят его в спокойствие. Он терпеливо переписывает их начисто, чтобы воспринять их на глаз; потом опять откидывается на подушку.

Настало утро. Еще не слышно ни звука, но он знает, что вот-вот жизнь начнет пробуждаться в форме будничных звуков — хриплых голосов, полусонных молитв. Уклоняясь от этой жизни, он поворачивается лицом к стене, надвигает на голову свернутое в виде капюшона одеяло и всматривается в огромные, ярко-красные цветы на потрепанных обоях. Он пытается разогреть исчезающее ликование в их ярко-красном сиянии, представляя себе окаймленный розами путь, ведущий от его ложа до самого неба, путь, устланный ярко-красными цветами. Как он устал! Как устал! Он тоже изнемог на огненных путях.

Медленно нарастающее тепло, томная усталость проходит по его телу, спускаясь по позвонкам от его плотно укутанной в одеяло головы. Он чувствует это движение и улыбается, зная, что снова заснет.

После десятилетнего перерыва он вновь посвятил ей стихи. Тогда, десять лет тому назад, она набросила на голову шаль, сложенную в виде капю-

шона; пар ее теплого дыхания реял в ночном воздухе; ее каблучки щелкали по застекленевшей мостовой. Уходила последняя конка; тощие, гнедые кони чувствовали это, встряхивая бубенчиками в ясной ночи. Кондуктор и кучер болтали о чем-то, кивая головами при свете зеленой лампы. А он и она стояли на ступеньках конки — он на одной, она ступенькой ниже. Разговаривая, она то и дело подымалась на его ступеньку, раз или два стояла рядом с ним, как бы забывая сойти, и сходила только немного погодя. О, забыть обо всем этом, забыть!

Десять лет прошло с той мудрой поры детства до нынешнего безумия! Что если он пошлет ей стихи? Она будет читать их вслух за утренним завтраком, разбивая яичную скорлупу. Ее братья будут гоготать, вырывая листок бумаги друг у друга своими цепкими, жесткими пальцами. Вкрадчиво обходительный священник, ее дядя, сидя в кресле, будет держать листок в вытянутой руке, читать с улыбкой и похваливать литературные красоты.

Нет! Нет! Разве это не безумие! Даже если он пошлет ей стихи, она не покажет их другим. Нет! Нет! Этого она не сделает.

Ему начинает казаться, что он несправедлив к ней. Уверенность в ее невинности почти вызывает в нем жалость. Невинности он сам никогда не понимал, пока не познал ее через грех, невинности, которой и она не понимала, пока оставалась невинной или пока не испытала впервые странное

унижение естественной женской жизни. Только тогда она зажила по-настоящему, как он, когда он впервые согрешил; нежное сострадание заполняет его сердце, когда он вспоминает ее хрупкую бледность и ее глаза, униженные и опечаленные темным женским стыдом.

Но пока его душа переходила от восторга к неге, где же пребывала она? Может ли быть, что на непостижимых путях жизни духа ее душа в эти же самые мгновения чувствовала его обожание? Может быть . . .

Накал желания опять воспламеняет его душу, зажигает и наполняет собой его тело. Чужая его желанная, она пробуждается от блаженного сна, — она, соблазнительная героиня его вилланеллы. Ее глаза, темные и томные, открываются навстречу его глазам. Она отдается ему, нагая, лучезарная, теплая, благовонная, щедрая, обволакивая его, как сияющее облако, обволакивая его, как живая вода. И словно из тумана, обтекающего пространство, льются плавные звуки речи, эти символы элемента тайны,

Изнемогла ль на огненных путях,
Ты, серафима падшего любовь?
О, позабудь о тех волшебных днях!

Ты наше сердце обратила в прах, —
Владычица, волнующая кровь!
Изнемогла ль на огненных путях?

И славословье дымом на волнах
Возносится к закату вновь.
О, позабудь о тех волшебных днях!

И все сливается в хвалах
Надломленных печалью голосов.
Изнемогла ль на огненных путях?

И чаша евхаристии в руках, —
Наполненная кровью до краев.
О, позабудь о тех волшебных днях!

Еще тоска, томление в очах,
Не избежать пленительных оков.
Изнемогла ль на огненных путях?
О, позабудь о тех волшебных днях.

* *
*

Что это за птицы? Устало опираясь на свою
ясеневую трость, он подымается по ступенькам
библиотеки, чтобы пристальнее к ним приглядеть-
ся. Они всё кружат да кружат вокруг выступа
дома на Молсворт-Стрит. В воздухе позднего мар-
товского вечера отчетливо выделяется их полет;
их темные, трепещущие тельца мелькают на фо-
не неба, словно на фоне свисающей дымчато-си-
ней ткани.

Стивен следит за их полетом: птица за птицей;
темная вспышка, крутой поворот, шорох крыль-

ев. Он пытается подсчитать их, пока не промчались все стремительные, трепещущие тельца: шесть, десять, одиннадцать. Чет или нечет? Двенадцать, тринадцать: две стремглав слетают с высоты. Они летят то высоко, то низко, но все время кругом, то по прямой, то по кривой вращаясь вокруг воздушного храма.

Он прислушивается к их крикам, напоминающим писк мышей за обоями: резкая надломленная нота. Но, по сравнению с мышинным писком, ноты эти куда протяжнее и пронзительнее; они понижаются на терцию или кварту и вибрируют, когда летящие клювы рассекают воздух. Пронзительно-чистые крики ниспадают как шелковые световые нити, которые разматываются с жужжащего веретена.

Этот нечеловеческий гам заглушает его слух, в котором все еще звучат материнские рыдания и попреки. А темные, хрупкие, трепещущие тельца, парящие, реющие, вращающиеся вокруг воздушного храма под далеким небосводом, успокаивают его зрение, перед которым все еще стоит образ материнского лица.

Зачем он смотрит ввысь со ступенек, слушая пронзительные, надломленные крики, наблюдая за полетом? Распознать бы доброе ли это или злое знамение? Фраза из Корнелия Агриппы⁵⁴ проно-

⁵⁴ Корнелий Агриппа в своей книге об оккультной философии (1531) уверяет, что птицы приносят счастье, если садятся справа, и число их четное.

сится в его сознании, а потом в нем начинают маячить бесформенные мысли из Сведенборга⁵⁵ — о соответствии пернатых элементам человеческого мышления и о том, как воздушные твари обладают своим знанием, знают свои сроки и времена года, потому что, не в пример человеку, живут положенным им ладом и не искажают этого лада рассудком.

Веками люди глядели ввысь, как глядит он теперь на птиц в полете... Колоннада над ним заставляет его думать о каком-то древнем храме, а ясеневая трость, на которую он устало опирается, об авгурах. Страх перед неведомым шевелится на дне его усталого сознания, страх перед символами и знамениями; перед ястребоподобном человеком, имя которого он носит, вылетевшим из заточения на крыльях, сплетенных из ивняка; перед Тотом, египетским богом, покровителем писцов, чертящим тростниковой палочкой на табличке, с узкой ибисовой головкой, увенчанной рогатым полумесяцем.

Он улыбается, думая об образе этого бога, потому что он напоминает ему судью с носом в виде бутылки, расставляющего запятые в грамоте, которую он держит в протянутой руке; он знает, что не вспомнил бы имени бога, если бы оно не звучало как гэльское ругательство. Все это сумасшест-

⁵⁵ Шведский мистик Эммануил Сведенборг (1688—1772) писал об этом соответствии птиц с человеческими мыслями в своей книге «О небе и аде».

вие! Но разве не ради этого сумасшествия он собирается навсегда покинуть набожную, благонамеренную страну, в которой родился, вырос и воспитывался?

Они возвращаются с пронзительными криками к выступу дома, в темном полете на фоне бледнеющего неба. Что это за птицы? Вероятно — ласточки, вернувшиеся с юга. Значит, пора и ему уезжать, потому что это — птицы, прилетающие и улетающие, строящие временные жилища под карнизами людских домов и покидающие построенные ими жилища для новых странствий.

Надо мной склонитесь, Уна и Алил,
Я на вас гляжу, как ласточка, прощаясь,
Улетая на заре — в последний раз
На гнездо, под кровлей свитое, глядит.⁵⁶

Тихая, плавная радость, как шум морского простора, течет в его памяти, и он чувствует в сердце немой покой бледнеющего, высокого неба над морем, молчание океанов, молчание ласточек, летящих в сумерках над взволнованными водами.

И та же тихая, плавная радость струится в его словах, в которых бесшумно вздымаются и ниспадают мягкие, длинные гласные, плеща, откатываясь, тряся белыми бубенчиками звуковой волны, замирая, наконец, в еле слышном перезвоне, в еле слышном шепоте; Стивен понимает, что то

⁵⁶ Из пьесы ирландского поэта Йитса (1865—1939) «Графиня Кетлин». См. примечание на следующей странице.

знамение, которое он искал в полете реющих и мелькающих птиц и в бледном небе над собою, явилось ему, выйдя из его собственного сердца, как птица, спокойно и быстро выпорхнувшая из башни.

Знамение предвещает отъезд или одиночество? Строки стихов звучат в его памяти и постепенно восстанавливают сцену в зрительном зале в вечер открытия Национального Театра. Он сидел один в боковом ярусе, глядя пресытившимися глазами на дублинскую интеллигенцию в партере, на жалко-мишурные кулисы и человеческие манекены по ту сторону яркой рампы. За его спиной потел ражий полицейский, явно готовясь к вмешательству. Мяуканье, шипенье и насмешливые выкрики резко и порывисто вырывались из глоток его университетских товарищей:

— Клевета на Ирландию!

— Made in Germany!

— Святотатство!

— Мы своей веры никогда не продавали!

— Ни одна ирландская женщина на это не пошла бы!

— Долой блаженных безбожников!

— Долой будущих буддистов! ⁵⁷

... Краткое шипенье раздалось из окон над ним; это зажглись электрические лампы в читаль-

⁵⁷ Дело идет о скандале на премьере пьесы Йитса «Графиня Кетлин» в 1899 г. Кетлин, символизирующая Ирландию, продает свою душу дьяволу, чтобы спасти свой умирающий с голода народ.

не. Стивен вошел в освещенную залу с колоннами, поднялся по лестнице, прошел через щелкающий турникет.

Крэнли сидел у полок со словарями. Толстый фолиант, открытый на заглавном листе, покоился перед ним на деревянной подставке. Он сидел, откинувшись назад и преклонив ухо, как слушающий исповедь священник, к лицу студента-медика, который читал ему вслух задачу из шахматного отдела какого-то журнала. Стивен сел справа от него; священник, сидевший напротив, сердито закрыл свой экземпляр «Тэблета»⁵⁸ и поднялся со своего места.

Крэнли посмотрел ему вслед спокойным, пустым взглядом. Студент-медик продолжал:

— Пешка e2 — e4.

— Лучше выйдем, Диксон, — сказал Стивен. — Он пошел жаловаться.

Диксон закрыл журнал, встал с достоинством и сказал:

— Наши войска отступили в полном порядке.

— С артиллерией и со скотом, — добавил Стивен, указывая на заглавную страницу книги Крэнли, на которой красовались слова: «Болезни быка».

Когда они шли между столиками, Стивен сказал:

— Крэнли, мне надо с тобой поговорить.

⁵⁸ Лондонский католический еженедельник.

Крэнли ничего не ответил, даже не обернулся. Он сдал книгу и вышел из читальни; его доброт-но обутые ноги громко топали по полу. На лестнице он обернулся, поглядел рассеянно на Диксона и повторил:

— Пешка е2 — на хреновое е4.

— Если угодно, можно это и так выразить, — сказал Диксон.

У него были изысканные манеры, спокойный, бесцветный голос, а на пальце пухлой, чисто вымытой руки — перстень с печаткой.

Когда они пересекали переднюю залу, к ним подошел карлик. Небритое личико под полушарием крохотной шляпы расплылось в радостную улыбку; раздалось бормотанье. Глаза были скорбными как у обезьянки.

— Добрый вечер, господа, — сказало заросшее щетиной обезьянье личико.

— Тепло для марта, — сказал Крэнли. — Наверху все окна настезь.

Диксон улыбнулся и покрутил кольцо. Чернявое, сморщенное по обезьяньи личико сложило бантиком свой человеческий рот с жеманным удовольствием, а голос закурлыкал:

— Очаровательная погода для марта. Просто очаровательная.

— Наверху ждут две милые барышни, капитан; они совсем истомились, — сказал Диксон.

Крэнли улыбнулся и ласково сказал:

— У капитана только одна любовь: сэр Вальтер Скотт. Не правда ли, капитан?

— Что вы теперь читаете, капитан? — спросил Диксон. — «Ламмермурскую невесту»?

— Люблю старого Скотта, — сказали подвижные губы. — По моему, он пишет исключительно шикарно. Нет сочинителя под стать сэру Вальтеру Скотту.

Он медленно помахал в воздухе худой, сохшейся ручкой в такт со своими комплиментами, и его прозрачные веки быстро замигали над печальными глазами.

Но Стивену было еще грустнее слышать его речь — этот жеманный, еле слышный, искаженный ошибками говор. Слушая его, он спрашивал себя, верен ли слух, будто разжиженная дворянская кровь, текущая в этом сохшемся тельце, — плод кровосмесительной любви.

... Деревья в парке набухли от дождя; дождь идет тихо и беспрестанно над серым как щит прудом. Пролетает пара лебедей; вода и берег загажены их зелено-белой слизью. А они тихо обнимаются, возбужденные серым дождевым светом, мокрыми, молчаливыми деревьями, щитовидным прудом-соглядатаем, лебедями. Они тихо обнимаются — безрадостно, бесстрастно. Его рука обнимает шею сестры. Серая шерстяная шаль лежит на ней наискось от плеча до талии; светлая головка поникла в готовности и в стыде. А у него лохматые, русые волосы и нежные, красивые, сильные, веснушчатые руки. А лицо? Лица не видно. Лицо брата склонилось над ее светлыми, пахнущими дождем волосами. Ласкающая же рука, вес-

нушчатая, сильная, красивая, — это рука Дэвина . . .

Он нахмурился, сердясь и на свою фантазию и на ссохшегося человечка, вызвавшего ее. Издевательские замечания отца о шайке Бэнтри⁵⁹ пришли ему на ум. Он отмахнулся от них и принял-ся снова фантазировать. Почему это не руки Крэнли? Или наивность и невинность Дэвина уязвили его больше?

Он пошел дальше через залу с Диксоном, доставив Крэнли церемонно распрощаться с карликом.

Под колоннами стоял Темпл, окруженный небольшой группой студентов. Один из них крикнул:

— Диксон, иди-ка сюда и послушай! Темпл сегодня в ударе.

Темпл поглядел на него своими темными, цыганскими глазами.

— Ты лицемер, О'Киф, — сказал он. — А Диксон улыбальщик. Черта с два, недурная формулировка, а?

Он хитро засмеялся, заглядывая в лицо Стивену, и повторил:

— Черта с два. Мне эта кличка нравится. Улыбальщик.

Дюжий студент, стоявший ступенькой ниже, сказал:

⁵⁹ Шайка Бэнтри — группа политиков, противников Парнеля.

— Ты бы лучше рассказал о любовнице, Темпл. Нам бы об этом послушать.

— Ей-Богу, любовница у него была, — сказал Темпл. — А ведь он был женат. И все попы у него ужинали. Черта с два, верно все они отведали клубнички.

— Как говорится, плестись на кляче, чтобы побережь рысака, — сказал Диксон.

— Скажи-ка, Темпл, — сказал О'Киф, — сколько в тебе сегодня бутылей пива, а?

— Вся твоя интеллигентская душонка в этой фразе, О'Киф, — сказал Темпл с нескрываемым презрением.

Он обошел кругом группу студентов своей шаркающей походкой и заговорил со Стивенном.

— Знаете ли вы, что Форстеры — короли Бельгии? — спросил он.

Из двери, со шляпой сидящей на макушке, вышел Крэнли, старательно ковыряя в зубах.

— А вот и наш остряк, — сказал Темпл. — Ты слышал о Форстерах?

Он подождал ответа. Крэнли выковырял острием своей самодельной зубочистки фиговое зернышко и внимательно посмотрел на него.

— Род Форстеров, — сказал Темпл, — ведет свое начало от Балдуина I, короля Фландрии. Его прозвали Форестером, лесничим. Форестер и Форстер это одно и то же имя. Потомок Балдуина I, некий капитан Франсис Форстер, переселился в Ирландию и женился на дочери последнего вождя

клана Брассиля. А есть еще Блэйк-Форстеры. Это другая ветвь.

— От Балды, короля Фландрии, — повторил Крэнли, опять медленно ковыряя свои блестящие зубы.

— Я знаю всю историю вашего рода, — сказал Темпл, обращаясь к Стивену. — Знаете вы, что говорит о вашем роде Гиральд Камбренский?

— Что, он тоже происходит от Балдуина? — спросил высокий, чахоточного вида темноглазый студент.

— От Балды, — повторил Крэнли, высасывая прощелину между зубами.

— *Pernobilis et pervetusta familia*⁶⁰ — сказал Темпл Стивену.

Дюжий студент, стоявший ступенькой ниже, коротко перднул. Диксон повернулся к нему и сказал вполголоса:

— Не ангельский ли голос я слышу?

Крэнли повернулся и сказал резко, но без раздражения:

— Гоггинс, ты самый что ни на есть скабрезный и похабный дьявол, который мне когда-либо попадался. Понимаешь?

— Мне давно уже хотелось сказать это, — ответил Гоггинс твердым голосом. — Ведь никому никакого вреда это не причинило.

— Надеемся, — сказал Диксон сладким голо-

⁶⁰ Л а т. Славнейший и древнейший род.

сом, — что это не то, что известно науке как paulo post futurum.⁶¹

— Вот, я же вам говорил, что он улыбальщик, — сказал Темпл, оборачиваясь направо и налево. — Ведь я именно так его прозвал, а?

— Да, да. Мы не оглохли, — сказал высокий чахоточный студент.

Крэнли все еще хмурился, глядя на дюжего студента, стоявшего ниже его. Потом фыркая от отвращения, он резко толкнул его вниз по лестнице.

— Убирайся отсюда, — сказал он грубо. — Убирайся вон, вонючка. Ты действительно вонючка.

Гоггинс соскочил на покрытую гравием дорожку, но сейчас же вернулся на свое место в самом благодушном настроении. Темпл повернулся к Стивену и спросил:

— Вы верите в закон наследственности?

— Ты что — пьян или что? О чем ты треплешься? — спросил Крэнли, поворачиваясь к нему с выражением изумления на лице.

— Самое что ни на есть глубокое изречение, когда-либо написанное, — сказал Темпл восторженно, — это фраза в конце учебника зоологии: «Размножение — начало смерти.»

Он робко тронул Стивена за локоть и сказал с интересом:

— Вы чувствуете, как это глубоко, правда? Ведь вы поэт.

⁶¹ Малое предвестие большого будущего.

Крэнли ткнул в него длинным указательным пальцем.

— Вот, — сказал он другим с презрением. — Поглядите. Вот надежда Ирландии!

Его слова и жест вызвали общий смех. Но Темпл храбро напал на него:

— Крэнли, — сказал он, — ты всегда издеваешься надо мной. Я это знаю. Но я не хуже тебя. Знаешь, что я думаю о тебе, когда сравниваю с собой?

— Любезный мой, — сказал Крэнли вежливо, — ты неспособен, понимаешь, абсолютно неспособен думать о чем бы то ни было.

— Но знаешь ли ты, — настаивал Темпл, — что я думаю о тебе и обо мне, если нас сравнивать?

— Выдавливай, Темпл! — крикнул дюжий студент с лестницы. — Выдавливай из себя по куточкам!

Темпл поворачивался направо и налево, жестикулируя в такт со словами.

— Я дерьмо, — сказал он, качая головой в отчаянии. — Я это знаю. И я это признаю.

Диксон хлопнул его легко по плечу и сказал ласковым голосом:

— Это делает тебе честь, Темпл.

— Но он, — сказал Темпл, указывая на Крэнли, — он тоже дерьмо, как я. Только он этого не знает. Вот и вся разница.

Взрыв хохота заглушил его слова. Но он опять обернулся к Стивену и сказал:

— Это очень интересное слово. Вы знаете этимологию этого слова?

— Нет, — сказал Стивен рассеянно.

Он вглядывался в мужественное, страдальческое лицо Крэнли, который теперь деланно улыбался. Грубая кличка стекла с него, как стекают помои с привыкшего к унижениям древнего изваяния. Но Стивен увидел также, как Крэнли приподнял свою шляпу, здороваясь с кем-то, обнажив свои черные волосы, топорщившиеся надо лбом железной короной.

Это она вышла из портала библиотеки и кивнула головой поверх Стивена, отвечая на приветственный жест Крэнли. Неужели и он? Не покраснел ли Крэнли? Или румянец на его лице был вызван словами Темпла? В сумерках не разглядеть.

Может быть, этим и объяснялась апатия молчаливого Крэнли, его резкие замечания, внезапные вспышки грубости, которыми он так часто обрывал страстные, непроизвольные признания Стивена. Стивен охотно прощал ему, потому что и в самом себе находил ту же грубость. Он вспомнил вечер, когда остановил одолженный им у кого-то скрипучий велосипед, чтобы помолиться Богу в роще у Малахайда. Он воздел тогда руки и говорил в экстазе, глядя в темную просеку, зная, что стоит на священной земле, в священный час. Но когда на повороте сумрачной дороги он увидел двух полицейских, он прервал молитву и начал громко насвистывать мелодию из модной оперетки.

Он стал колотить растрепанным концом своей ясеновой трости по цоколю колонны. Может быть, Крэнли не расслышал его? Что ж, он подождет. Болтовня вокруг него прекратилась, и из верхнего окна снова послышалось мягкое шипение. Но других звуков в воздухе не было; ласточки, за полетом которых он лениво следил, уже спали.

В сумерках мимо прошла она. Поэтому-то в воздухе все и затихло, кроме тихого шипения из верхнего окна. Поэтому-то и прервали свою болтовню языки вокруг него. Поэтому-то и сгущались сумерки.

«Мрак ниспадает с неба . . .»⁶²

Трепетная радость, искрящаяся слабым светом, маячила вокруг него, как сонм эльфов. Но почему? Потому, что в темнеющем воздухе прошла она, или прозвенела строка с ее черными гласными и первым звуком — щедрым и подобным лютне?

Он медленно пошел по направлению к скрытому в тени краю колоннады, тихо постукивая палкой по каменным плитам, чтобы скрыть свои мечтания от студентов, которых он оставил, и позволил своему сознанию воссоздать в памяти эпоху Доланда, Бёрда⁶³ и Нэша.

. . . Глаза, отверзающиеся из потемков похоти, глаза, своим блеском превосходящие утреннюю зарю. Но что такое их томная прелесть, как не

⁶² Нечаянно искаженная Стивеном строка из стихотворения Томаса Нэша (1567—1601) «Во время чумы».

⁶³ Доланд и Бёрд — композиторы эпохи короля Иакова I, которого Стивен называет «Слюнтяем Стюартом».

прелесть распутства? Что такое их блеск, как не блеск на поверхности сточной воды в клоаке — а клоака двор слюнтяя Стюарта? И он почуял языком памяти вина, отдающие смолой, услышал замирающие, сладостные мелодии, величавую павану, увидел глазами памяти щедрых на любовь красоток в ложах Ковент-Гардена, заманивающих мужчин жадными губами, рябых девок в тавернах, молодых жен, беззаботно отдающихся соблазнительям и переходящих из объятий в объятия.

Образы, вызванные им из прошлого, не радовали его. Так о ней думать нельзя, да так он о ней и не думал. Значит, он не мог положиться даже на самого себя. Старые фразы, сладкие, как сладка падаль, как сладки фиговые семечки, которые Крэнли выковыривает из прощелин между своими блестящими зубами.

Все это было не то видением, не то мыслью; но он знал, что она идет теперь по городу домой. Сначала неопределенно, а потом более явно он ощутил запах ее тела. Беспокойство забурлило в его крови. Да, он слышал именно запах ее тела, страстный, томный запах, запах теплого тела, овеянного музыкой его страсти, он ощущал запах мягкого полотна, на котором ее тело оставило свой аромат и свою росу.

По его затылку ползла вошь; он ловко засунул большой и указательный пальцы за слишком широкий воротник и поймал ее. Он повертел на мгновение между пальцами ее тельце, нежное и хрупкое, как зернышко риса, потом уронил ее и поду-

мал, выживет ли она или подохнет. Он вспомнил курьезную фразу из Корнелия-а-Лапиде, утверждавшего, что вши, порождаемые человеческим потом, не были созданы Богом вместе с другими тварями в шестой день. Но раздраженная кожа на затылке разбередила и озлобила его. Жизнь его тела, бедно одетого, бедно питаемого, завшивевшего, заставила его на мгновение закрыть глаза во внезапной судороге отчаяния. И в темноте он увидел крохотные, хрупкие тельца вшей: они падали куда-то, кувыркаясь в воздухе. Но ведь это вовсе не «мрак ниспадает с воздуха», а «свет».

«Свет ниспадает с неба» . . .

Вот. Он даже не мог толком припомнить строчки из Нэша. Все образы, вызванные им, оказались ложными. Его сознание плодило вшей и другую нечисть. Его мысли были вшами, плодящимися в его запаршивевшем теле.

Он быстро прошел по колоннаде к группе студентов. Ладно! Пусть она уходит, и черт с ней! Пусть влюбляется в какого-нибудь чистоплотного спортсмена с черной шерстью на груди, который по утрам обмывается до пояса. Пусть!

Крэнли достал еще одну фигуру из кармана и зажевал — медлительно чавкая. Темпл сидел у цоколя колонны, надвинув картуз на свои сонные глаза. Из портала вышел коренастый молодой человек с портфелем под мышкой. Он промаршировал до места, где стояли студенты, стуча по каменным плитам каблуками своих сапогов и нако-

нечником зонтика. Потом, отсалютовав зонтиком, он сказал, обращаясь ко всем сразу:

— Добрый вечер, господа!

Он опять стукнул зонтиком по камням и захихикал, а голова его затряслась легкой нервной дрожью. Высокий чахоточный студент, Диксон и О'Киф разговаривали по-гэльски и не ответили ему. Тогда он обратился к Крэнли и сказал:

— Добрый вечер, — приветствую в частности тебя.

Он указал зонтом на Крэнли и опять захихикал. Крэнли, который все еще жевал фигу, ответил, шумно ворочая челюстями:

— Добрый? Да, вечер недурной.

Коренастый студент строго взглянул на него и спокойно и укоризненно покачал зонтиком.

— Я констатирую, что ты собираешься подтвердить самоочевидные истины.

— М-м, — ответил Крэнли, тыча остаток полуразжеванной фиги по направлению к губам коренастого студента, как бы угощая его.

Коренастый студент не воспользовался этим угощением, а, как бы смакуя свое остроумие, сказал медленно, все еще хихикая и как бы протыкая свою фразу зонтиком:

— Ты имеешь в виду вот это . . .

Он остановился, указал на разжеванную фигу и сказал громко:

— Я говорю вот о чем.

— М-м, — опять сказал Крэнли.

— Так вот, имеешь ли ты это в виду, — сказал коренастый студент, — *ipso facto* ⁶⁴ или, скажем, иносказательно?

Диксон отошел от своих товарищей и сказал:

— Гоггинс поджидал тебя, Глин. Он пошел в отель «Адельфи», чтобы встретить там тебя с Мойниханом. Что это у тебя? — спросил он, похлопывая по портфелю.

— Экзаменационные работы, — ответил Глин. — Я устраиваю ежемесячные экзамены, чтобы выяснить, насколько помогает им мое преподавание.

Он тоже похлопал по портфелю, слегка откашлялся и улыбнулся.

— Преподавание, — сказал грубым голосом Крэнли. — Несчастные босоногие ребяташки, которые учатся у такой хреновой гориллы, как ты, да?

Он откусил остаток фиги и отбросил ее жесткий кончик.

— Не возбраняйте детям приходиться ко мне, ⁶⁵ — сказал Глин сладким голосом.

— Хреновая горилла, — сказал Крэнли напористо, — и к тому же кощунствующая хреновая горилла!

Темпл встал, протиснулся мимо Крэнли и обратился к Глину:

— Вот эта фраза, которую ты привел, — ска-

⁶⁴ Л а т. В данном случае: конкретно.

⁶⁵ Слова Христа: Лука, 18, 16.

зал он, — ведь она из Нового Завета, да? Не возбраняйте детям приходиться ко мне?

— Засни опять, Темпл, — сказал О'Киф.

— Ладно, — продолжал Темпл, все еще обращаясь к Глину, — если Иисус позволял детям приходиться к Нему, то почему церковь посылает в ад детей, которые умерли некрещенными? Почему?

— Сам-то ты крещен, Темпл? — спросил высокий чахоточный студент.

— Но почему отправляют детей в ад, если Иисус призывал их к Себе? — повторил Темпл, вглядываясь в глаза Глина.

Глин кашлянул и сказал тихим голосом, с трудом удерживая нервное хихиканье и махая зонтиком при каждом слове:

— Если ты говоришь, что это так, то я настойчиво вопрошаю, откуда проистекает эта «такость»?

— Потому что церковь жестока, как все старые грешницы, — сказал Темпл.

— Ты правоверен в этом утверждении, Темпл? — спросил Диксон сладким голосом.

— Блаженный Августин тоже говорит, что некрещенные дети попадают в ад, — ответил Темпл, — потому что и он — жестокий старый грешник.

— Я преклоняюсь перед твоей ученостью, — сказал Диксон, — но мне всегда думалось, что для таких случаев предусмотрен лимб.⁶⁶

— Не спорь с ним, Диксон, — грубо сказал Крэнли, — не говори с ним и не смотри на него.

⁶⁶ См. прим. 30-е на стр. 276.

Повесь ему веревку на шею и веди его домой как блеющего козла.

— Лимб! — вскричал Темпл. — Тоже мне изобретение! Вроде ада!

— Но без неприятных его сторон, — сказал Диксон.

Он обернулся, осмотрелся вокруг себя и, улыбаясь, сказал:

— Надеюсь, что я выражаю мнение всех присутствующих?

— Да, — сказал Глин твердо. — В этом вопросе Ирландия единодушна.

Он стукнул наконечником зонтика по каменному полу колоннады.

— Ад, — сказал Темпл. — *Эту* выдумку серолицой невесты сатанинской я уважаю. Ад это нечто римское, как римские стены, нечто крепкое и уродливое. Но что такое лимб?

— Уложи его обратно в детскую колясочку, Крэнли! — выкрикнул О'Киф.

Крэнли быстро рванулся по направлению к Темплу, остановился, топнул и крикнул как раскудахтавшейся курице:

— Ш-ш . . .

Темпл проворно отшатнулся.

— Вы знаете, что такое лимб? — крикнул он. — Знаете, как мы называем такие вещи в Роскоммоне?

— Шу! Вон отсюда! — закричал Крэнли, хлопая в ладоши.

— Ни задница, ни локоть, — воскликнул Темпл с презрением. — Вот что такое ваш лимб!

— Дай-ка мне твою трость, — сказал Крэнли.

Он резко выдернул ясеневую трость из рук Стивена и прыгнул со ступенек. Но Темпл, услышав, что Крэнли гонится за ним, понесся в сумерках, как лесная тварь, проворная и быстроногая. Тяжелые сапожища Крэнли громко застучали по дворику, потом тяжеловесно затопали обратно, раздраженно разметывая гравий на каждом шагу.

Его шаги звучали гневом; гневным, резким жестом он ткнул трость в руки Стивена. А Стивен чувствовал, что у его гнева совсем иная причина, но с деланным спокойствием тронул Крэнли за локоть и спокойно сказал:

— Крэнли, я ведь тебе сказал, что мне нужно с тобой поговорить. Пойдем.

Крэнли посмотрел на него несколько мгновений и спросил:

— Сейчас?

— Да, сейчас. Здесь нам говорить нельзя. Пойдем.

Они молча пересекли дворик. Со ступенек библиотеки кто-то тихо свистнул им вслед птичий мотив из вагнеровского «Зигфрида». Это был Диксон, и когда Крэнли оглянулся, то Диксон крикнул:

— Куда вы, господа? Как насчет этой партии, Крэнли?

Они начали сговариваться, переключаясь в тишине, о бильярдной партии в отеле «Адельфи».

Стивен зашагал один и вышел на тихую Килдэр-Стрит напротив отеля «Мэпл». И само название отеля,⁶⁷ напоминающее о бесцветном, полированном дереве, и безвкусный фасад, казалось, смотрели на него с вежливым пренебрежением. Он сердито взглянул на приветливо освещенную гостиную, в которой в его представлении мирно протекала жизнь ирландских патрициев: они думают о карьерах в армии, об управляющих их имений. На проселочных дорогах перед ними ломают шапки крестьяне. Они знают несколько французских блюд и дают распоряжения кучерам визгливыми провинциальными голосами, которые пробиваются сквозь их горделивый аристократический говор.

Как растормошить их сознание? Как задеть воображение их дочерей, прежде чем их покроют соседи-помещики, — так чтобы дать им взрастить менее презренное потомство, чем они сами? И в сгущающихся сумерках он почуял, как мысли и чаяния его народа мелькают в нем, подобно летучим мышам на темных проселочных дорогах, под деревьями у ручьев, над болотами с темными пятнами стоячей воды. Женщина ждала на пороге, когда Дэвин проходил ночью, вынесла ему кружку молока и чуть не заманила его в свою постель, потому что у Дэвина нежные глаза человека, способного хранить тайну. Но вот его ни разу не зывали женские глаза.

⁶⁷ «Под кленом».

Кто-то крепко взял его под руку, и он услышал голос Крэнли:

— Ну что ж, пойдём, пожалуй.

Они молча двинулись в направлении к югу. Потом Крэнли сказал:

— Что за хреновый идиот этот Темпл! Клянусь Моисеем, когда-нибудь я его укокошу, понимаешь?

Но в его голосе больше не слышалось гнева, и Стивен спрашивал себя, не думает ли Крэнли о том, как она поздоровалась с ним у выхода из библиотеки.

Они свернули влево. Немного погодя Стивен сказал:

— Крэнли, у меня была сегодня нехорошая ссора.

— Дома? — спросил Крэнли.

— С матерью.

— Из-за религии?

— Да, — ответил Стивен.

После краткого молчания Крэнли спросил:

— Сколько лет твоей матери?

— До старости ей ещё далеко, — сказал Стивен. — Она хочет, чтобы я говел на Страстной.

— Что ж? Будешь ты говеть?

— Нет, не буду, — сказал Стивен.

— Почему? — сказал Крэнли.

— Я не хочу служить, — ответил Стивен.

— Эта мысль была высказана до тебя,⁶⁸ — сказал Крэнли спокойно.

— Я высказываю ее сейчас, — пылко отозвался Стивен.

Крэнли стиснул руку Стивена повыше локтя и сказал:

— Потихе, милый, потихе. Ты — чертовски вспыльчивый человек. Ты это знаешь?

Он нервно рассмеялся и, взглядываясь в лицо Стивена растроганными, дружескими глазами, повторил:

— Ты знаешь, что ты чертовски вспыльчивый человек?

— Очень может быть, — рассмеялся Стивен.

В последнее время отношения между ними охладились, но теперь друзья опять сблизились.

— Ты веришь в преосуществление хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы? — спросил Крэнли.

— Нет, — сказал Стивен.

— Значит ты отрицаешь таинство евхаристии?

— Я и не верю в него, но и не отрицаю его, — ответил Стивен.

— Сомнения — удел многих, даже монахов; но они либо преодолевают, либо игнорируют их, — сказал Крэнли. — Или твои сомнения по этому вопросу непреодолимы?

— Я не собираюсь их преодолевать, — ответил Стивен.

⁶⁸ Сатаной. См. стр. 165.

Крэнли, на мгновение сбитый с толку, вынул фигу из кармана и начал ее жевать, когда Стивен сказал:

— Нет, прошу тебя. Нельзя обсуждать этот вопрос, когда у тебя рот набит фигами.

Крэнли рассмотрел фигу при свете фонаря, под которым они остановились, потом обнюхал ее обеими ноздрями, откусил кусочек, выплюнул его и резким движением бросил фигу на мостовую.

Обращаясь к ней, он воскликнул:

— Идите от меня, проклятые, в огонь вечный!

Взяв Стивена опять под руку, он сказал:

— Ты не боишься, что услышишь эти слова в день Страшного Суда?

— А что мне предлагается взамен? — спросил Стивен. — Вечное блаженство в обществе зрителя?

— Не забудь, — сказал Крэнли: — он будет преображен.

— Да, — сказал Стивен с горечью, — он будет просветленным, живым, бесстрастным и, прежде всего, нежным.

— Курьезно, знаешь, — спокойно сказал Крэнли, — как все твоё сознание пропитано религией, хотя ты, по твоим же словам, утратил веру. Ты верил в школе? Уверен, что да.

— Верил, — ответил Стивен.

— Был ты тогда счастливее? — спросил Крэнли тихо. — Счастливее, чем, например, теперь?

— Иногда я был счастлив, — сказал Стивен, — иногда несчастлив. Но я был кем-то другим.

— Кем-то другим? Что это значит?

— Я хочу сказать, — ответил Стивен, — что я был не тем, чем стал, не тем, чем должен стать.

— Не тем, чем стал, не тем, чем должен стать, — повторил Крэнли. — Разреши мне задать тебе один вопрос. Ты любишь свою мать?

Стивен медленно покачал головой.

— Я не знаю, что это значит, — сказал он просто.

— Ты кого-нибудь когда-нибудь вообще любил? — спросил Крэнли.

— Ты имеешь в виду женщин?

— Я не об этом говорю, — сказал Крэнли более холодным тоном. — Я спрашиваю тебя, испытывал ли ты когда-нибудь любовь к кому-нибудь или к чему-нибудь?

Стивен шел рядом со своим другом, угрюмо глядя себе под ноги.

— Я пытался любить Бога, — сказал он наконец. — Повидимому, это мне не удалось. Я пытался, чтобы каждое мгновение моя воля сливалась с волей Божьей. В этом я иногда преуспевал. Может быть, я все еще добьюсь этого . . .

Крэнли перебил его вопросом:

— Твоя мать прожила счастливую жизнь?

— Откуда мне это знать? — ответил Стивен.

— Сколько у нее было детей?

— Девять или десять, — ответил Стивен. — Несколько умерло.

— А твой отец . . . — Крэнли запнулся и сказал: — Я не собираюсь вмешиваться в ваши се-

мейные дела. Но твой отец? Он был, что называется, состоятельным человеком, когда ты подрастал?

— Да, — сказал Стивен.

— Чем он занимался? — спросил Крэнли после краткого молчания.

Стивен начал бойко перечислять амплуа своего отца:

— Студент-медик, гребец, тенор, актер-любитель, крикливый политикан, мелкий помещик, мелкий акционер, пьяница, рубаха-парень, рассказчик анекдотов, чей-то секретарь, что-то такое на винокуренном заводе, сборщик налогов, банкрот, а в настоящее время восхвалитель своего собственного прошлого.

Крэнли рассмеялся, опять сжал руку Стивена повыше локтя и сказал:

— Насчет винокуренного завода это здорово хорошо.

— Еще что-нибудь? — спросил Стивен.

— Вам теперь легко живется?

— Посмотри на меня, — сказал Стивен, не задумываясь.

— Значит, — задумчиво сказал Крэнли, — ты родился в роскоши.

Он произнес эту фразу громко и отчетливо, как он часто произносил шаблонные выражения, как бы давая своему собеседнику понять, что пользуется ими без внутреннего убеждения.

— Видимо, твоя мать основательно настрада-

лась, — сказал он. — Почему тебе не избавить ее от лишних страданий, даже если . . . Или нет?

— Если бы я мог это сделать, — сказал Стивен, — мне бы это почти ничего не стоило.

— Так сделай это, — настаивал Крэнли. — Послушайся ее. Что тебе? Ты во все это не веришь. Но это чистая формальность, больше ничего. А ее ты утетишь.

Он замолчал и, так как Стивен не ответил, продолжал хранить молчание. Потом, как бы следуя ходу собственных мыслей, он сказал:

— Все зыбко в этой вонючей навозной куче, которую мы называем миром; но на материнскую любовь можно положиться. Твоя мать рожает, а до этого носит тебя в своем теле. Что мы знаем об ее чувствах? Но по меньшей мере, это несомненно нечто непритворное. Что такое наши идеи, наше честолюбие? Игрушки. Идеи! У этого хренового, бляющего козла Темпла идеи. У Мак Канна то же. Каждый встречный болван уверен, что у него идеи.

Стивен, который прислушивался к тому, что таилось за произносимыми Крэнли словами, сказал с деланным легкомыслием:

— Паскаль, если я не ошибаюсь, не разрешал своей матери целовать себя, опасаясь соприкосновения с другим полом.

— Значит, Паскаль — свинья, — сказал Крэнли.

— Алоисий Гонзага, кажется, тоже придерживался того же мнения, — сказал Стивен.

— Еще одна свинья, — сказал Крэнли.

— Церковь именует его святым, — возразил Стивен.

— Мне плевать с высокого дерева, как кто его называет, — сказал Крэнли категорически. — Я его называю свиньей.

Стивен, тщательно подготовив в уме фразу, продолжал:

— Иисус тоже повидимому относился на людях к Своей Матери довольно невежливо, но Суарес, иезуитский богослов и испанский гидальго, принес свои извинения за Него.

— Приходила ли тебе когда-нибудь в голову мысль, что Иисус не был тем, за кого Он сам Себя выдавал? — спросил Крэнли.

— Впервые эта мысль пришла в голову самому Иисусу, — ответил Стивен.

— Я имею в виду другое, — сказал Крэнли более жестким голосом. — Приходила ли тебе когда-нибудь в голову мысль, что Он сам был сознательным лицемером, гробом повапленным, как Он называл евреев? Говоря проще, что Он был проходимцем?

— Такая мысль мне никогда в голову не приходила, — ответил Стивен. — Но интересно: ты собираешься обращать меня или совращать самого себя?

Крэнли вдруг спросил его, не повышая голоса:

— Скажи по совести: шокировали тебя мои слова?

— До известной степени — да, — отозвался Стивен.

— А почему они тебя шокировали, — настаивал Крэнли тем же тоном, — если ты уверен, что наша религия ложна, и что сам Иисус не был Сыном Божьим?

— Я в этом вовсе не уверен, — сказал Стивен. — Он гораздо больше походит на Сына Божия, нежели на сына Марии.

— И поэтому-то ты и отказываешься подходить к причастию? — спросил Крэнли. — Потому что ты и в этом не уверен, потому что ты чувствуешь, что Святые Дары могут оказаться Телом и Кровью Сына Божия, а не просто облаткой? Потому что ты боишься, что это так?

— Да, — сказал Стивен спокойно, — я это чувствую и этого боюсь.

— Ага, — протянул Крэнли.

Удивленный этой заключительной интонацией, Стивен возобновил спор:

— Я боюсь многого: собак, лошадей, огнестрельного оружия, моря, грозы, машин, ночных проселочных дорог.

— Но почему ты боишься кусочка хлеба?

— Я представляю себе, — продолжал Стивен, — что за вещами, которых я боюсь, кроется зловещая реальность.

— Значит, ты боишься, — спросил Крэнли, — что Бог католиков убьет тебя на месте, если ты без веры подойдешь к причастию?

— Бог католиков мог бы это сделать сейчас, — сказал Стивен. — Нет. Я скорее боюсь химической реакции, которая может начаться в моей душе в результате притворного преклонения перед символом, за которым стоят двадцать веков власти и благоговения.

— Совершил ли бы ты, — спросил Крэнли, — это кощунство в обстановке предельной опасности? Скажем, если бы жил во времена преследования католической веры?

— Я за прошлое не ответчик, — сказал Стивен. — Может быть, и нет.

— Значит, — сказал Крэнли, — протестантом ты становиться не собираешься?

— Я сказал, что потерял веру, — ответил Стивен, — а не чувство собственного достоинства. Что это было бы за освобождение, если бы я бросил нелепицу логичную и последовательную ради нелепицы нелогичной и непоследовательной?

Они дошли до дачного поселка Пемброк, и когда они медленно шли по аллее, деревья и огоньки в виллах умиротворили их. Окружающая их атмосфера достатка и покоя, казалось, смягчала их собственную нищету. За живой лавровой изгородью в кухонном окне светился огонек, и голос судомойки заглушал скрежет оттачиваемых ножей. Она пела «Рози О'Грэди» — короткими, отрывочными фразами.

Крэнли остановился, прислушался и сказал:

— Mulier cantat. ⁶⁹

Тихая красота латинского слова колдовски коснулась вечерней тьмы, коснулась нежнее и убедительнее музыки или женской руки. Они перестали спорить.

... Облик женщины, какой она является в литургии, медленно прошел через тьму: облаченная во все белое фигура, небольшая и стройная как мальчик, с ниспадающими лентами пояса. Голос, хрупкий, высокий, отроческий поет с хоров первые слова женщины, пронзающие тьму и гомон первого отрывка из Страстей Господних:

— Et tu cum Jesu Galilaeo eras. ⁷⁰

И все сердца тянутся к голосу, сияющему как юная звезда, которая разгорается на слове с ударением на предпоследнем слоге и гаснет при замирании каденции ...

Пение прекратилось. Они пошли дальше. Крэнли повторил, сильно скандируя, конец припева:

А после венца
Заживем хорошо:
Я Розы люблю,
А Розы — меня.

— Вот тебе подлинная поэзия, — сказал он. — Вот тебе подлинная любовь.

Он искоса, со странной улыбкой, посмотрел на Стивена и сказал:

⁶⁹ Л а т. Женщина поет.

⁷⁰ Л а т. И ты был с Иисусом Галилейским. (Марк 14, 67).

— Как по твоему — поэзия это? Знаешь ли ты вообще, что значат эти слова?

— Дай мне сначала взглянуть на Розы, — сказал Стивен.

— За ней ходить недалеко, — сказал Крэнли.

Его шляпа сползла на лоб. Он сдвинул ее на затылок, и в тени деревьев Стивен увидел его бледное, обрамленное тьмой лицо и большие, черные глаза. Да. У него красивое лицо и сильное, твердое тело. Он говорил о материнской любви. Значит, он понимает женские страдания, знает, как слабы женские тела и души, и будет ограждать их сильной, мускулистой рукой и вместе с тем коленопреклоняться перед ними.

Пора кончать! Пора в путь-дорогу! В одиноком сердце Стивена зашептал голос, призывая его уйти, объясняя, что дружбе пришел конец. Да, он уедет. Здесь бороться незачем. Он знает свой удел.

— Вероятно, я уеду, — сказал он.

— Куда? — спросил Крэнли.

— Куда придется, — сказал Стивен.

— Да, — сказал Крэнли. — Тебе теперь здесь не житье. Но разве из-за этого ты уезжаешь?

— Я не могу оставаться, — ответил Стивен.

— Потому что, — продолжал Крэнли, — тебе не следует толковать дело так, будто тебя изгонят, если ты сам не уедешь; не следует считать себя еретиком или изгоем. Есть много верующих, думающих как ты. Тебя это удивляет? Но ведь церковь — не просто каменное здание и даже не только духовенство с его догматами. Церковь —

это вся масса родившихся в ней людей. Я не знаю, чего ты хочешь от жизни. Того, о чем ты говорил мне вечером у вокзала на Гаркорт-Стрит?

— Да, — сказал Стивен, невольно улыбнувшись; его забавляла манера Крэнли ассоциировать мысли с топографией. — Ты еще потратил полчаса на спор с Дохерти о том, какой кратчайший путь из Саллигэпа в Ларрас.

— Вот болван! — сказал Крэнли со спокойным презрением. — Что он знает о пути из Саллигэпа в Ларрас? Да что он вообще знает? А эта огромная дурацкая башка, похожая на котел?

Он громко расхохотался.

— Так, — сказал Стивен. — А кроме этого ты что-нибудь запомнил?

— То есть, твои слова? — спросил Крэнли. — Помню. Ты хочешь так жить, и в жизни и в искусстве, чтобы твой дух мог выражать себя с несвязанной ничем свободой.

Стивен приподнял шляпу в знак салюта.

— Свободой, — повторил Крэнли. — Но ты еще недостаточно свободен для того, чтобы совершить кощунство. Скажи: пошел бы ты на грабеж?

— Сначала я бы просил милостыни, — сказал Стивен.

— А если бы ты ничего не набрал, совершил бы ты грабеж?

— Ты ожидаешь, — ответил Стивен, — что я скажу, что право собственности — это нечто временное, и что при известных обстоятельствах грабеж не незаконно. С такими убеждениями все

стали бы грабить. Так что этого ответа я тебе не дам. Отсылаю тебя к иезуитскому богослову Хуану Мариана де Телавера, который также объяснит тебе, при каких обстоятельствах позволительно убивать короля, и целесообразнее ли преподнести ему яд в кубке или смазать ядом его одеяние или луку его седла. Нет. Спроси меня лучше, позволил бы я другим грабить меня или, если они это делают, призвал бы я против них то, что, насколько я знаю, называется карающей десницей правосудия?

— Что ж, сделал бы ты это?

— Вероятно, — сказал Стивен, — это причинило бы мне столько же боли, как быть ограбленным.

— Ага, — отозвался Крэнли.

Он достал спичку и начал ковырять в зубах. Потом он спросил походя:

— Скажи, растлил бы ты, например, невинную девушку?

— Извини меня, — сказал Стивен учтиво, — разве это не мечта всех благовоспитанных молодых людей?

— В чем же состоит твоя точка зрения? — спросил Крэнли.

Его последняя фраза, отдающая кисловатым, удручающим запахом древесного угля, разбредила сознание Стивена, над которым как бы нависли тяжелые испарения этой фразы.

— Послушай, Крэнли, — сказал он. — Ты спрашиваешь, что я сделал бы, чего бы я не сде-

лал. Я скажу тебе, что я буду делать, и чего делать не буду. Я не буду служить тому, во что я больше не верю, будь то моя семья, мое отечество, моя церковь. И я выражу себя в жизни или в искусстве с предельной свободой и целостностью, пользуясь для самозащиты лишь теми тремя видами оружия, которые я себе разрешаю — молчанием, изгнанием, хитроумием.

Крэнли взял его под руку и повернул его, чтобы повести его обратно по направлению к Лиссон-парку. Он лукаво улыбнулся и сжал руку Стивена с нежностью старшего к младшему.

— Вот тоже выдумал: хитроумие, — сказал он. — Ты? Бедный мой поэтик!

— И ты заставлял меня рассказывать тебе всю мою подноготную, — сказал Стивен, тронутый его лаской, — как я рассказывал тебе многое другое?

— Да, маленький мой, — сказал все еще весело Крэнли.

— Ты заставлял меня рассказывать тебе о том, чего я боюсь. Но я скажу тебе, чего я не боюсь. Я не боюсь быть одним, не боюсь быть отвергнутым ради другого, не боюсь бросить все то, что я должен бросить. И я не боюсь совершить ошибку, даже огромную ошибку, ошибку на всю жизнь и, может быть, даже на всю вечность.

Крэнли замедлил шаг и сказал уже более серьезно:

— Один, совсем один. Ты этого не боишься. Знаешь ли ты, что это значит? Не только быть в полном одиночестве, но не иметь ни одного друга.

— Я на этот риск иду, — сказал Стивен.

— Не иметь никого, — продолжал Крэнли, — кто был бы больше, чем просто друг, больше, чем самый благородный, самый верный друг, которого когда-либо имел человек.

Слова его, казалось, затронули какую-то глубокую струну в его собственной душе. Говорил ли он о самом себе, о себе, каким он был, каким хотел стать? Стивен несколько мгновений молча всматривался в его лицо. Лицо это отражало холодную скорбь. Да, он говорил о самом себе, о своем собственном одиночестве, которого страшился.

— О ком ты говоришь? — спросил, наконец, Стивен.

Но Крэнли ничего не ответил.

**
*

20 марта.

Длинный разговор с Крэнли о моем бунте.

Он напялил на себя свою высокопарную манеру. Я же гибок и уклончив. Напал на меня по поводу любви к матери. Тщетно пытался представить себе его мать. Как-то он проговорился, что родился, когда отцу его было уже за шестьдесят. Представляю его себе: коренастый фермер; крапчатый шерстяной костюм; квадратные сапоги; нечесанная борода с проседью. Вероятно, охотится с гончими на зайцев. Аккуратно, но скуповато платит свой приходской взнос отцу Двайеру из Лар-

раса. В сумерках иногда болтает с девками. Но какая у него мать? Очень молодая или очень старая? Вряд ли молодая — Крэнли говорил бы по иному. Значит, старуха — и старуха заброшенная. Вот причина душевного отчаяния Крэнли: он дитя истощенных чресел.

21 марта, утром.

Думал об этом ночью в постели, но по лени и по чувству свободы ничего к этому не добавил. Да, свободы! Истощенные чресла — это чресла Елисаветы и Захарии.⁷¹ Значит, Крэнли — Предтеча. *Nota bene*: он питается бэконом и сушеными фигами. Подразумевай: акридами и диким медом!⁷² И еще: когда я о нем думаю, я всегда вижу перед собой суровую, отсеченную голову или смертную маску на фоне серой завесы или плата св. Вероники. Это называется усекновение главы. На мгновение недоумеваю по поводу названия церкви св. Иоанна у Римских ворот. Что я вижу? Вижу обезглавленного Предтечу, пытающегося взломать замок.

21 марта, вечером.

Свобода! Свободна душа и свободно воображение! Пусть мертвые погребают своих мертвых.⁷³ Аминь. И пусть мертвецы женятся на мертвецах.

⁷¹ Престарелые родители Иоанна Предтечи, предшественника Христа.

⁷² А пищей его (Иоанна) были акриды и дикий мед. Мтф. 3, 4.

⁷³ Лука, 9, 60.

22 марта.

Шел с Линчем за здоровенной больничной сиделкой. Выдумка Линча. Мне это отвратно: два сухопарых, голодных борзых кобеля бредут за телкой.

23 марта.

Не видел ее с того вечера. Больна? Возможно, сидит у камина с маминой шалью на плечах. Но не капризничает. Тарелочку каши? Не хочешь?

24 марта.

День начался со спора с матерью. Тема: Пресвятая Дева Мария. Мне затруднительно спорить из-за моего пола и моей молодости. Чтобы окончить спор, сравнил отношения между Иисусом и его папой с отношениями между Марией и ее сыном. Сказал, что религия — это не клиника для хронически больных. Мать очень снисходительна. Говорит, что у меня странный ум, и что я слишком много читал. Это неверно. Читал я мало, а понял еще меньше. Потом она сказала, что вернусь к вере, потому что у меня беспокойный ум. Это все равно, что уйти из церкви через черное крыльцо греха и вернуться в нее через чердачное окно покаяния. Каяться я не могу. Так я ей и сказал и попросил ее дать мне шесть пенсов. Получил три.

Потом в университет. Второй спор с круглоголовым Геззи, у которого жуликоватые глаза. На

этот раз о Бруно из Нолы.⁷⁴ Он начал по-итальянски, потом перешел на ломаный английский. Сказал, что Бруно был ужасный еретик. Я ввернул, что он был ужасно сожжен. Он неохотно согласился. Потом дал рецепт того, что он называет *Risotto alla Bergamasca*.⁷⁵ Когда он произносит мягкое «о», то выпячивает свои сочные, плотоядные губы, будто целуя гласную. Грешит ли он? И способен ли каяться? Еще бы! И пролить при этом две круглых жуликоватых слезы, по одной из каждого глаза.

Пересекая Стефанов — то есть, мой — Луг, сообразил, что это земляки Геззи, а не мои, изобрели то, что Крэнли в тот вечер назвал «нашей религией». Четверо солдат из их 97-го пехотного полка сидели у подножья креста и разыгрывали в кости плащ Распятого.

Зашел в библиотеку. Тщетно пытался читать три журнала. Она все еще не выходит. Тревожит ли это меня? И почему? Потому что она вообще уже больше из дома не выйдет?

Блэйк писал:

«Умрет ли Вильям Бонд?

Давно уже он болен».

Увы, бедный Вильям!

Как-то я был на диораме⁷⁶ в Ротонде. В конце программы показывались фотографии всяких

⁷⁴ Т. е., Джордано Бруно (1548—1600).

⁷⁵ И т а л . Рисовая каша по бергамаски.

⁷⁶ Сеансы с волшебным фонарем.

важных шишек. Среди них Вильям Юарт Гладстон,⁷⁷ тогда только что умерший. Оркестр сыграл: «Вилли! Как нам тебя не хватает!»

О, народ лапотников!

25 марта, утром.

Тревожная, полная снов ночь. Хочу рассказать, чтобы отделаться от них.

Длинная, изогнутая галерея. С пола поднимаются столпами темные испарения. Она населена изображениями мифических царей, высеченными из камня. Их руки сложены на коленях в знак изнеможения, а глаза затуманены, ибо людские заблуждения вечно поднимаются перед ними в виде темных испарений.

Странные фигуры приближаются, будто выходя из пещеры. Они меньше ростом, чем люди, и не совсем отделены друг от друга. Их глаза сияют фосфорисцирующим светом. Они упорно глядят на меня, и глаза их как бы спрашивают меня о чем-то. Они молчат.

30 марта.

Вечером Крэнли у входа в библиотеку загадал загадку Диксону и ее брату. Мать уронила ребенка в Нил. (Все еще одержим материнством). Крокодил схватил ребенка. Мать просит вернуть ре-

⁷⁷ Знаменитый английский государственный деятель (1809—1898), вождь либеральной партии, был несколько раз премьер-министром, сторонник ирландского самоуправления.

бенка. Крокодил соглашается, если она угадает, что он сделает с ребенком: сожрет его или нет.

Такой склад ума, сказал бы Липидий, действительно рождается из твоего ила под воздействием твоего солнца.

А мой? Чем он лучше! Тогда ну его в нильский ил!

1 апреля.

Не одобряю последней фразы.

2 апреля.

Видел ее: она пила чай с пирожными в кафе Джонстона, Муни и О'Брайена. Вернее, рысеглазый Линч заметил ее, когда мы проходили. Он говорит, что ее брат пригласил к ним Крэнли. Привел ли он туда своего крокодила? Значит, он там теперь в светильах. Что ж, открыл его я. Никто другой: он тихо сиял за снопом Викловской соломы.

3 апреля.

Встретил Дэвина у табачного магазина, что напротив финдлэтеровской церкви. На нем черная вязаная куртка, в руках клюшка. Спросил меня, правда ли, что я уезжаю, и почему. Сказал ему, что самый краткий путь в Тару пролегает через Холихэд.⁷⁸ Подошел отец. Познакомил их. Отец вежлив и наблюдателен. Спросил Дэвина, может

⁷⁸ Тара: резиденция ирландских королей. Холихэд — английский порт, на который идут корабли из Ирландии.

ли он его угостить. Но Дэвин спешил на какой-то митинг. Когда мы пошли дальше, отец сказал мне, что у Дэвина хорошие, честные глаза. Спросил меня, почему я не запишусь в гребной клуб. Я притворился, будто подумаю об этом. Потом рассказал мне, как он смертельно огорчил Пеннифезера. Хочет, чтобы я перешел на юридический. Говорит, что это мое призвание. Опять ил, опять крокодил.

5 апреля.

Бурная весна. Гонимые ветром облака. О, жизнь! Темная стремнина бурлящих болотных вод, на которые яблони роняют свой нежный цвет. Девичьи глаза, полускрытые листвой. Девушки скромные и девушки бойкие. Всё светло-волосые или русые: темноволосых нет. Они лучше краснеют. Хоп!

6 апреля.

Конечно она помнит прошлое. Линч говорит, что все женщины помнят. Значит, она помнит свое детство — и мое, если только я когда-либо был ребенком. Прошлое поглощается настоящим, а настоящее живет только в силу того, что рождает будущее. Изваяния женщин, говорит Линч, должны всегда быть задрапированы, а одной рукой женщина должна стыдливо прикрывать ягодицу.

6 апреля, позже.

Майкл Робартес ⁷⁹ вспоминает забытую красавицу, и, когда его руки обвивают ее стан, он будто сжимает в своих руках красоту, которая уже давно исчезла из мира. Не то, совсем не то. Я хочу обнять то, чего еще нет на свете.

10 апреля.

Под грузным ночным покровом, наперерез тишине города, повернувшегося от снов к забвению без сновидений, как усталый любовник, которого не разбудит никакая ласка — еле слышное цоканье копыт по мостовой. Чуть громче у моста; а когда оно пронесется под темными окнами, тишина раздирается тревогой, как стрелой. И вот они уже далеко, эти копыта, сияющие алмазами в грузной ночи, несущиеся за сонные поля к концу какого пути? — к чьему сердцу? — с какой вестью?

11 апреля.

Перечел написанное мною накануне. Туманные слова для туманного чувства. Понравилось ли бы это ей? Вероятно. Тогда и мне тоже пришлось бы принять это.

⁷⁹ Стихотворение Йитса: «Майкл Робартес вспоминает забытую красавицу».

13 апреля.

Воспоминание об этом треклятом словечке «тандиш»; оно давно не давало мне покоя. Я взглянул в словарь: выяснилось, что это английское слово — доброе, старое, грубоватое. К черту смотрителя с его «воронкой»! К чему ему было приезжать сюда, учить нас его языку или учиться ему у нас? Так или иначе, к черту его!

14 апреля.

Джон Альфонсус Малреннан только что вернулся с западного берега Ирландии. Прошу европейские и азиатские газеты перепечатать это сообщение. Рассказывает, что встретил там в хижине в горах старика. У старика налитые кровью глаза и коротенькая трубочка. Старик говорил по гэльски. Малреннан тоже говорил по гэльски. Потом старик и Малреннан говорили по английски. Малреннан рассказал ему о вселенной и о звездах. Старик сидел, слушал, курил, поплевывал. Потом сказал:

— Страшные и чудные твари живут верно на дальнем конце мира.

Я боюсь его. Я боюсь его красных, ящеричных глаз. С ним я должен бороться всю ночь напролет, сжимая руками его жилистое горло, пока не настанет утро, пока один из нас не погибнет, пока . . . Пока что? Пока он мне не уступит? Нет, я зла не желаю.

15 апреля.

Встретил ее сегодня лицом к лицу на Графтон-Стрит. Мы столкнулись в толпе. Остановились. Она спросила меня, почему я не захожу, сказала, что до нее дошли всякие слухи обо мне. Но все это только для того, чтобы выиграть время. Спросила меня, пишу ли я стихи. О ком? — спросил я. Это ее еще больше сконфузило, и мне стало совестно. Сразу же закрыл этот клапан и включил духовно-ироническую охладительную установку, изобретенную и запатентованную во всех странах поэтом Данте Алигьери. Быстро заговорил о себе и о своих планах. Потом, к несчастью, сделал внезапный жест революционного характера. Вероятно со стороны показалось, будто я взметнул пригоршню гороха в воздух. Публика начала глазеть на нас. Она сразу же пожала мне руку и на прощанье выразила надежду, что я выполню то, о чем говорю.

Мило, не правда ли?

Да, сегодня она мне была мила. Очень или не очень? Не знаю, Но она была мне мила, и это для меня, повидимому, что-то новое. Значит, всё, что я думал, всё, что я чувствовал, одним словом, всё, что было до сих пор, на деле . . . А, брось, старик! Ложись спать! Утро вечера мудренее.

16 апреля.

Пора! Пора!

Ворожба рук и голосов: белые руки дорог, их обещания тесных объятий, и черные руки боль-

ших кораблей, выделяющихся на фоне лунного света, их рассказы о дальних странах. Они тянутся ко мне, как бы говоря: «Мы одиноки — приходи». А голоса говорят им вслед: мы твои родичи. И воздух полон ими, зовущими меня, их сородича, готовыми уйти, машущими крыльями своей восторженной и грозной юности.

26 апреля.

Мать аккуратно укладывает мои новые, купленные у старьевщика костюмы. Она говорит, что молится, чтобы в жизни, вдали от дома и друзей, я научился тому, что такое сердце, и что оно чувствует. Аминь. Да будет так. Приветствую тебя, жизнь! Я уйду, чтобы в миллионный раз встречаться с действительностью, набраться опыта и выковать в кузнице моей души нерукотворное самосознание моего народа.

27 апреля.

Древний отче, древний умелец, пособи мне ныне и во веки веков!⁸⁰

Дублин, 1904 — Триест, 1914.

⁸⁰ Стивен обращается к Дедалу, имя которого он носит.



Перевод с английского

ДЖЕМС ДЖОЙС

Джемс Джойс (1882—1941), один из величайших писателей XX в., родился в Дублине в обедневшей деклассированной католической семье. Получил образование в двух иезуитских школах и в католическом дублинском университете. Эмигрировал из Ирландии в 1904 г.; жил в бедности в Триесте, Цюрихе и Париже; зарабатывал себе на жизнь преподаванием английского языка; постепенно терял зрение; к концу жизни почти полностью ослеп.

Писательская манера Джойса претерпела сложную эволюцию. В обоих последних романах Джойс пытается воспроизвести непрерывный поток человеческого сознания и подсознания. Характерны для его творчества сложнейшая символика и пародийное использование мотивов ирландской и античной мифологии и библейских сказаний.

Джойс добился частичного признания только в самые последние годы своей жизни. После его смерти, однако, на Западе выросла целая литература, посвященная его творчеству. Влияние Джойса на современную европейскую и американскую литературу огромно.

Главные произведения: "Chamber Music" («Камерная музыка», сборник стихов), 1907; "Dubliners" («Дублинцы», рассказы), 1914 — русские переводы 1927 и 1937, второй перевод переиздан в настоящей серии в 1966 г.; "A Portrait of the Artist as a Young Man" («Портрет художника в юности»), 1916; "Ulysses" («Улисс», роман), 1922; "Finnegan's Wake" («Поминки по Финнегану», роман), 1939.